

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
Т Р Е Т Ь Я
М А Р Т**

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0

Главлит А 61596

ОТ АТ — формат В/5

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова, «Известий ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Леонид ЛЕОНОВ. — Соть, *роман*, продолжение 5
2. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентральный, *роман*, продолжение 45
3. Галина СЕРЕБРЯКОВА. — Роса, *рассказ* 62
4. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, *повесть*, продолжение 100
5. Александр МИНИХ. — С третьей смены, *стихотворение* 120
6. Конст. ЛИПСКЕРОВ. — Зима, *стихотворение* 122
7. Мих. ГЕРАСИМОВ. — Электростанция в церкви, *стихотворение* 123
8. Сем. ЛИПКИН. — Стихотворение 124

ЛЮДИ И ФАКТЫ

9. М. ГРИШИН-НИКОЛАЕВ. — О боевых моментах социалистического преобразования деревни 125
10. Даниил ФИБИХ. — Киноварь на золоте, *очерк* 135
11. Павел КОФАНОВ. — Трое из партгорода, *зарисовки* 150

ЗА РУБЕЖОМ

12. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету, *очерки международной политики* 158

ИЗ ПРОШЛОГО

13. К. ЧУКОВСКИЙ. — Судьба Николая Успенского 170

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

14. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Трагедия одного энтузиаста 186
15. Д. АРАНОВИЧ. — Культурная революция, искусство и промышленность 190

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С. ГАЛЬПЕРИН.—Юг. «Империализм на черном континенте» . . .	202
Н. ЗАМОШКИН. — Литературно-художественный альманах «Рабочая весна»	203
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Дм. Четвериков «Заграничный Степан» . . .	204
Борис ГРОССМАН. — Петр Сахаров «Алдан — Золотая река» . .	205
Борис АНИБАЛ. — «Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики»	205
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — «Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах»	206
М. РАБИНОВИЧ. — Андрей Белый «На рубеже двух столетий» . .	207
Книги, поступившие на отзыв	208

Соть

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вороны горланили не зря; к полночи подвалило туч и погода рывком перемахнула на мокреть. Ночь продолжалась, и в ней двигались люди. Пользуясь соседством двух праздников сряду, в Макарихе только приступали к торжеству, и в крохотной шонохской больничке уже готовились к приему пострадавших. До полночи, однако, никаких особых происшествий не случилось, так как Василий, бродильный грибок всякого бесчинства, пластом и с припудренным носом лежал у себя в чуланчике, слушая, как плещет и плачет у запертого колеса вода. Обезглавленная таким образом ватага частью действовала вразброд, а частью присосалась к Селивакину, от которого при случае также можно было ожидать великих и богатых милостей. Только и было шуму, что в Савинской избе; повинуюсь зовам крови, братья приступали к обычному сражению.

Новооткрытый клуб не вмещал всех жаждавших посмотреть на «трубу воздушного разговора», и Виссарион счастливо догадался выставить радиорупор на подоконник. Но при этом надо было стоять, а ноги требовали себе иного веселья. Через час у клубного окна не осталось и трети; кстати тут мокрым ветром стало заметать и разогнало последнюю горсточку. Пыль поднялась столбом, и скоро весь иссушенный прах полей задымился над Сотью. Тут-то и побежала Савиха за председателем, властью которого только и можно было отпугнуть братцев от беспутного развлечения. К дракам она давно привыкла, дальше пачкотни да раздирания одежды дело не шло, и теперь, доктями продираясь сквозь бурю, размышляла она лишь об этом очевидном посрамлении мирового безбожия. Чары о. Ровоамова разбудили природу. Судороги неба вихрили померкшую зелень, ветер наво-

¹) См. „Новый Мир“, кн. кн. 1 и 2 с. г.

рачивал непогодные студни над Сотью, — изредка крупные капли его пота поцелкивали бабку по носу... И когда неслась Савиха мимо нового советского капища, рявкнул на нее голос из-под земли, такой толстый, что у старухи и ноги подломились. Впрочем, присмотревшись к темноте, бабка тотчас успокоилась: радиорупор, стянутый бурей с окна, орал в траве во весь свой черный зев, и унять его было некому.

— Ори, голубок, ори! — подбоченясь, пригрозила бабка. — Нас земля, а тебя ржа поест несытая... — И с разбегу ударилась в клубную дверь.

Была она дородна, по присловью мужиков — не баба, а овин цельный, и, едва ввалилось этакое событие, тотчас человек, стоявший впотьмах у читальни, неспешно отошел вглубь коридора. Догадливая по природе бабка срау поняла, что в читальне происходит нечто; и правда, пользуясь совершенным уединением, Лукинич выкрамсывал ногтем лоскуток из газеты, содержащий заметку об очередных макаринских всячинах. Завидев Савиху, председатель как-то распетушился и, хотя не курил, сделал вид, будто свертывает себе из того лоскута сверхъестественную папироску.

— Батюшка, уйми... батюшка, счас рубахи клочить почнут! — сгибаясь от одышки, взмолилась бабка. — Ноне, батюшка, и ситцов таких не достать... хоть записочку напиши, чтоб унялись! — и для большей убедительности коснулась председателя плеча.

Председатель медленно обернулся, и старухе почудилось с перепугу, что не голова, а один сплошной рыжеватый глаз восседает на загорелой шее Лукинича... Да и вообще все тут обстояло неблагополучно: висячая лампа качалась и коптила, плакаты шуршали на сквозняке, и оттого получалось, будто вожди на них шепеляво шушукуются между собою, а сам Лукинич, вопреки обычаю, сидел босой и беспоясый, как бы набатом поднятый со сна.

— Не трожь меня... — страшно произнес председатель, устремляя в бабку палец, измазанный чернилом. — Не трожь, я казенный человек...

Старую так и шарахнуло, точно рога на власти выросли, а власть, по существу, не столь и хмельна была, сколь обескуражена заметкой. Подписанная загадочным именем — ту луп, она не изобиловала фактами, но между строк в ней читались зловредные вопросы, задать которые мог на свете лишь Лука; и под десятком таких тулугов Лукинич учуял бы Проньку, — немудрено, что, загоняемый в смертную щелочку, пытался старик хотя б через газету отсрочить неминуемую. Теперь, шатко направляясь к дому, Лукинич знал, что заставляло его спешить: он шел на окончательную расправу с отцом. Папоротниковые заросли, еще не вытопанные скотом, зря цеплялись ему за ноги; напрасно в обратную сторону воротил его ветер. Изба стояла запертой, на стук не отзывались, председатель влез в окно. Слюнявый отпрыск его спал, а бородатой няньки возле не было. Тогда со спичками председатель обошел весь дом, — кошка не прошла бы неслышной; он на-

шел старика в омшаннике. Сидя на корточках, бессильный противостоять старческой прихоти, Лука слизывал с крынок молочный отстой, и на бороде его повисли блудливые тягучие улики. Лукинич шагнул вперед, вздымая бровь, и в ту же минуту Виссарион, который вышел прибрать радио из-под окна, услышал краткий, сплющенный ветром вопль.

...рос дурман у самого крыльца; непонятно, как и когда сюда путешествовали эти дымчато-желтые цветы. Выскочив из избы, Лука пал на колени и, ерзая, набивал себе рот отравной этой травой: теперь к сумасшествию он был ближе, чем к смерти. Наверно он и нажрался бы ее до последнего насыщения, не случись поблизости человека. Всхлипывая и шаря длинными руками мрак, Лука метнулся на людской голос, обещавший если не помощь, то участие. Он едва не сшиб Виссариона, и тот, отталкиваясь, схватился за голову Луки.

— ...за руку мене держи, в каморочку мене... — всхрапывал Лука, обвисая на руке человека. — Милае, хотел мертвым притвориться да силы нет. Милае, что он со мной деет-то?.. во мне на сто годов пружины, а он мне, милае, скорлупку пробивает...

— Ступай, ступай, отец! — сопротивлялся Виссарион как умел.

— ...попить, попить бы, не то умру. Врет он, врет, будто в Питере у фаранжуены в любовниках ходил, врет! Он людей давил в участках, давитьщик... он и музыку-т заводит, чтоб не слышать... не слышать их!

Как во сне, он отвечал на вопросы, которых Виссарион ему не давал. В его лице, размытом временем, метались воспоминанья, которые он выговаривал механически, без размышленья; ценой остатка жизни он покупал чужое участие. Он бессилел с каждым словом и скоро выпустил из рук нечаянного сообщника своей мести; теперь он сидел на мокрой траве пустей и смятей вымолоченного снопа. Виссарион бежал от него, потрясенный внезапным знанием; всякими сведениями он и вообще не пренебрегал, а это давало ему, хромому, негаданную подпорку. За околицей, под свежим ветром, он остановился. «Надо когда-нибудь начинать» — подумал он и уже раскаивался, что раньше времени покинул Луку; надо было расспросить подробней, тихо и вкрадчиво, как разговаривают со спящими. Через полчаса блужданий он стоял все еще только за деревом против председательской избы. В окне горел свет. Пожалуй, только усиливающаяся изморось погнала Виссариона на крыльцо. Он кидал в жизнь самого крупного своего козыря. Надо было крепко держаться за скобку, чтоб не шататься; он был как пьяный, и удачливая мысль ввалиться пьяным к председателю несколько подбодрила его. Второй порог переступить оказалось уже легче...

Склонясь над зыбкой, Лукинич баюкал сына.

— ...чего? Завтра приходи!

— А, гостей гонишь, — заплетаясь, посмеялся Виссарион. — Закуску ту припрятал, значит?

— Ночного гостя железной закуской кормят, — шопотом процедил Лукинич.

Подозревая умысел в ночном посещении завклуба, он вдруг и сам стал придерживаться того же тона, и с той минуты кто из них был искусней, тот и пьяней.

— Чего надо-то?

— Дай трешницу, — в упор сказал Виссарион.

Все еще не доверяя хмельности гостя, Лукинич украдкой заглянул ему в глаза, и тот с пьяным бесстрашием выдержал его взгляд.

— Откуда у меня деньги!

— Не обижай, нам с тобой в дружбе надо жить!

— Чего дружней — оба пьяные! — притворно зевнул председатель. — Садись, если можешь.

В скучном пространстве стола лежала под лампой Васильева спичечница; следуя пьяной логике, Виссарион тотчас перекинулся мыслью на инвалида.

— Знаешь, ты за Федотом следи. Они теперь и деревню могут сжечь... Ха, нищему пожар не страшен! Им куда нонче путь, раз всюду выгнали? Им в бандюги путь... А ты за мной все следишь! — Похоже было, что, подозревая присутствие Василья в избе, он пытался выманить его из убежища; он ошибался, — Лукинич подобрал спичечницу на лугу, где обронил ее инвалид.

— Это тебе пьяному мерстит, — усмехнулся председатель.

— Я пьян, да помню. Тебя в газетине с песочком пробрали? Высоко забрался, ниже лететь. А ты под меня норку роешь, арапствуешь, крот! Смотри, падать вместе будем, а тебе больней.

— Ты к чему?

— А вот трешницу-то пожалел для приятеля, а небось сколько в прежни-то годы по участкам наполучал! — фальцетом захохотал Виссарион, и сам удивился искусности своего притворства.

— Не хохочи, парнишку взбудишь, потом час укладывать. — Председатель лениво придвинулся поближе, и пахло от него не хмельным, а чем-то кислым, ребячьим. — Ко мне шел — Луку, что ль, встрел?

— Было дело, да лень докладывать, — ухмыльнулся тот, играя спичечницей инвалида.

— А-а, — очень спокойно протянул председатель и, взяв спичечницу из рук гостя, долго разглядывал тусклые радуги в ней. — То-то и смелости у инока. Может, музыку тебе завести? Не хочешь... а чего хочешь-то?

— Трешник хочу, — с настойчивостью бросил Виссарион и упорно смотрел в левый, совсем мертвый глаз Лукинича; казалось, зрачок его совершенно растворился в белке.

— ...а если не дам? — тихо спросил председатель и вдруг взмахнул кулаком над головою гостя, но никакого события не произошло. Виссарион скалился уже в сажени от него, готовый обороняться хоть зубами. Лукинич грустно покачал головой: — А ты пужлив, гаденок...

образованный! Гляди, рази этим бьют? — Он брезгливо разжал кулак, там лежала тряпица с нажеванным мякишем, соска сорокаветовского стпрыска.

— Вот теперь уж и трешницы не возьму, — весь красный от обиды, пригрозил Виссарион, поднимаясь одновременно с хозяином. — Завтра сам принесешь, просить будешь, а не возьму... Не провожай, там не заперто.

— Пужлив, даже отрезвел со страху, — напряженно улыбался Лукинич и руки, видимо для пущего задору, держал за спиной. — Что ж, дружба так дружба... с образованными людьми и дружить лестно. Я так и смекнул — рази образованному трешница нужна? Евонную руку и сотней не накормишь. Не беги, не бойся пока!

Не спуская глаз с хозяина, Виссарион вышел на крыльцо и лицом к лицу столкнулся с Лукою, который возвращался. В свете из окна Виссарион увидел его длинный с перегибами нос, который влажно поблескивал: неслышный и крайне деловитый, уже шел дождик. Лука не узнал нечаянного сообщника своей мести. Пройдя шагов восемь, Виссарион прислушался: все было спокойно в только-что покинутом доме.

2

Следовало ждать событий поутру, но ни одно происшествие так и не выдулось. Только укатил на дрезине Геласий с уवादьевским посланием за пазухой да, повинувшись общественной молве, выключили Проньку из ячейки. День начинался пасмурно; небо свесило мокрые свои вихры к земле, которая жадно намокала, но пересохшие травы пока и не подымались. Все же о. Ровоамов покидал Макариху, еле унося доброхотные даянья мужиков; при этом, кланяясь старушечьей кучке, провожавшей его до околицы, он крепче всех понимал, что волхвования его тут не при чем. Вечеру, потя за чайком в Шонохском кооптрактире, он виновато поглядывал на брезентовый свой кулек и справедливо полагал, что убрался из Макарихи во-время.

Всю неделю, притихая лишь к сумеркам, барабанила в крыши непогода. Земля набухла, все поднялось, пырей да бутырник в огородах клонили к грядам свои раздобрившие вонючие мутовки. Тут бы и передышка ливню, но только на одиннадцатые сутки поразмело облачную размазню. Тучи полосато разлеглись в высях, и, хотя до покоса оставалось еще полмесяца, мужики вышли закашивать на пойму. Еле продиралась коса в травяной гуще, и тогда Мокроносов, запотевший на третьем ряду, удивленно оглянулся на косцов:

— Эко рощенье! — сказал он тихо и, вскинув глаза на запад, прибавил: — Неча, товарищи, траву губить.

С поймы он ушел один, а остальные вернулись часом позже, злые и мокрые насквозь. Небо скуксилось, жестокий проливень хлестнул по полям; стало ясно, что подкошенных богатств не собрать. Луга полегли, яровые сваялись в синие войлока, в низинках появились

воды. Картофельная ботва, с которой выбило весь цвет, задубенела, и почему-то казалось, что еще один мочливый день — и она начнет лаять низким песьим басом. Подкошенное горело в валах, старые стога почернели, земля стала пахнуть пивом... Впору было сызнова отыскивать кудесника Ровоамова, чтоб заткнул неосторожно приоткрытые хляби. Тут пошли новости: лесной ручей, преобразясь в поток, разломал колесо на красильниковской маслобойке, на Енге внезапной водопелью унесло стога, а в довершение всего пришла весть с Нерчьмы, будто сплавщики выловили из воды утоплого попика, вздумавшего спьяну помыться в реке. Только эта последняя горесть и повеселила мужиков:

— Намолил, дубонос, да в воду!

По мере того, как изливалась влага из небесной пробоины, стали подопревать хлеба, а подопревшее обломало градом. В прошлогодних копнушках завелась плесень, а потом один мальчонок докопался в стогу до белого червя и принес в спичечной коробке родителям на радость; драл его сосредоточенно сам отец, чтоб сызмальства разумел мужицкие беды, и мать не заступалась за любимца. Звери попрятались, и один скакал по лесу озверелый красильниковский ручей, скаля пенные зубы. В природе начинался бунт, и только Соть, несмотря на ежедневную прибыль воды, хранила свою величавую невозмутимость. Она еще молчала до поры, но запанный приказчик по несколько раз в день пробегал по бонам запруды, вдоль главного лежня, и недобро посматривал на воду, ставшую вдруг необыкновенного цвета. Не имея, однако, в прошлом Соти плачевного опыта и полагаясь на начальство, он не догадался своевременно подвести под запань подстрелы, — лежащие бревенчатые подпорки. Так бывало от века: лес накапливался в верхней запани, и лишь по мере надобности его спускали в нижнюю гавань, откуда проводили в сортировочные магазины. Все новые массы леса прибывали сверху, река загромождалась на целых две версты, и ко времени катастрофы сотинская запань удерживала многие десятки тысяч пиловочного и балансового леса, заготовленного впрок на пусковой период.

Запань была обычного типа, устроенная так, чтоб задержать у строительства весь спущенный на воду лес. Наискось к лесной бирже мокнул в воде грузный пеньковый канат, толстый в толщину человеческой шеи. На нем, сшитые намертво ветвяными хомутами, лежали бона — плоты, притянутые к берегу десятью полуторадоймовыми оцинкованными тросами, — выносами. Те в свою очередь зачаливались на крупные бревна, закопанные на сажень вглубь; бревна эти лежали прочно в прибрежном глинистом песке и, видимо по внутреннему сходству, назывались мертвецами. Грозному этому сооруженью, казалось, не страшны был никакие паводки, и Ренне, ревизуя однажды утром свое детище, только на одно обстоятельство и обратил вниманье. — Полагается устраивать запань тотчас за крутым поворотом реки, чтобы весь напор древесной массы приходился в берег, а тот, кто выбирал

место под строительство, не предвидел стихийных бедствий на этой спокойной реке. На всякий случай запань была построена восьмидеревая; хотя и шестидеревой в обыкновенное время хватило бы с избытком. Там, у бережка затесался в лесную гущу чей-то шестивесельный карбас; издали он походил на раскрытый рот птенца. Разговаривая с приказчиком, Ренне смотрел как раз на него; вдруг лес незаметно сдвинулся, и рот птенца противоестественно закрылся; тогда лишь Ренне и ощутил некоторое сомнение.

— Ты подкати чурачки под канаты, чтоб не прели.

Приказчик был старой выучки; босые его ноги, начисто отмытые водой, походили на корявые, плохо ошкуренные сапожные колодки. За свою тридцатилетнюю службу он уже привык к мысли, что, раз усмиренная, река повинуется до конца. Приказчик засмеялся:

— Хрест на груди, не пугайсь, Филипп Александрч: тут же мертвецы, и на каждом выносе их по два. А мертвецы — рази они когда сдают? Они надежно держат, мертвецы... — И притопывал пяткой по взмокшей глине, где были те захоронены. Он взирал на сгрудившийся лес взглядом старого жулика, которому ничего не стоит обыграть это тучное и глупое животное — Соть. Несмотря на неподвижность, гавань жила своею потаенной жизнью, и вот на глазах у него пятивершковое бревно, слабо кашлянув, сложилось пополам, как ему было удобней. Несчетная сила копилась здесь, и вдруг приказчик сокрушенно скинул картуз и кратко лизнул себе иссушенные губы. — А дюже боязно, Филипп Александрч: ведь их тут тыщ пятьдесят, до самого дна, набилось... рыбе негде пройти. Ломают, без хрусту лес ломает, хрест на груди! Гляньте, гляньте сами хозяйским глазиком...

...установилась ясная, бессолнечная погода, но, судя по вихрастой бахrome на востоке, где-то на Енге и в верховьях Балуни все еще изливалась небесная благодать. Уровень в Соти повышался по верхку в час, от водомерной рейки оставался один кубик, а лес все прибывал; Фадей Акишин, ухитрявшийся ежедневно побывать на берегу, страшал, что воды в Соти еще значительно прибавится от слез людских. На строительстве ощущалась незряшная суматоха: вода грозила прежде всего огромным цементным складам, расположенным близ старицы, — старого русла реки. Фаворов со всей землекопной оравой и двумя сотнями поденных мужиков вел земляную дамбу вдоль берега; и по ночам и во тьме вбивали доски, заваливали глиной, а потом плясали на ней с искаженными от усталости лицами: так стерегли они воду. Впервые за сотню лет вода пошла через старицу, а раньше такая стояла здесь сушь, что только чешуйчатая травишка из породы толстянковых и водилась тут. Первые кряжи из запани уже ползли в нее, тараня вековые ивы, выросшие на их пути. Не осталось человека, уверенного в благополучном конце этой напасти, — все еще длилась облачная блокада. В дно старицы врыли свай и заплели ивняком; верхнюю запань дополнительно укрепляли выносами. Семерых, не пожелавших временно поменять топоры на лопату или лезть в студеную воду,

Увадьев уволил помимо рабочкома. Крайние выноса на коренной запани, которые еще трое суток назад работали вхолостую, теперь пружинили во всю мощь своих стальных жил. Запань выдувалась кошелем, а за нею неумолчно метался пенный всхлип воды. Река искала всякой щелочки, чтоб распахнуть ее с двухверстного разбегу. Наспех разгружали машинные склады, куда могла дохлестнуть ожесточившаяся Соть; вопреки всем правилам, мужиков перевели на сдельную оплату. Явное начиналось восстание реки.

На исходе тридцатых суток прискакал верховой с вестью о начале катастрофы: верхняя запань встала ребром, и лес хлынул под нею в основную запань. Он скакал так, что потерял картуз в гонке; лошадь была в пене и дрожала не меньше своего седока; никто не заметил, что прибыл он почему-то в одних подштаниках. На глазах у всех Увадьев повел иззябшего человека к себе и, во искушение многим, извлек ему из своего сундучка водки, чтоб заставить его говорить. По рассказу верхового, нечетные выноса верхней запани, загруженные лесом, поднялись над водой и этим лишили запань ее удерживающей силы. На расстоянии девяти верст он успел обогнуть движенье прорвавшегося леса, который у строительства следовало ждать часа три спустя.

— ...спасибо за новость. Катись теперь взад... — крикнул Увадьев и вытолкнул его к толпе, стоявшей у крыльца.

Через полчаса у Потемкина, которому запрещено было выходить из дому, собрались на совещанье. Инженеры, занятые по работе, запоздали, и Увадьев пришел задолго до начала заседания. Потемкин лежал на спине, с гладко зачесанными волосами, и все докруп него было до чрезвычайности чистенькое—и простыни, и бревенчатые стены, и самые пузырьки с лекарствами. Влажный лоб его поблескивал тусклым вечерним бликом, и по нему — еще более, чем по глазам, навивным и злым, — Увадьев понял, что пророчества Бураго, наверно, сбудутся. Увадьев сел и, поглаживая колени, бесстрастно глядел на заведующего строительством. Теперь это был не прежний Потемкин, который ушкуйником отправлялся когда-то в сплавные путины, — не тот, который год назад вихрил вокруг себя бюрократическую труху; теперь это был даже не солдат, — буравчики его глаз сточились, и было видно, что он больше всех на Сотьстрое боится реки.

— Река-то, а? Из годов вышла... — смущенно сказал больной.

Она правильно выбрала минуту, чтоб отомстить человеку, замыслившему запрячь ее в работу. Она не хотела в трубы, она хотела течь протяжным прежним ладом, растить своих тучных рыб, хранить свою сонливую мудрость. Она как-будто молчала и теперь, но Потемкин-то слышал, как она кричала пространствам, чтоб поддержали ее бунт. В ней просыпалась ее дикая сила, воспетая еще в былинах; она стала грозна, она приказывала, и вот ветры, осатанелые бурлаки небес, потащили дырявые барки с водой, а леса зашептались, а птицы вились, и в самом кровоточащем лоне ее как-будто открылись тысячи новых

родников... Увадьев глядел на взмокшую от пота кудельку Потемкина, которую тот виновато покручивал на лбу, и подумал, что он, наверно, стыдится за реку, праматерь многих славных рек, которую хотел открыть миру.

— Скучно, небось, лежать?

— Нет, ничего, лежу... — и рука при спокойном лице резко дернулась в сторону. — Очень дышать трудно стало.

— У тебя разве...? — он не досказал.

— Нет, у меня эта... лейкемия, — сказал он, справившись с какой-то карандашной записью на стене. — Все спрашивают, я и записал... — улыбнулся он открыто.

— А Бураго говорил, что белокровие?

— Так это тоже и есть. Воздух какой-то промозглый...

— Да, льет.

— Лежу и все слушаю, по крыше-то точно сапогами ходят. Слушаю, брат, и все сучки в потолке считаю. Кажется, что мало, а ведь их там — знаешь сколько? Шестьдесят восемь сучков. И потом, чудно, мухи на них почему-то не садятся!

Увадьев оторопело поднял голову, как бы с намерением проверить наблюдение Потемкина:

— ...не садятся, говоришь? Странно... а может быть, они к смоле прилипают: лес-то ведь новый, течет. — Он помолчал, пока Потемкин кашлял. — А не чахотка ли у тебя, товарищ!

— Это ты про кашель? У нас родовое: отец и во сне кашлял и градусы имел, а до пятидесяти трех плоты сгонял. Не-ет, у меня лейкемия. Это когда белые шарики одолевают красных, понимаешь? Я думал, это только у людей бывает, белые и красные. И очень мне это печально, что во мне самом это самое, — со злостью сказал он и сухо кашлянул, точно поставил точку. — Воды много?

— Полтора метра выше ледоходного уровня.

— Шалит дочка... Верхнюю запань перевернуло? Что же Ренне-то глядит...

— Гнать его надо, — резко сказал Увадьев.

— Не знаю, я теперь мнителен стал. Не наш человек, штабной, ему бы в тресте сидеть. Конечно, у него свои повадки, свои истины...

— Истина — это то, во что я сейчас верю! — Увадьева сердило потемкинское многословье.

— Я понимаю, — диктатура, — смутился тот, — но ведь есть бритва, которой бреются, и есть топор, — им лес рубяť. Каждому свое, а перепутаешь второпях — либо рожу обдерешь, либо дорогой инструмент испортишь. Ты меня только пойми правильно! Мне и самому Бураго жаловался...

— На Ренне?

— Да... подбитый он, вкуса к работе нет: одна эта фуражка его с острыми полями чего стоит. Я с ним говорил, а он — в революции ветров, говорит, слишком много дует, и оттого нет человека без от-

слоя, без ветренницы... Он на людей-то как на товарный лес смотрит! Рабочие его не любят... — строгим шопотом прибавил он и, торопясь предупредить увадьевский вывод, подмигнул дружески: — Да и ты хорош, наэкономил: насыпь-то размыло?

— Чиню, кое-где столбы поскидало. Болота сосут, глотка хрипнет от ругани. Намедни арматуру свареную прислали, пробовал на разрыв — ломается. Хозяина настоящего нет... — Он встал и нетерпеливо гладил спинку стула. — Слушай, Сергей, я написал кому следует: тебя надо сменить, самая драка теперь... Ты поезжай лечиться. А Ренне надо гнать, мы не богадельня, мы фронт.

— Они тоже намекали... что пора ехать. Ты как думаешь, вернусь я? — Увадьев молча отошел к окну, и в голосе Потемкина просочилось крикливое и мучительное одиночество: — А дочку... дочку его ты тоже погонишь?

Увадьев медленно оглянулся и, пристально поглядев на его острые, выдававшиеся под одеялом коленки, подумал, что, должно быть, это очень неприятно — умирание. Смягчась, Увадьев собирался предложить больному лекарства, но тут стали приходиться люди. Все они, от Бураго до представителя рабочкома Горешина, приносили с собой мокрый запах ветра и какую-то шумливую, неверную бодрость. Потемкина обложили подушками и таким образом заставили сидеть. Поминутно прерываемое телефонными звонками совещание началось, и с первой же минуты стало ясно, что нет никаких сил вести собрание в обычном порядке. Говорили не в очередь, торопясь высказать свои соображения, ибо основная масса леса уже катилась на штурм сотинской запани. Длинношейей рабочкомец сразу же сообщил, что из рабочих образовалась добровольная бригада, готовая проложить через запань дополнительные тросовые перехваты; его уполномочили лишь просить снастей для крепленья. Наступила тишина, и вдруг Ренне засмеялся; смеялся только он один, и все враждебно смотрели на человека, тратившего на это свое гражданское мужество.

— Вы вообще против всяких мер? — и глаз Бураго выдулся, подобно пузырю на луже. — Вы ручаетесь за качество своей постройки?..

Ренне подогнул голову:

— Моя мысль — лучше отслужить молебен, — как-то через силу усмехнулся он, и вдруг в сознании его завилась полузабытая мелодийка: «ерой-ерой, а у ероя...» Он закусил губу и провел рукой по лицу, как бы стирая с него стыд за неуместную шутку. — Это манера говорить — да — я понял. Опасно — людей нельзя — поздно.

— Люди есть, люди хотят, — горячо бросил Горешин — ...и потом мы теряем в этом деле больше, чем вы! — Он тотчас же поспешил смягчить намек: — Мы теряем хлеб и работу.

Бураго перевел глаза на Увадьева:

— Я вообще привык драться до конца, — пожал тот плечами.

— У меня на Урале — давно — двадцать тысяч унесло. Лучше лес, чем люди, — начал заикаться Ренне.

— Что до меня, я за! — грубо прервал его Бураго. — Ступайте, Горешин, я позвоню туда по телефону. Я уважаю вас, товарищи...

Заседание продолжалось и после ухода рабочкомцев; говорили все о том же, о бесновании стихий, а Потемкин уже теребил какую-то вчетверо сложенную бумагу.

— Нас пугают, конечно, не убытки, — заговорил он тихо, не глядя никому в глаза, — а именно возможность приостановки работ... если это случится. Кстати, час назад я получил бумагу, товарищи... тут что-то не так, надо драться. На, сам прочти! — и передал бумагу Увадьеву.

Тот начал читать вслух и неожиданно смолк на полуслове.

— Чего ж — драться, не от хозяина работаем! Сбирались хлеба вывезти двести восемьдесят миллионов, а вывезли тридцать... дело ясное. — Он еще не знал, что сотинское ненастье происходило одновременно во всей стране: стихии действовали как по сговору. Все вопросительно уставились на Увадьева, и тогда он четко, точно приговор, дочитал ее до конца. — Понятно?

С предельной краткостью в бумаге предписывалось свернуть ряд работ и отнести их во вторую очередь, а кроме того, еще в текущем месяце сократить до тысячи строителей. Неизвестно, было ли это сокращением общего плана строительства; можно было лишь догадываться, что случился какой-то непредвиденный просчет и за счет Сотьстроая предполагалось вести в прежнем темпе более крупные строительства, остановка которых грозила уже политическими осложнениями. Повидимому, высшая инстанция не запрещала Сотьстроая только в виду уже произведенных расходов. По новой смете до конца хозяйственного года строительству предоставлялось всего восемьсот тысяч, — цифра, обозначающая провал Потемкину, который, имея обещание на восемь, размахнулся на двенадцать миллионов. Бураго иронически кривил рот, пуская кольца дыма в самое лицо Потемкина, неторопливо складывавшего бумагу. Он сложил ее вдвое, вчетверо, ввосемьмеро, стремясь к какой-то последней, уже неделимой дроби. Обсуждение пошло по линии возможного сокращения расходов, и тут Фаворов высказался за добровольное уменьшение ставок техническому персоналу. Нужна была фаворовская неопытность и сугубая тревожность часа, чтобы предложить именно такой выход. Оплата всего персонала не превышала трех процентов от всех затрат, и при шести израсходованных миллионах это дало бы максимум двадцать пять тысяч рублей. Кроме того, этим нарушались индивидуальные договоры, и Ренне, иронически возражая против этой меры, указывал, что это в несоизмеримой степени понизило бы рвение к работе. Увадьев засмеялся плоским, удлинвшимся ртом и откровенно подмигнул Бураго; тогда-то Ренне и взорвался:

— Не нравится — смеетесь? Уверены — купили меня крепко — не верите — поставлен глядеть за нами! Вы платите мне всемеро — чем сам — про вас песни сложат — да... а я спец — наемный солдат — швейцарец из папской гвардии — не за что уважать — а тут есть моя кровь — нервы — моих дедов!

— Не надо нервничать, — примирительно и с пятнами на щеках вступился Потемкин. — Мы рады всякой честной силе, которая идет с нами... но, сами знаете, люди вашего класса...

Увадьеv сердито расчерчивал ногтем выгнутую свою ладонь:

— Нет, зачем же! Ты требуешь, и мы даем. Нам нужно знание, оно стоит дорого: мы платим. Мы ж богачи, мы постановили истратить четыреста семьдесят пять миллионов на одно бумажное строительство. Что ж, пускай он просит у меня дачу в Ницце, автомобиль в Париже, красавицу в Сан-Франциско. Мы нищие, но мы можем! — Он едва нашел силы согнуть свою каталептически выпрямленную ладонь. — Нет, уж лучше получай, гражданин, свои тыщи!..

Лицо Ренне наливалось темной краской; он собирался сделать возражение, ответ человека, у которого выбита из рук винтовка; вдруг он заметил чуть презрительную усмешку Бураго и догадался, что тот стыдится его.

— А вы смеетесь — весело — мы только суперфосфат, для них — коровы, пока не добыт научный синтез молока. Вы... — и, казалось, самые зубы прыгали в лице Ренне.

— Ну, я-то не суперфосфат... — строго начал Бураго, но тут зазвонил телефон, и оттого, что аппарат ближе всего стоял к нему, он прежде остальных схватился за трубку. Свободная его рука порывисто щипала шнур, как бы стремясь раз'ять его на волокна.

— Что-о...? какие дверные ручки? — закричал он в трубку. — Что-о? к чорту, не мешайте говорить, товарищ! да... слушаю, — и почти тотчас же бросил трубку. — Господа, — сообщил он, волнуясь, — порвался средний вынос... убило человека. Надо быстрее, быстрее... Иван Абрамыч, ведите переговоры с воjсоветом, с утра мобилизовать население. Да, к вечеру завтра его придется ловить... — Он не пояснил, кого ловить — беглый лес или население, а Фаворов с тоской подумал, что и то и другое. — Филипп Александрыч, вы отправитесь с бригадой на воду. Проектор пустить... Фаворов, вы со мною.

— Это глупо — сейчас на воду, — поморщился Ренне, подымаясь.

— А я тебя под суд, — гаркнул Бураго, и лицо его багровыми пятнами стало подмокать изнутри. — Почему порвался вынос?..

— Отечественное рукоделье, — пожал тот плечами, уходя.

Шлепая калошами, он спускался по лестнице пятью ступеньками раньше Бураго.

— Отчего у вас всегда калоши спадают? — раздраженно спросил главный инженер.

Тот обернулся; лица его не было видно впотьмах.

— Мои калоши — вредно социализму? — чужим голосом огрызнулся он.

— Я требую, чтоб машина хорошо, — ваша плохо, — заражаясь его манерой говорить, крикнул Бураго. — Когда калоши спадают — плохо. Бумажки, бумажки набейте в носок, бумажки туда...

Ренне не ответил и вдруг, старчески разметая воздух руками, побежал по размякшей поляне поселка.

...дослушав этот неслучайный разговор, Потемкин стащил одежду с гвоздя и стал одеваться. Во что бы то ни стало ему следовало присутствовать там, где решалась теперь удача Сотьстроя; он чувствовал себя трубочкой того универсального клея, который выдуман, чтоб соединять самые разнородные предметы. Прежде всего надо было преодолеть брюки, и даже это оказалось не под силу; со злостью и укором он глядел на тощие свои, с редким пушком ноги, и ему становилось обидно; он взял один волосок и выдернул его, но и боль была приглушенная, чужая. Тошная слабость подвалила к ребрам, а дверь стала клониться вправо, по часовой стрелке. Тогда с безразличным лицом он повалился на подушки и закрылся с головой одеялом. Крепче всякого сторожа преграждали ему выход отсюда брюки, грозно распластанные на полу.

3

Несся ветер и спотыкался, и пищал в детскую дуду, и снова мчался по долине. Непрерывной очередью, подобные убойному скоту, в небе тащились облака. Похолодало, ветер озноблял, но все были в поту, — и те, которые бежали к реке вдоль колючей изгороди строительства, и те, которые, достигнув реки, бродили по берегу добровольными и бесильными сторожами. Говорили почему-то шопотом, и всякий с тревогой посматривал на беспокойную луну, удушаемую облаками. Для сокращения пути Бурого пошел через территорию строительства, куда не пропускали никого в этот тревожный час; Фаворов, которого тот прихватил с собой на всякий случай, впервые наблюдал такое необыкновенное затишье. Было очень пустынно. При кратких промельках луны корпуса лесов представляли, как остовы огромных кораблей, на которых отважные собирались отплыть в обетованные земли. Было точно в бреду: водонапорный бак шагал на своих стояках-ходулях, а подъемный кран, прячась в тень лесов, норовил ущипнуть луну... Но над паросиловой зычно рычал гудок, разрушая бредовое оцепененье ночи, смолкал и снова выпускал свое оглушительное облако. Оно означало бедствие в этот час.

На пути попадались то брошенная вагонетка с арматурой, то подмокшая бочка цемента, то вдруг какой-то огромный и угловатый холм; крышка на нем отливала мокрой синевой. Бурого с трудом оттянул вверх намокший брезент и разглядел во мраке только сквозные ящики.

— Спичку, — сказал он Фаворову, стоя на коленях и засматривая под брезент. На огонек вынырнул из-за приземистого склада сторож. — Что тут? — спросил инженер.

— Моторы прибыли...

— Когда они прибыли?

— Дён пять лежат.

Бураго опустил брезент и молча пошел дальше. Под сапогами хлюпала глина. Из-за штабелей леса, к а т и щ по-тамошнему, показался острый прожекторный луч; он щупал облачные лохмотья, и, может быть, его единственным назначением теперь было внушать людям ту бодрость, какую давал огонь и первобытному насельнику Соти. Фаворов волновался:

— Она бунтует, — сказал он надтреснуто, потому что был простужен, — но мы снова закуем ее, и она повезет нас к...

Договорить ему не удалось; зарычал гудок, и теперь казалось, что рев его исходил из самых глаз Бураго:

— Не декламируйте при мне истин, молодой человек... которым место на табачных коробках. Тут серьезней... Инженер, а мыслите как поэт: стыдно! Кто заведует складами? Записать. Завтра за ворота.

— Он секретарь стенной газеты, — захлебываясь ветром, заикнулся Фаворов.

— ...за ворота! — рывкнул Бураго, и снова, точно взбуженное его окриком, зарычало облако над паросиловой.

Молодой замолчал, все еще одолеваемый лирическим недоумением, — красный ли орден на грудь, бубнового ли туза на спину получают они за свою безвестную работу. В молчании они вышли на берег, приблизившийся к самой дамбе за один минувший день. Темная толпа рабочих суетилась в том месте берега, куда упиралась пята запани. Выносов не было видно; через бона со свистом хлестал мрак, порождая хруст позади себя и неведомое клокотанье. Стало очень страшно и торжественно. Из крайнего сарая выволокли огромный моток троса; жилы его сверкали, когда мимо пробежал кто-нибудь с фонарем. Тут же долговязый Горешин, силясь перекричать ветер, отправлял охотников на верхнюю запань; он уже охрип и от ветра казался еще длиннее. В прожекторный луч попал Акишин, затесавшийся в четыре добровольных десятка, которым предстояло единоборство с рекой; луч погас, а Фадей так и остался в зрительной памяти Увадьева с высоко поднятой рукой и бородой, отмеченной ветром в сторону. Наспех рыли ямы для новых свай, лопаты звякали друг о друга, люди работали спорей машин. Часть бригады на подводах отправлялась на верхнюю запань, чтоб попытаться и там сделать невозможное, — подводы скатывались с бугра во мрак и тотчас растворялись в нем без остатка. Кто-то бабьим голосом покричал, что на Калге снесло мост и надо ехать зимником на Ухсинку; не докричав, он махнул рукой и на бегу вскочил в подводу. Двое верховых, — и один из них Пронька, — обхватив спины лошадей босыми ногами, метнулись вперед на разведку дороги.

Надвинув кепку на самые глаза, чтоб не быть узнанным, Бураго наблюдал со стороны эту почти безмолвную суету; он раздул ноздри, — пахло острым потом человека вокруг него. Кто-то толкнул его в спину и, выругавшись, промчался вперед, к прожектору; тотчас в снопе света распахнулось кумачное знамя строителей. Бураго узнал этого черня-

вого парнишку, председательствовавшего на открытии макаринского клуба; он напрасно хитрил, этот безымянный чудак, пытаясь знаменем умножить усердие бригадников. Они старались и без него, ибо тут погибала не только их собственность. Над парнишкой смеялись, отталкивали, чтоб не загораживал света, но он сохранял свой угрюмый и неподкупный вид. Бурого опустил глаза; на его памяти случались не раз строительные катастрофы, но этой добровольной отваги он не встречал никогда. Очень туго и с усмешкой, точно его понуждали на фальшь, он сообразил: тогда гибло чужое, тогда гибло только золото.

— Гут, — сказал он самому себе и растерянно погладил переносье.

— Простите, я не слышал... — сунулся Фаворов.

— Я сказал — гут, — недовольно буркнул Бурого и пошел прочь.

Нельзя было препятствовать людям самовольно и за собственный риск бороться с несчастьем; из правил, преподанных ему жизнью, крепче прочих было одно: по мере роста беды усиливать борьбу. Кроме того, здесь без борьбы было бы слишком страшно; он знал также, что попытка ослабить мятеж реки не поведет ни к чему. С минуты на минуту ждали прибытия второй массы леса, и здесь таилось завершение целого дня тревог. При теснинке, обусловленной крутым под'емом берегов, катастрофа становилась неминуемой: лес должен был попросту расклинить запань. Всем существом своим, более чем разумом, он ощущал напор реки; она давила ему сзади, в хребет, и нужно было напрягать себя, чтоб держаться прямо. Он знал все вперед и оттого, что знанием своим не смел поделиться даже с Фаворовым, казался самому себе бессильней всех.

Он уходил наобум, вдоль берега, все еще косясь на реку; ее совсем не стало видно под навороченным лесом, — только кое-где, между бревнами, с тоненьким сопеньем курчавилась пена. Им было очень тесно тут, этим двенадцатиаршинным телам; из сдавленных кряжей сочилась смола, но хруст ломающихся столбов лишь в малой степени соответствовал истинному бешенству реки. По дороге, наклоняясь время от времени, он машинально щупал рукой витую сталь выносов, уходящих в землю; на руке оставалось ощущение влаги и как бы электрического тока: рука боялась их, в немоте пальцев и заключался их животный страх.

Кто-то пробежал мимо, Бурого поднял голову:

— ...надо спать. Спатеьнки надо молодым девушкам, — сказал он с насмешливой приподнятостью. — Где ваш головной убор, товарищ?

Сузанна отбросила назад волосы, наметанные ветром на лоб.

— Унесло... где отец? Мать мне звонила... нехорошо...

Неуклюжее пятно прожекторного света прошло у них над головами.

— На работе, милая девушка, на работе. Бог труда любит... — В шутке его звучало совсем иное, и оно прорвалось. — Если это слу-

чится, ему... не оставаться на строительстве, да. А это непременно случится! — Он по возможности смягчил остроту положения ее отца. Последнее он прокричал уже вдогонку ей.

Стало как-будто легче, он пошел вперед; ему хотелось думать о геройском безумии людей, вступавших в рукопашную с Сотьей... хотелось думать об всем, чем возможно было выселить из мыслей Сузанну; ему не удавалось это, потому что тотчас за ясным, хотя и бессолнечным днем, в котором он жил, должны были притти последние сумерки. Оттого он и не гнал своей последней страсти, хотя бы еще вразумительней представляла ее бесплодность. Бурого улыбнулся самому себе и вдруг понял, что добрался до порвавшегося выноса.

Об этом он догадался по кучке людей, склонившихся над чем-то, заставлявшим хранить молчание. Между ног у них покачивались, иногда пропадая, два тусклых керосиновых огня. Бурого перешагнул через трос и по брусу на конце его заключил, что человека убило не обрывком троса, а самым мертвецом, выхваченным из земли. Задние, узнав его, расступились; он вошел, и кольцо замкнулось. Печальные, беспокойные блики елозили по мокрой рогожке, которой предусмотрительно покрыли голову убитого. Должно быть, ждали носилок, чтоб унести. Припав ничком к маленьким и неподвижным ступням, все еще качалась и взрыдывала простоволосая женщина, мать. Фонарь приблизился к ее продолговатому и злому лицу; оно само испускало желтоватый фосфоресцирующий свет, и Фаворов, стоявший с другого края и еще не подавивший в себе лирической приподнятости чувств, подумал, что, наверно, и Соть имела в этот час такую же внешность. Инженеры испытали странное и виноватое томление: убитый оказался девочкой, и, судя по росту, ей было не более одиннадцати. К голым ее коленкам пристала комковатая грязь. Несчастье по нелепости своей походило на убийство; тут же ближний мужик, притомившийся от вынужденного молчанья, но вряд ли говорун, рассказал, как это случилось. Пользуясь отсутствием берегового десятника, они играли в этом месте, мужицкие дети, пятеро: произошло в сумерки. Пробегая мимо, девочка прыгала через тросы, попутно ударяя прутиком по ним; тогда-то из размокшей земли и выхлестнул саженный обломок бруса.

— Так что очень хорошо. Чище капкана действует твоя машинка. Вот сюда ее загребло... — почти с кинжальной остротой сказал мужик и коснулся пальцем шеи инженера, и из пальца его брызнул все тот же, испытанный еще недавно обжигающий ток.

Бурого медленно поднял голову, но мужика уже оттолкали, и тотчас же врач из сотинской больнички сообщил ему, что носилки принесли, но мать не дает уносить ребенка; двое в халатах и милиционер уже разгоняли зевак. Смущаясь новой своей роли, Бурого положил руку на плечо женщины, и только час спустя вспомнил, что при этом от сочувствия, кажется, назвал ее мамашей. Косясь на грязные инженерские сапоги, женщина вдруг проворно обернулась, и в

ту же минуту Бурого рывком спрятал в карман неостерегшуюся руку. Никто не успел заметить нападения или помешать ему, но где-то позади раздавался смех; смеялся тот самый мужик, хваливший коварное устройство выносов. По знаку Бурого служители подняли женщину, она уже не сопротивлялась. Происшествие окончилось, носилки понесли. Натуго затянув платком кровоточащий палец, Бурого пошел назад; ему стало грустно, ибо не умел, подобно Фаворову, принять и это за враждебный выпад стихии, на которую искал формулу, злейшую чем кнут.

Кто-то шел за ним следом, но Бурого не замедлял шага и ждал, когда Увадьев сам заговорит.

— ...глубоко прокусила?

Бурого шевельнул усами:

— Нет, у меня толстая кожа... я могу срезать ее ножиком, да! Мать — это клушка, да. И в этом есть большая биологическая красота!

Они пошли вместе. Увадьев выглядел угрюмой обычного, но и сквозь угрюмость его прорывалось общее волнение; пришедшему несколько раньше Бурого, ему показалось, что он опознал в убитой ту, с которой втесную была связана собственная его судьба. Из непонятого влечения он спросил, как ее зовут; ему сказали, что Полей. Он сделал окончательно непонятный постороннему вывод, возможный только в такую нечеловеческую ночь: сестра... Должно быть, теперь, перед лицом величайшего душевного холода, он искал себе временного друга, потребного в ином плане, чем те, которые вступали в героический поединок с рекою.

— Что там... крепят?

— Да, пускай... так надо. В волсовете были?

— На рассвете состоится сход, я говорил с ячейкой. Они поставят заставы с утра, чтоб не раз'езжались... правильно?

— Гут... надо было сразу военное положение. К завтраму пробку вырвет ко всем чертям. Будут воровать лес. У меня в Перми мужики загужали лес в колодцы, в гряды запахивали...

— Я разослал телеграммы в приречные волсоветы. А вот в уезд так и не дозвонился...

— Яман! — Неизвестно, откуда вплыло ему в сознание это татарское слово. — Мобилизовать, разумеется, с лошадьми.

— Да... свое-то найдем! А вот вообще что делать, Бурого?

— Разыщите Фаворова, он вам об'яснит романтику ночи.

Ветер дул им под ноги, рвал из-под сапог корье, наметанное водой. Наступила странная минута, которая никогда больше не могла повториться. Увадьев взял инженера под локоть:

— Бурого, я солдат, мое дело — драться. Вы честный человек, но вы не то, вы сапер... понятно? Я сумбурно говорю, но я как вот эта струна, которой полагается действовать и молчать... Я не боюсь моих ошибок, им со временем найдут громовое оправданье, Бурого. Но, чорт, я одет в мясо... и даже понемногу пью.

— Ничего, пейте, я и сам пью.

— Это раньше, теперь нет... не важно, — смутился Увадьев. — Есть вопрос, Бураго.

— Я дрожу от нетерпенья, Иван Абрамыч, — умно и спокойно усмехнулся Бураго.

— Вы... ну, как это говорится... очень ее любите?

Тот остановился и, хотя различал в темноте только смутный квадрат Увадьевского лица, долго глядел на него, потом медленно двинулся вперед.

— В мои годы глупо лишать себя таких невинных удовольствий. Будем спокойны, пустите мой локоть. Осторожней, тут какая-то шпала, не споткнитесь. Вы часто глядитесь в зеркало? Глядите, это успокаивает и не противоречит обязательным постановлениям. Надо убрать Ренне...

— Я знаю, — точно ничего и не случилось, сказал Увадьев.

— Мое мнение... она из завтрашнего дня. Думайте по-другому, не навязываю. Мы еще боремся, а поколение уже пережестилось через нас... У них многого нет, чем болели и чему радовались мы. В пятом году я сидел в провинциальной тюрьме. Окно камеры выходило на пустырь. По нему часто через такой мостик, через кривулинку проходил теленок... масти давленого кирпича с молоком, да. Очень его люблю и сегодня, этого зверя... а им уже не понять. Это хорошо... она иногда занятно пахла, пакость вчерашнего дня. Второе: любовь к родителям — вредное сцепление, не надо подпускать их, пусть они издали любуются на завтрашний день, в который уже не вступят. Ренне — лужа, которая не успела подсохнуть после дождя, надо помочь ей высохнуть. Все еще непонятно? Жаль, Иван Абрамыч. Ну, ступайте теперь, шумите, действуйте...

Увадьев так и остался в состоянии приподнятого недоумения... кстати, они уже пришли. Проектор упирался лучом в скитскую осыпь, и вся жизнь теперь средоточилась в этом круглом коридоре света. По одиночке и сгибаясь, словно опасно было высунуться из него, люди перебежали на скитской берег; и правда, тотчас над зыбким перекрытием светового тоннеля стремилась своим собственным фарватером мгла незамирной стихии. Десятеро добровольцев, сутулясь под тяжестью, потянули через реку дополнительные снасти, и в световое пятно на мысу вломилась их совместная многоногая тень; по колено в воде, прощупывая ногой осклизлые бревна бонов, они почти карабкались к своей тени, которая неуклюже топталась на месте. Увадьев узнал Акишина, он шел коренником; казалось, трос врезался глубоко в мякоть его исполинского плеча, потому что ветер вспучил его рубаху двумя полосатыми пузырями. Тянули без песни, следя лишь за тем, чтоб не сорваться в убегающее пространство под ногами, да слушая скрипучие дудки ветра. Знамени не было видно, а чернявый знаменосец, на пару с Горешиним, рыл ямы для новых свай... Так прошел час безжалобной и неоплатной работы. Вдруг лес затрещал,

и отдельные бревна полезли вверх, расстанавливаясь темными, угрожающими перстами: очевидно, подходил беглый лес из верхней запани. Долговязый Горешин сипло заторопил тех, кто загонял мерные кряжи под выноса, но канаты уже сами напряжились и вступили в работу. Только тогда Увадьев решился подойти к Фадею, который — весь рваный — блаженно ухмылялся на реку.

— ...ишь, рубаху-то вдрызг, старик!..

Тот не слышал:

— Сила, сила... — повторял он любовно, не отрывая глаз от Соти. — Сила твоя, сила...

Увадьев взволнованно положил ему руку на плечо:

— А ты наш, старик, наш... — Ему очень хотелось акишинской дружбы в этот беспорядочный час.

— Чей наш? — своенравно обернулся Фадей и рывком стряхнул его руку. — Я ничей, я свой... Думаешь, ты мной правишь? Я тобой правлю, бумажна душа. Ты безбранных любишь, а он тебе лижет, а сам в подпольи пеньку на тебя копит. Я тебя всегда ругать буду, а ты меня береги... главней всего береги! — и с вытаращенными глазами погрозил пальцем.

— Чему ж обиделся-то, старик? — оторопело молвил Увадьев.

— А чего ж хвалить... я с тебя на чай не требую? Мне, комиссар, терять нечего: сына-то угрохали...

— Кто ж его угрохал, мы, что ли...?

— Не ты, а... — И тут ему представился, наконец, замечательный случай рассказать комиссару все свои неопишуемые истории, но вместо того он вдруг метнулся на запань, и Увадьев еле успел схватить его за руку: — Пусти, топор мой... мертвяков тесали, так и бросили... унесет!

Стало поздно, кряжи под новым перехватом пошли в песок. Страшная и безглазая сила копилась в воздухе. Десятники разгоняли народ. Отдельные фонарики, затухая, потекли в поселок. Берег стал пустеть. В гавань беспрепятственно вступила запоздалая ночь, и это произошло еще прежде, чем погас прожектор.

— Не забуду я тебе этого топора, — вырвавшись, сказал Фадей и захромал вверх, на бугор.

Людям не спалось, рабочий клуб не закрывался до рассвета. Отрезвевшие от напрасного геройства люди выходили на крыльцо и, пряча цыгарки в кулаках, слушали ночные звуки. Глаза у них были такие, точно там, внизу, второе и уже намеренное происходило убийство.

4

Сузанна так и не нашла отца. Встречный техник сказал, будто видел, как Ренне направлялся к макарихинскому перелеску. Она выслушала его с гримасой раздражения: он и в самом деле мог отправиться вслед за носилками с убитой девочкой. В том состоянии, которое на-

ступило у него с месяц назад, он способен был на любую из самых неправдоподобных крайностей. Этот добросовестный паровичок с российской узкоколейки оказался вовсе неприспособленным к рельсам новых магистралей — не только по техническим своим навыкам; отнять у него работу — значило вырвать тот последний колышек, за который он держался в жизни. Он и сам понимал это; в характере Рене объявилась повышенная религиозность в неперменном сочетании с знаменательной мелодией о герое, которая мутила ему разум с начала революции; позже ко всему этому присоединились очень неопределенные отношения с Виссарионом, который уже начинал свою политическую игру на Соти. Свои раздумья обо всем этом она заключила ироническим недоверием: на что могло быть способно это калечное воинство! С величайшим удивлением на себя она испытала жалость, и когда в утреннем разговоре с отцом она пыталась высказать ему свою точку зрения, он сердито затушил это неокрепшее чувство.

— О каких хозяевах жизни говоришь? Ты, ты хозяйка жизни? Сносишься и выкинут — это не твое — живешь краденой идеей! Хуфу строил — прах растоптали — мрамор на ступеньки чужих дворцов — туристы с кодаками ходят, — брюзгливо кидал он.

Она посмотрела на него с сожалением:

— Да, ты отживаешь свое. Через десять лет к тебе потребуется комментарий!

— Его напишут не вы! — блеснул он глазами, а через минуту сидел седой и еще более жалкий, закрыв руками лицо.

Дочь ушла, чтоб не возвращаться больше, но вечером к ней позвонила мать.

— Суза, найди отца, — сказала она просто.

— Я занята, не могу сейчас.

— Тебе очень досадно, что он еще жив?.. У него в чемодане была одна вещь, теперь ее нету. — Старуха и прежде не доверяла телефону. — Найди отца, Суза!

Это была последняя жертва, на которую решилась Сузанна.

... у оврага горел костер. В стадо из-за непогоды скота не выгоняли; бабы серпами нажинали коровам травы, а коней, стреножив, пускали в ночное; сотинские ночи принадлежали ветрам. Сперва коней отводили мальчишки, но после участвовавших конокрадств на Енге с табуном уходили сами мужики; сидя у костра, они сонливо вели бесконечные беседы о непонятном или слушали, как трескуче и пламенно повествует о том же самом огонь. Сузанна проходила мимо; ей показался знакомым облик и — еще более — жесты говорившего человека; несвязные обрывки фраз, произносимых с великой силой, донеслись до нее. Она приблизилась по скату оврага, рискуя скатиться вниз по осклизлой траве. Мутный ореол влажности стоял над пламенем, которое пригнетал к земле хаотический напор воздуха. Закутанные в зимние овчины мужики ютились вокруг костра на поленьях. Изредка,

когда стихал ветер, из мрака возникали юранжевые и мокрые бока лошадей. Под калосей Сузанны визгнула трава. Небольшой мужичонка, наверно, Куземкин, которого таким неузнаваемым делала ночь, пошел посмотреть звук. Сузанна вошла в полевой соснячок и закрыла лицо рукавом. Куземкин всмотрелся в тьму и, сделав кстати все, что ему было нужно, неспешно воротился к огню.

— ...и откуда столько воды берется на свете? — сказал он, присаживаясь на свое поленце.

Ему не ответили; беседа продолжалась, и Сузанна поняла, что застала лишь конец ее. Потирая руки в теплом потоке воздуха, полным искр, Виссарион досказал:

— Электричество тоже великая вещь: повернут рычажок, и вы без них ни ногой!

— Лукаво задумано, — с удовольствием сказал один, сидевший спиной к Сузанне.

— Они настроют! — шумно вздохнул длинный мужик. — Я даве ящики со станции привозил... и все железо, железо, чистокровное железо, мужички! А тут гвоздь аль подкову христом-богом выпрашиваешь.

Тут зашевелился еще один, и Сузанна без удивления узнала старого Мокроносова: Виссарион постарался обезопасить себя в отношении слушателей.

— Как построят, так и потечет на нас вонь. Мне техник сказал... — Кажется, он имел в виду сернистый газ, непременный и неуловимый отход производства. — И пойдет хаз, и все им пропитается, реки и сушь. Еще корова-то ест травешку, зато уж молочка пить не станешь! А лошадь просто понюхает, чихнет, выругается человеком словом и прочь пойдет...

— А петухи, те, говорят, запросто с ума сходят! — наспех выдумал Куземкин, вертясь всяко, и все покосились на него с недоверием испуга, да он и сам устрасился выдумки своей.

Виссарион не опровергал ни того, что вянут цветы от газа, ни того, что рыба всплывает пузичком вверх; задумчиво шевеля горящее сучье, он лишь направлял течение разговора так, чтоб острием он расположился против Сотьстрою. Тогда, плохо соображая возможные последствия поступка, Сузанна вышла из своего убежища. Застигнутый на месте, Виссарион ниже склонился к огню и молчал.

— Товарищи... я проходила мимо... — Она сбилась, ей стало холодно, никто не смотрел на нее, и только Куземкин шутовски посвистывал себе под нос. — Это все чушь! Попросите управление строительства прислать вам человека, и он расскажет о производстве верней, чем этот недоучка. Газы ничем не отразятся на вашем хозяйстве, а щелока, которые обычно спускают в воду... — она задохнулась от возмущенья — ...щелока у нас предположено сгущать и сжигать на форсунке, как топливо!

— Это конечно двойной и обоюдный фахт, — равнодушно кинул Мокроносов и зевнул, и тотчас все зазевали кругом. — А мы рази против, девушка? Не, мы душевно за! А только вот: хазы детям нехорошо.

Двусмысленность положения мешала ей говорить слитно:

— Кому поверили!.. строительство уже дало вам новые избы, клуб, школу. Оно даст вам работу на круглый год...

— Такая смешная девушка, — насильственно заулыбался Мокроносов. — В клубе-т не кормят, а насчет музыки — у нас своя есть... как возле сытного стола чешем голодно брюхо!

— Хлеб будет, много хлеба... — Ветер обвил ее дымом и искрами.

— Покуда твой хлеб созреет — жрать его станет некому: перемрем! — иступленно крикнул все тот же длинный мужик. — Во, гляди, сок через глотку текет...

Было смешно уговаривать людей, перед которыми мог безбоязненно раскрываться Виссарион. Все они были из той части Макарихи, которая в отошедшие времена незримо владела округой. Сидели тут двоюродни Алядины, Иона и Тимофей, подрядчики и конокрадьей красоты старики; Алексей Дедосолов рядком, наплодивший роту сыновей, которых разбросал, как семена, по обе стороны российского окопа — «цепляйтесь, детки!»; курил самодельную трубочку и кашлял надсадно Шибалкин, знаток советского закона и юла; Лука, отец председателя, который с той памятной ночи не отводил мерклых глаз от Виссариона; Куземкин, которому страшно было снять с себя личину добровольного шута, потому что не было под ней ничего; Мокроносов, в прошлом — владелец ассенизационных обозов, о котором вдоволь сказано; Желудьев, о котором нечего сказать, потому что при всех властях оказывался чист, и некоторые другие, порывистые, как ветер на Соти, мелкозубые, как мелкослойное северное дерево. Их было не переубедить, как не заставить лес сойти с занятого места; их можно было или рубить или ждать, пока обгонит молодая поросль. Теперь все они строго глядели на Сузанныны калошки, и той было — точно глыба камня лежала у ней на ногах.

— Я приду к вам в конце недели и сделаю доклад. Хотите?

Они украдкой перемигивались, и она нерешительно повернулась уходить. Минуту спустя, сделав знак молчать, Виссарион поспешно захромал за нею: после явного этого поношенья, в котором была и его доля, у Сузанны могло иссякнуть прежнее великодушье. Она почти бежала, не разбирая дороги.

— Слушайте, мне трудно догонять вас... я хромой! — крикнул Виссарион. — Остановитесь, не бойтесь меня...

Она обернулась, оскорбленная еще более этим подозреньем:

— Вы... вы работаете от себя или от хозяина?

— Молчите, я объясню... это недолго. Надо же внушить когда-нибудь сознание силы в это рабское племя. Это полезно не только мне... — Она враждебно молчала, и он сделал вид, будто сдается: — Это вредно...?

— Это глупо, будить стихию, если не иметь власти над нею. Вы стали дрянью, поручик!

— Слушайте, я об'ясню, не торопитесь... — И вот уже шагал в ногу с нею. — Глядите: облако — кусок плаща, правда? А вы... вы знаете, что за ним, если оно распахнется?

— Вы собираетесь читать стихи?

— ...потом, стихи потом. Слушайте... лягте на землю и слушайте: она орет. Мир гибнет... — Должно быть, он того и добивался, чтоб она хоть на минуту поверила в его сумасшествие. — На этой остывающей планете остывает и человек... о, еще не однажды материя взглянет в это свое зеркало и ужаснется!.. все кристаллизуется, все приходит к последнему равновесию: нет, еще не Клаузиус, а только демократия и новый, еще неслышанный человек. Не торопитесь приветствовать его заранее, счастливые родители... Я говорю, что мир на небывалом еще ущербе, в основе его ненависть и месть, его законы для подлецов, его техника для расслабленных, его искусства для безумных... Цивилизация — вот путь, вырожденье — вот завершение. Я простужен, у меня слипаются слова... но поймите меня. Не мысль, не идея, а вещь формирует сознание. Не бог ограбил человечество, а вещь, лукавый хозяин мира. Неправда? Когда-то на заре он сам был богом, мохноногий человек: он раздавал имена и приписывал смыслы. Он был могущественен, потому что дружил со стихиями, сам сын хаоса и первоначальной силы. Он понимал мудрее нас это бессмысленное вращенье глухонемых шаров: они бегали вокруг него и для него... не пугайтесь, это о звездах, здесь нет опасности вашему Сотъстрою. Ха, космический гороскоп благоприятствует ему!.. Пращуру тепло было в его природной шубе, глаза его умели издали отыскать добычу, а ноги догнать ее. Так проходили тысячи лет, но вот в минуту временного отчаянья и бессилья родилась вещь. Она разом впитала в себя качества и свободу хозяина. Культура и есть выделение качеств... Шкура его стала домом, зоркость выделилась в великолепную оптику, а из ног выковались колеса. Вещь обещала ему химерическое блаженство, и вот, раздеваясь и голая, человек побежал вперед... его бег страшен, потому что он боится отстать от своей собственной тени. Иногда он в усталости высывает свой иссохший, истрескавшийся от жажды язык, не видите вы? Раньше он умирал от геройства или любви, теперь он погибает от расширения аорты! Утерялись все нормы, наступил хамский апогей естественных наук. Множась, они, подобно волхвам, понесли свои дары к колыбели богочеловека. Вспомните!.. человек есть то, что он ест. Любовь — взаимное влечение яичников. Солнце — злосчастный гном, дни которого сосчитаны и гимназистами. Душа — функция протоплазмы... Один принес обезьяну, другой рефлексологию, третий манифестировал конечность вселенной, четвертый подрумняивает мясом, вырезанным из козла, пятый... Ха, придет еще один Фрейд, и не останется веры ни в чистоту, ни в дружбу, ни в невинность; наступит разочарование, все перестанут смеяться, потому что разучатся плакать, а

тогда погаснет и вера в необходимость жить. Уже теперь: зачем Увадьеву любовь?.. зачем в Англии король?.. зачем над островом Маврикия плывет облако? Все рассечено и познано, но слушайте: произошел обман. Познан труп в его мертвых, отдельных частях, а живое единство ушло невозвратно. Каменщик, бьющий камень, заражается его твердостью. Неспроста впереди революции шагают металлисты. Человек заразился сукровицей своего знания... И вот душа изгоняется из мира сквозь строй шпицрутенов и палок. Чудовище, родившее библию, коран, Илиаду, стало клячей. Ей не поспеть, она хромает, как я! Эллада, равновесие начал, единство остались позади, за кормой... Слушайте, я говорю: назад, к тезису. Неясно? Назад, к прапаматери всех Эллад...

Только теперь она очнулась от его смутительного, сумбурного напора; он обвивал ее горячим ветром, но, нападая, он, кажется, заискивал в ее сочувствии. Она собрала в себе силы, чтоб усмехнуться:

— ...говорите, говорите! В вашем положении надо много, много говорить. Вы кричите как-будто о синтезе, а между тем упускаете область социальных отношений. Человечество разрублено на государства, на классы и группы, но именно коммунизм и объединит эти разобщенные части... так? Кроме того, уже теперь химия сливается с физикой, а биология неотделима от химии... мы на пороге единого познания мира в его целом, переливающимся существе.

— Чужое! Бред того грека, которого называли Темным...

— Значит, старик был близок к истине. Но при чем тут антисоветская агитация и мужики?

Ему было выгодней не расслышать ее:

— ...не торопитесь! Я весь мокрый и простужен. Я недоучка, вы правы. В пору, когда надо было учиться, в меня стали стрелять, а я отвечал. Все стреляли, даже женщины постигли это ремесло. Не спешите: вы попали мне в коленку, и у меня плохо срослось. Слушайте! На турецком фронте к нам в штаб прислали Бимбаева. Там предполагалось наступление и нужно было взять один укрепленный бугор... этакую опухоль, изрытую саперами. Он приехал на такой загогулине о двух горбах, ехал и качался чуть не от самой Эривани. Он был в синем пенсне, и у него было какое-то неблагополучие в морде, кажется, — туберкулез кожи... поэтому он был застенчив. Через неделю он вызывал всеобщее восхищение, когда испытанные мастера уничтоженья видели, на что способен ученый, если он сочетается с практиком. Он связался с физической лабораторией, ему прислали синоптические карты давлений с разметкой их центров. В двое суток он основал свою собственную сеть метеорологических наблюдений и однажды, в солнечное утро, пустил волну. Я помню: поддувало с севера-востока. Газ заковылял вглубь. Артиллерия замолкла сразу. Все было очень тихо. Ничто не нарушило погожего благополучия рассвета. То был великолепный апофеоз науки! Две тысячи трупов нежной мраморной рас-

цветки и двести семьдесят медалей тем, которые месяц спустя лопатами сгребали мертвечину в братские могилы. Там было очень жарко, а убитые лежали в зоне жестоких заградительных огней. Кроме медалей, людям выдавался чистый спирт, чтоб, оглушив их в самом начале, приспособить к этой необычной работе. Один прапорщик запаса, сломавшись, стал стрелять в своих, и его зарубили теми же лопатами; убийц не судили. У меня был кодачок, я снял, но фотография пропала при аресте. Зато сохранилась другая: как его качали в штабе, этого Бимбаева. Он застенчиво цеплялся за погоны офицеров и лишь вскрикивал: «Осторожней, господа... мое пенсне, осторожней!» Он превзошел всех наших героев, этих самонадеянных кустарей; он дал военной науке изумительный опыт. Я потерял все, даже ладанку матери, но эту фотографию носил за пазухой, на сердце, как паспорт моей идеи. Я пошел звать его в собрание, на блины. Я сказал: вы чорт!.. Он очень скромно уклонился от похвалы: — Зовите меня лучше Сергей Николаевич... это больше соответствует действительности!.. Мы с ним сошлись, приятный малый. Он сообщил, что газы в войну — не его выдумка, а того профессора Нернста, реализовавшего, наконец, тысячелетний опыт науки. Это имя достойно быть вырезанным на медных досках в университетах... его грудь по справедливости украшена не одним, а тремя, может быть, миллионами крестов... я говорю, разумеется, о братских могилах. О, Бимбаев великий провокатор, который так умно показал мне могущество науки! У него была задумана великолепная машина, — в ней не пушки, а только колбы, сгустители, много труб, лопастей и вращающихся дисков... здесь-то химия побратается с физикой и механикой. Ее пускают люди в каучуковых халатах! Сама унюхивая запах человека, равно бегущего через огромное поле или кричащего в столбняке, она поедет на города, чтоб кусать, жечь, стричь, прокалывать, жевать, давить и отравлять людские мяса. Ха, они будут крутиться, зарываться в землю, кидаться в пропасти, залезать в горящие печи, а она их будет догонять... вы играли ребенком в горелки? Он еще потрудится, Бимбаев, пока его разум не сожрет волчанка. Вы слышите, как он потеет? Колеса движутся, все готово, но он еще хочет учетверить количество ее функций. Может быть, Бимбаев учит ее летать или улыбаться или произносить слово м а м а... — Он в изнеможении стиснул рукою бегущий мимо него воздух.— Однажды я видел, как от пули упал человек...

Она прервала:

— А вы думали, что он танцевать начнет?

— Нет, я ждал, что он вынет пулю и кинет ее назад!

— ...итак, договорились до революции?

Может быть, он растерялся перед новым словом:

— Да... если так называется великий гнев.

Изредка распахивалась облачная дверь, и неопределенная вспышка луны или зарницы освещала окрестность. Она текла, и все текло над нею. Виссарион ежился; ветер кромсал легонькое его, казенного

покроя пальтецо, купленное им на первое же жалованье завклуба. Иногда он смаху наступал в лужу, брызги летели на ноги Сузанны, но она не умела выбрать минуту, чтоб остановить его.

— Тогда я уперся в это слово, вы правы. В семнадцатом году я состоял членом полкового комитета депутатов, но скоро переменял установку: меня засадили в сумасшедший дом, который охранялся пулеметами. Я говорил: в революциях выживают либо дубы, либо гибкий осинничек, крапивка да прилипчивая ягодная травка в тени подгнивающих пней. Я хотел сказать, что гибнут лучшие, носители огня, что укрепляется здоровье мещанина. Прошедший сквозь революцию, он страшен своей подавляющей единогласностью. Но все забывается через поколение, а многое перевернут поэты, все окисляется, а растоптанная вещь... о, как она еще отомстит за свое временное поруганье. Я был левее всех, потому что восставал в самом первоисточнике неравенства, культуре. Вот она лежит, развороченная, и всякий тащит себе из нее, что ему по плечу или по карману. Я говорил: надо выжечь отравленное это наследство, потому что мертвецы... все эти Гомеры, Шакеспереары... правят нами сильнее любых тиранов. Надо уничтожить мозговой элѐфантиазис, эти благородные клеточки, где угнездились микробы вырожденья. Восставайте до конца! Человечеству ничего не остается, кроме как забыть свое прошлое и начать сначала. Вы скажете: пролетариат взялся за эту задачу...

— Приблизительно так, — вставила она.

— ...вы говорите: обновление произойдет, Эллада вернется, но не мы вернемся в нее. Прежняя держалась на рабстве, но в этом не было гибельных противоречий, потому что раб не был человеком. Она погибла, когда сделали это запоздалое открытие. Эллада будущего разовьет индивидуальность, она станет держаться стальными рабами, машинами... не будет классов, процессы жизни сольются в одном. Будет новая дружба — равенства, а не подчинения. Будет коллективная душа. Так?

— Я не возражаю вам.

— Бимбаев говорил... он был, кажется, бурят: э, трэщина, звон не тот! Человечество задушат сытость и неразлучное счастье. Исчезнут социальные противоречия — источник развития. Уничтожится потенциал, и другой потухнет сам собою. Вот уж где — ни радости, ни печали, ни воздыхания... вот где благополучный, уравновешенный кристалл. Я буду отвечать за вас! Вы говорите: да... или возникновение новых, безумных противоречий. История человека — увеличение власти над природой, развитие его производительных сил. Героическая эта борьба ослаблялась классовой борьбой... вы мне напомните американцев, сжигающих зерно в топках паровозов, голландцев, которые вырубают кофейные деревья, чтоб не упали мировые цены? Без всего этого с новым блеском и бешенством вспыхнет творчество? Тогда-то и наступит расцвет духовной и физической мощи. Вы говорите: вперед, к синтезу... пусть распахнется посеянное однажды зерно?

— Да... вы увидите!—Она вдруг поправилась:—Нет, вы уже не увидите.

— Моя удача—не видеть кары! Человек прорубит, наконец, эту голубую скорлупу и вылупится в мир еще незнаемого цвета... там караулят его еще неиспытанные холод и одиночество. И уже не будет души, огонька, у которого можно было погреться. Поймите: где-то на перегоне двух космических скоростей, лучей различной длины мы—неповторимая случайность. Вы—химичка, представьте—другая волна или в основу органического мира не углерод, а азот—и все бессмысленно, потому что разумно для кого-то другого. В этом тупике куда я дену свой изощренный разум, познавший, наконец, собственное свое ничтожество. Пусто, и даже голову разбить не обо что! Я говорю...

Именно то, что угнетало ее навязчивого собеседника, и поселяло в ней жажду преодоления. Она ждала выводов в роде тех одесских безмотивников, которые подвизались с бомбами во имя беспринципного террора в начале века. Это было похоже и на буржуазных дадаистов, бунтующих против урбанизма, в котором заложены опасные социальные фугасы. Она недоумевала: чем он попытается увести внимание от более насущных проблем. Она сказала:

— Вы думаете, если у рыбы отрезать плавники, она будет ходить?

— Научится.

— Это смешно: хромой завклуб спит на дереве, зацепясь ногой за ветку!

— Нет, отступить до пастушества и точка.

— Но ведь стадо—это уже интеллект, это организация!

— Нет, инстинкт. И журавли имеют вожака, а летят клином...

Остановясь, Сузанна нетерпеливо теребила ветку сосенки, и деревце шумело от осыпающейся капли.

— Я отвечаю вам: поколение, которому принадлежит жизнь, порвало связь с прошлым. Оно выросло в грозе, его не увлечет мишурой из прошлого. Кроме того, у них есть смелость желаний...

Он обнажил зубы:

— Для них и хлеб достижение!

— Да, потому что ему придан другой смысл. Чего же хотите вы?

— Воскресения души.

— ...то-есть реставрации?—Она представляла ему возможность открытого поединка, но он не воспользовался ею.—Хорошо, отрицая путь обновления пролетариатом, вы предлагаете?..

— Надо вызвать к бытию человека, который спасет.

— Вы говорите о Бонапарте?

Он со злобой поднял руку:

— Не надо браниться! Я сказал об Атилле.

— Я не понимаю.

— Так не прерывайте меня!.. земле нужен большой огонь. И верьте, ураган этот наступит, Атилла придет в нем. В годы войны и нищеты уже в России рождался этот ребенок... наступало прозрение

истины. Титы Ливии, Теккереи, Мильтоны всех стран охотно разбирались на цыгарки, а Рубенсы, если попадались в гущу вихря, ценились лишь по количеству калорий, заключенных в их обветшалых холстах. Одетые в гнев, люди подымали руки на музеи, в которых скопились Мидасовы богатства, все эти портреты и статуи величайших мерзавцев мира, лукавых праведников, безумных завоевателей, мадонн, мошеников, арапов и дураков... Этим людям души были дороже, чем Пифагоровы штаны или собор парижской богоматери. Они говорили: пусть мертвые лежат в земле и не правят живыми через посредство гениев. Человек мстил красоте, которую родил и которая сделала его рабом. Ребенок рос, стихии были няньками, он уже ухмылялся и, судя по резвости, можно было ждать от него великих свершений... каждый двадцатый в стране видел его собственными глазами, но предприимчивые родители... ха, все те же порох и сытость! Но он еще вернется, возвратит утраченную душу, научит понимать хлеб, любить едкий дым костров. Он придет на коне, одетый в лоскут цвета горелого праха, в волосах его ветер, а в бровях полынь. Слабые вымрут в год, а сильных он посадит на коней и поведет назад, к тезису. Стрелка потечет вспять, через темные дни; ей придется переплывать реки крови, карабкаться через Гималаи (обесмысленных вещей...)

— ...они разобьют погреб и выпьют всю водку!—в тон ему встала Сузанна, но его уже не остановить было и насмешкой.

— В этом последнем странствии родится новое, беспмятное поколение. Только в песнях у громадных степных костров они помянут про глупую рыбу, которой посчастливилось однажды выброситься из волшебных неводов. Пускай: песня, как могильный памятник, — она способствует забвенью... Границы областей сотрутся, вся планета станет человеку родиной, словам любовь и солнце вернутся их первоначальные значенья. Не все, но каждый будут счастливы. В пустыне проскачет свободный и голый человек. Слушайте... я до сих пор так и не знаю вашего имени... неужели вы не понимаете, что, в сущности, человечество только и живет надеждой на Атиллу?!

Сузанна с любопытством взглянула на него:

— А советские фабрики и заводы надо взрывать или не надо?

Он ожесточенно покачал головою:

— Вы так и не поняли меня. Я напрасно распространялся перед вами. Мне жаль себя...

— Нет, я поняла и благодарю за доверие. Я попрошу Увадьева сделать оргвыводы, как теперь говорится!—Она уходила.

— Последний вопрос!—Он заступил ей дорогу.—Где тот?.. его звали Савкой, в ту ночь.

— Савка?.. он сунул гранату в рот, когда его брали. Имейте в виду, это почти не больно.

Ему хотелось догнать ее и отнять свою идею, которую она с такой легкостью подвела под статью уголовного кодекса. Но она ушла, а он, выдернув травинку, обессиленно жевал ее сочный, сладковатый

стебель. Ему пришла мысль, что он запутался, что вовсе и нехватит воли на овладенье миром. Там, под сумасбродной оболочкой идеи, крылось простое человеческое честолюбье. Именно не война, не годы развала и бедствия создали его характер, а ничтожный случай юности, когда еще собирал марки. Дело было в реальном училище, дело было в директорском кабинете: штатский генерал со лбом до самого затылка уговаривал его сходить к высокому покровителю и шаркнуть ножкой за стипендию, на которой учился. Голос был замшевый, замша пахла оппопонаксом, она моталась из живота почтенного чиновника, где скрывались целые рулоны такой замши. А Виссарион угрюмо косился на серебряный колпачок чернилницы, где передразнивал его послушные кивки головастый ублюдок.—И вдруг он рассмеялся мысли, что Сузанна могла ему сказать: а ты хоть и с запозданием, а шаркнешь ножкой..

Побитая, гнилая вика цеплялась за ноги. Он шел быстро, и над ним его же путем катилось облако, вз'ерошенное и вполнеба; одна и та же влекла их судьба. Ярость ускорила шаг Виссариона, но и облаку прибавил резвости усилившийся ветер. Оно распалось над лесом в тяжелые, морозящие клочья, а человеку понадобилось прежде свернуть в Макариху, к дому председателя волсовета.

5

Всем, кто умел заснуть в эту ночь, снилось это дикое облако, но каждому в различном виде. Увадьев видел красный шар, громоздко катившийся с востока на запад, Акишин—окоренную болону на шестериковом березовом комле, которое издалека несло последний удар на сотинскую запань; Вассиан—просто заячью голову, кощунственно пристегнутую к безгласному тулову Евсевия. И будто тысячи народу от гор, от рек, от степей пришли поклониться святому, лежащему в пышном соборе, который к этому сроку уже достроило Вассианово воображение. И будто, стоя ближе всех, все старается казначей прикрыть платочком меховое лицо старца, но тот бьется и дергивает пелену, и все видят и, внезапно прозрев, бегут вон. И тут, на перегибе сна и яви, снова вкрадывается сомненье: истине ли поклонялся, правды ли ради лукавил бессменно двадцать лет в многотрудной должности казначея? Все чаще вторгалась такая сумятица в непрочные сны Вассиана...

Накинув овчину, он вышел из кельи. За облачной высокой кисеей расплывчато и надменно просвечивало солнце. Розовые потемки зари здесь, на огороде, пахли тмином. Бурная ночь придвинула оползень еще на полсажени; гряды укоротились, и огуречные усы недоуменно повисали над бездной. Было обидно глядеть на поломанную, втопанную в грязь ботву; Вассиан бесцельно обошел скит. Всюду жестокое опустошение представало его хозяйственному глазу. Ночью близ церкви десятибальным ветром повалило дерево; вершина проломила железный навес и вышибла цветные стекла на паперти, дар все того же

чудака Барулина. Подняв осколок покрупнее, Вассиан сокрушенно протирал его полюю, точно он мог еще пригодиться в этом обреченном гнездовье бога.

Его потянуло прочь из этого гиблого места. Не расставаясь с драгоценным осколком, напоминаясь славы, казначей двинулся по просеке, приводившей на мысок. Давно здесь не проходил никто; по дорожке расплодился цветистые и наглые грибы. С деревьев шумно падала ночная влага. В юрешнике неуверенно посвистали птицы. «Это чирки»—подумал казначей и, хотя был знатоком пернатых, не заметил своей ошибки. Из трещин на скамье выползла ядовитая оранжевая плесень. Смахнув ее веткой, Вассиан присел на краешек, осторожно,—как в чужом доме. Сверху, на взгляд казначея, все обстояло благополучно. На реке попрежнему стояла прорва лесу; запань искривилась дугой, и только отдаленное журчанье вод напоминало паводке. Зевнув, ибо уже утомился печальями, он приложил осколок к глазу. Цвет стекла был густо-красный.

Он не узнал Соти и, не поверив глазу, принялся протирать стекло, Красный зной стоял над рекою; листва была прозрачна и темна, а небо исполнилось недоброй черноты. Все было как бы в пламени, а лесная масса представлялась потоками застылого базальта, извергнутого из недр. Облачная лава надвигалась с востока. Движения людей, копошившихся на противоположном берегу, приобрели злую и тревожную значительность. Стекло искажало правду; правда стекла была совсем другая. Верховой гнал по берегу клячонку, везя почту на Шушу, а Вассиану показалось, будто на апокалипсическом таракане удирает от страшного суда. Красная пленка легла на сознание казначея; он увидел человека, стоящего неподвижно на берегу, и почувствовал, что человек сейчас упадет. Он едва успел откинуть колдовское стекло, и в ту же минуту произошла катастрофа. Прорыв запани произошел на его глазах.

Что-то молниейно сверкнуло под лесным затором, и потом дважды выстрелили из игрушечного пистолета; на пятнадцатисаженной высоте, где находился Вассиан, все представлялось ему в преуменьшенных размерах. Запань стала еще круглей и вдруг выскочила из пяты; костоломная сила метнула бревна по реке, которая стала чуть не вдвое шире. В особенности испугала Вассиана легкость, с какой вековая ива отделилась от своего места и, стоя посреди, двинулась с общим потоком. На середине реки, где плотность массы понизилась, она упала и билась ветвями в воронках водоворотов. Когда ее снова выкинуло на поверхность, она ничем не отличалась от тысяч других кряжей, этих сотьстроевских солдат, так и не побывавших в бою. Держась за скамью, точно боялся, что и его беда утащит в чужое море, Вассиан потерянно наблюдал бешеную скачку пены и деревьев. Потом его внимание привлекло белесое пятно на коленке: ряса раз'езжалась, а новой уже не было. Он так и понимал: надо кончать жизнь, затянувшуюся, несмешную неудачу. Большая сотинская беда заслонилась своею, ма-

ленькой: чтоб жить дальше, надо было непременно придумать, как выгодней всего пустить нитку по расползающейся ткани...

Там, на берегу почти с таким же бесстрашием созерцали катастрофу; это было равнодушие бессилия. Собравшись сюда точно на похороны, рабочие угрюмо ждали утреннего гудка. Часом позже их сменили мальчишки; рассевшись на жердях изгороди, они с задирчивой деловитостью обсуждали происшествие. Скоро сбежали и они: у Тепаков выкинуло утоплую корову; надо было обсудить и корову. К полуденному гудку на берегу находился лишь Ренне да еще береговой десятник с ним. Похлопывая инженера по плечу, дыша ему в лицо водочным перегаром, он в десятый раз доказывал свое:

— ...в прежни годы выругался бы, взял бы расчет, да к жене за печку. А ноне рази ж я не понимаю, хрест на груди, деньги-то чье? Почитай со всего уезда, что в налог собрали, деньги утекли, Филипп Александрч! Мужики потом исходили, бабы беременны трудились... шкелту восьмой годок, ему б порхать, а и того в сообщий хомут впрягали, чтоб репку эту из земли тащить... а тут фить! и прощай обожаемая репка. И выходит, что в роде как бы на картах мы с тобой эти деньги проиграли, Филипп Александрч. И неповинен, хрест на груди, а убить себя охота!

— Не хаами, братец, не хаами, не люблю...—морщился Ренне на его трескотню.

— И теперь непременно отдадут нас под суд. Засодют, а уж там папироски не закуришь, а все махорочка, мать родная. На, Филипп Александрч, приучайся! У-у, утроба... — рычал он реке и плакал, и вскакивал, пьяный, и снова плакал как-то странно, слюною.

Соть помирнела, ее воды тащились медленней. В кабинете Бурого висел анероид, неустойчивая стрелка его выражала как бы смущение. С утра бессонный телеграфист начал выстукивать Увадьевские послания и в уездный исполком, и в Бумагу, и в Совет народного хозяйства. В конторе стало тихо, и даже старший бухгалтер, имевший дурную склонность петь коровьим голосом, отправляясь домой с работы, похоронил в себе свои рулады. Только к концу дня, после заседания, Увадьев вышел из кабинета в общую канцелярию. Лицо его огрубело, а руки цеплялись за предметы, мимо которых проходил; он с удивлением признавался себе, что устал, и потом угнетало странное ощущение, будто озябла спина. Заседание, посвященное выработке мер по ликвидации сотинской катастрофы, кончилось ничем. Лес был нужен больше, нежели цемент и железо; начинались срочные работы по опалубке второго перекрытия и по возведению рабочего поселка. Бурого требовал немедленного сокращения работ, так как при новой смете и неясности положения строительство могло встать перед внезапной угрозой остановки; Увадьев настаивал лишь на постепенном снижении строительного темпа, рассчитывая, видимо, добыть к сроку потребные лесоматериалы. Рабочком по понятным соображениям от голосования отказался. Заседание отложили до вечера, чтоб выслу-

шать мнение Потемкина, продолжавшего оставаться начальником Сотьстроая. Ренне на заседание не явился; общий запал злости так и остался неизрасходованным. Когда Увадьев раскрыл дверь, облако табачного дыма стояло за его плечами.

Канцелярия была пуста; только у окна, белесая в пасмурном свете, стучала на машинке переписчица. Увадьев с зевотой вспомнил: ее звали Зоей, она славилась аккуратностью и всегда пахивала мылом. День гаснул. Внизу передвигали стол. За окном, утопая в грязях, прошел главный механик Ераклин.

— Что печатаете?—спросил Увадьев, подходя к столику.

— А вот Степан-анимыч просил спешно ведомость на жалованье!—Это и был бухгалтер с коровьим голосом.—Сколько фунтов табаку искурили! Прямо одурь берет...

Она подняла к нему круглые свои, из скуки сделанные глаза и улыбнулась сладко, точно подарила пяточковую шоколадку.

— Да, дымно...—Он все не уходил.—Вы из местных, кажется?

— Нет, я из Вятки, а у меня сестра тут, учительница в Шонохе. Красивое село, только из-за медведей страшно...

— Ага, это очень интересно...—глухо протянул Увадьев.

Он смотрел сверху на ее короткую белую шею, на дешевенькие коралловые бусы, на простенькое кружево рубашки, торчавшее из-под блузки, и бровь его подымалась все выше и выше: выходило, будто никогда прежде не видал в такой близости этого светлого пушка на женском затылке. В руках родилось непонятное беспокойство; чтоб побороть его, он взял папиросу из лежавших рядом с потрепанной сумочкой и закурил. Сразу—словно ломом ударили по шее; теплый дурман пополз по жилам, и что-то размягченно улыбнулось в нем внезапной пустоте. Теперь уже не было страха, что папироса произведет огромный дым и все догадаются, что Увадьев сдался. Машинистка снова усмехнулась, и на этот раз ее усмешка не показалась ему такой противной, как минуту раньше. Он протянул руку и медлительно погладил пушистые завитки на ее затылке. Лицо его было безразлично и даже исполнено хозяйственной деловитости, точно пробовал на ощупь качество целлюлозного волокна.

— Меня зовут Зоя,—очень тихо сказала машинистка, замедляя работу.

— Стукайте, стукайте... Я не мешаю?

Она шумно передвинула каретку:

— Да нет, что же... ведь пальцы-то у меня свободны!.. вы такой нелюдимый.

— Нет, я людимый,—без улыбки возразил он, и ему было, будто заставляли жевать помянутую шоколадку. Табачный яд, вливаясь в привычные русла, застлал сознание.—Вы тут и живете?

— Я же сказала... я с сестрой, в Шонохе. Как ручей перейдете, там с голубыми наличниками дом. Сестры никогда дома не бывает... нагрузки всякие.

— Красивое село,—невыпадал согласился Увадьев, и тут мысль его вильнула в сторону:—слушайте, вы финики любите? Ну, ягоды такие, на пальмах. Мне приятель из Туркестана прислал третьего дня.

— Это от них зубы болят?

— Вот-вот... приходите есть финики,—сам не зная зачем, предложил он.

Она с готовностью подняла голову:

— ...сейчас?

— Нет, финики не к спеху. Достукаете и приходите... к шести.

Домой он пошел кружной дорогой; хотелось побыть на воздухе и немного раскислить настроение. Он шел мимо, и все ему не нравилось. Рядом со срубом, где предполагалось поместить рабочий универмаг, стояла уже изготовленная вывеска; в луже пестро отражались вывороченные буркалы букв. «Поганая мода завелась, всякое дело начинать с вывесок!»—хмуро заключил он. Дома для административно-технического персонала только размечались; Увадьев вспомнил надоедливый санитарный врач, который еженедельно требовал расширения рабочих бараков, вспомнил погибавшего в грязях Ераклина и подумав, что проложить дощатое подобие тротуара, без которого легко обходились до непогодного этого месяца, следует еще прежде, чем приступят к баракам. На все нужен был лес, много леса, того самого, который теперь по чужим поймам иступленно раскидывала Соть.

...нужен был лес. На полузакрытой платформе в железном забытии валялись разные части крупных машин, которые частично уже начали поступать на строительство. Тут были всякие медные колленчатые шеи, хваткие стальные руки, готовые взяться за маховики, чугунные пищеводы, нужные, чтоб питать водой еще неродившегося гиганта. Иные части его сидели в сквозных ящиках и покорно ждали срока своего воссоединенья. В этот пасмурный день металлу было холодно; наверно, ему мерещилось тысячелетнее клубенье земных глубин и тягучий зной домны, откуда его вытащили в зноб и ненастье сотинского вечера. На дома для них нужен был лес, уйма лесу... Он ходил целый час и устал больше от раздражения, чем от ходьбы по невылазному этому месиву. Вдруг кто-то взял его за руку.

— А я вас уж давно жду!—жаловалась Зоя.

— ...да, финики!—с досадой вспомнил он и не знал, что ему дальше делать с машинисткой. «Заставлю ее докладную записку перестукивать; через час сама убежит...»—с облегчением придумал он. Зоя молчала и ногтем, высунувшимся из нитяной перчатки, чертила по стене какие-то узоры, а потом обводила пальцем сучки в бревнах, пока он несоразмерно долго отпирал дверь. Они вошли в ту чистую половину избы, которую называют горницей. Увадьев зажег лампу и задернул занавеску; тотчас же другое окно оказалось тоже задернутым. Если бы он своевременно заметил ее помощь, наверно, еще раньше произошло бы то, что так смешно и нелепо случилось полчаса позже.

— Вы распаковывайтесь... сейчас мы их и достанем, финики. Они в корзинке, я их от мышей пересыпал!.. а потом будем перестукивать доклад.

Зоя лукаво улыбалась:

— А мне тут нравится,—говорила она, осматривая грязноватые стены избы.—Очень так просто. Только клопа, наверно, много. Знаете, они ужасно [можевельника не любят, вы попробуйте стружек под простыни насыпать!.. Хотите я вам абажур на лампу сделаю? Давайте скорей бумагу и ножницы!

— У меня нет ножниц.

— Ну, хоть маленькие, для ногтей... все равно.

— А я ногти просто ножом. Нет, слушайте, не надо абажура, не люблю этого, темноты! Пускай все будет ясно...

Получалось, что он как-будто даже растерялся перед катастрофической быстротой, с которой подвигались события. Вот-вот, всегда так начинается. И она не верит, что доклад...»—соображал он, вываливая финики кучей на лоскут бумаги. Унылая мысль текла до чрезвычайности туго; он понимал одно—это враг. Пока Зоя сперва с изумлением, а потом и с жаром пожирала финики, он украдкой рассмотрел ее. Была она молода и, несмотря на морковный румянец, миловидна, хотя и коротковата, как почти вся северная женская порода. Кроме того, она была далека от всяких высоких затей, все ей было несложно, и оттого мир был нетребователен к ней. Тараторя про себя и сестру, она вдруг ужаснулась на свою прожорливость и нерешительно положила обратно на стол надкушенный финик.

— А вы... почему не едите?

— Я ел. Я их по ночам ем. Встану и ем.

— А молчите почему?

— Да я все слушаю, очень интересно,—успокоил Увадьев, кусая губы.

— Хотите, я сбегаю за Веркой? У нее гитара. Она поет, очень мило. То-есть подруга поет! Очень симпатичная...

— Нет, уж без подруги... я не люблю симпатичных.

Она неумело погрозила ему пальчиком и со вздохом доела финик:

— Вы страшно-страшно хитрый. А это верно, будто станут сокращать штаты? Верка ужасно боится, что ее сократят... У нее отец городской был, но ведь [он помер, а они даже все карточки его сожгли!

Сосредоточась на своем, он не дослышал ее вопроса, а она уже забыла: теперь груда фиников почти не уменьшалась. Вдруг он поднялся:

— Вы, значит, посидите, а я позвоню, чтоб прислали пишущую машинку... У меня телефон в той половине. Вы ешьте, ешьте!

— Вы ужасно хитрый...—сказала она ему вслед.

Он вышел в комнату, где стоял его рабочий стол, и вызвонил Сузанну; она подошла сразу.

— ...нигде не могу отыскать. У вас нет Бурого?

— Кто говорит? А, Увадьев!.. нет, и не было.

Она замолчала, а он все не клал трубки назад.

— Что вы делаете сейчас, Сузанна?

— В данную минуту?—она смеялась его любопытству.—Наливаю хромовой смеси чистить химическую посуду.

Еще прошла одна минута очень нерешительного молчания.

— Я выписал вам этих, как их?.. покровных стеклышек.

— Отлично, микроскоп мой благодарит вас! Вы что-нибудь еще хотите мне сказать, Иван Абрамыч?

— Да... — ему очень хотелось курить в этом месте разговора.— Вы... извините за нелепый вопрос!.. вы ничего не замечали за мной в последний месяц?

— По-моему, у вас болели зубы. Угадала?

— Не совсем.

— Нет, правда, вы всегда такой рассудочный, сосредоточенный в себе... Однажды вы мне напомнили Печорина,—помните у Лермонтова? Но только другого века и класса... вы даже ходите и руками не размахиваете, как и он: по той же скрытности. Вы читали Лермонтова?

— Прочту.

Она прекратила разговор, а он все сидел у стола, крепко сжимая трубку, точно то и была рука Сузанны. Табурет поскрипывал в такт его дыханию. На столе тикали карманные часы; они напомнили—через полчаса начиналось заседание у Потемкина. Кто-то громко чихнул; это была телефонистка, которой любопытно было даже самое молчание Увадьева.

— У вас насморк, товарищ, вы можете потерять работу!—негромко сказал Увадьев и, сунув часы в карман, пошел к гостю.

Дверь он раскрывал медленно, в надежде, что Зоя не дождалась и ушла; он ошибся, и вот бровь его сурово и гневно поехала куда-то на висок. Освещенная лампой, машинистка сидела голая, на ней оставались только бусы. Пеговатые ее волосы прямыми косичками ложились на плечи. Ей было, повидимому, очень холодно, по коже плеча явственно проступали пупырышки. На бумаге от фиников осталась только горстка. Зоя робко улыбнулась, и это была ее единственная одежда.

— ...я сюрприз вам,—сказала она виновато и ждала.

Увадьевское лицо перекошилось и стало походить на кулак:

— Вон... падина, вон! — и сам не слышал своего голоса.

Потом он сел на лавку и тупо глядел куда-то в обратную сторону; осунувшееся лицо его стало точно после сыпного тифа. Гостья торопливо и неуклюже одевалась, все задевая вокруг себя; от испуга она даже забыла, что в таких случаях полезно плакать. Вещи отказывались служить ей: туфля не влезала на ногу, а блузка поползла по шву. Вдруг Увадьевское внимание привлек какой-то шелестящий звук, он неторопливо оглянулся. Из раскрытой сумочки, которую Зоя схватила впопыхах, сыпались на пол украденные финики.

— ...это для сестры... для сестры!—шептала она, вся дрожа.

Увадьев молча вырвал сумку из ее рук и доверху набил финиками из своего запаса; они липли к его рукам, а он вколачивал их в сумку с ожесточением брезгливости.

— Кланяйтесь вашей сестре!—крикнул он, расправляя слипшиеся пальцы.

— Зачем вы сердитесь... ведь все так!—только на пороге зарыдала она.

6

План мобилизации населения так и не удался. Упрежденные кем-то во-время мужики еще с вечера принялись раз'езжаться по гостям. Пронька с Мокроносовым бегали по дворам уговаривать, чтоб не покидали строительства в эту опаснейшую для него минуту, но у тех свои имелись доводы. Кругом начиналось пированье; в Шуше праздновали Казанскую, а в Ньюгине пятнадцатое июля месяца—примечательный день, в который горели семь лет назад, а в Ильюшенском просто так, по случаю ненастья, собрались проплясать свое горе кумовья да сватовья. Судя по запасам, какие грузились на подводы, гостеванье предполагалось долгое.

Кое-где, однако, бранью и угрозами, молодежи удалось удержать отцов от бегства, но на сход явились лишь юнцы да безлошадные вдовы. Все же Фаворов, как представитель Сотьстроая, стал говорить и говорил неплохо о многих высоких вещах, а кончилось тем, что какая-то клыкастая старуха, не ведьма—так родственница! так и полезла на оратора:

— Эй, господин, запрягай нас... садись да постегивай! А и подохнем—мало убыли...

Мокроносов хмуро выступил вперед и спросил куда ехать; и еще не успел Фаворов добраться назад к Увадьеву, как уже обогнали его двадцать три гремучие крестьянские подводы. Да еще две волости из двенадцати приречных отозвались на Увадьевский призыв; к ним присоединился весь наличный транспорт строительства. В сущности, это и было пока все, чем возможно было залатать дыру прорыва.

Постепенно увеличивались сотьстроевские катища, но и работы находились в полном разбеге; уже через полторы недели после катастрофы стали ощущаться нехватки лесоматериалов. Соть быстро спадала; по слухам, кое-где на малых реках из-за обсыхания даже простаивали плоты, и все-таки лесные организации не соглашались обменять своего сплава на раскиданные увадьевские сокровища, которые надо еще было ловить. При общих размерах нового строительства и потребности в лесоматериалах никто, разумеется, не мог тотчас выполнить сотьстроевских заказов. Забыв себя, Увадьев носился по округе, и, как результат его метаний, работы по закладке силовой и кислотных башен почти не замедлялись. В обход законов он пускался на все пути, которыми лес мог притти на строительство, и Бураго лишь

посмеивался, наблюдая его ухищрения. Вечером однажды, зайдя к Увадьеву по делу, он застал у него старого Красильникова; несмотря на будний день, тот был в черной, глянцевого сукна поддевке, придававшей особую необычность их беседе, как-будто разговор их происходил во всесоюзном масштабе. Разговор шел покуда не о лесе.

— ...вот и не надо было плевать на меня, товарищ Иван Абрамыч. Ты меня хлеба и жилья решил, и оттого сдери я с тебя за свои труды, прямо говорю. И пограбил бы тебя глухою ночью, да руки коротки...

— Бери, но чтоб было! — говорил Увадьев, а сам все присматривался, сможет ли старый лесопромышленник помочь ему в беде или пришел только так, чтоб выместить на нем свою обиду.

Красильников оказался бессильным, и Увадьев выгнал его как-то раз на полуслове; оставались надежды только на Жеглова. Дни текли еще быстрее, чем деньги, а из канцелярии уже никогда не доносилось успокоительного бухгалтерского гоготанья. Потемкин окончательно отошел от дел и чахнул, а жена его, приехавшая по депеше, вела себя как заправская вдова. Непрочитанные газеты стопкой копились возле его кровати; в них было смутно и тревожно. Виды на урожай оставались мизерными; целых два месяца кропил советскую страну какой-то тухлый дождик. От моря к морю прокатился слух о возобновлении деятельности народного комиссариата продовольствия. На окраинах вводилось карточное распределение продуктов. Правительство издало декрет о добровольной сдаче хлебных излишков, но попутно принимались и другие срочные меры, чтоб не допустить срыва строительного плана. В народе незримые трепачи распространяли слухи, будто сорок тысяч продкомиссаров уже выехало на мужиков. В центре открылся заговор. Соседняя держава производила маневры на советской границе. В тысячах уездных окошек вспухали анекдоты о глиняном социализме. Мещанская газета поместила огромную статью: не заводите лишних запасов еды, потому что в них заводятся червячки; тут же один безвестный профессор приводил и латинскую фамилию червячка, сопровождаемую рисунком от руки. Страна скорбно готовилась к неприятности...

На окостеневшей Соти установился преждевременный покой осени. Наезжие люди рылись в кулацких погребах; из просторных бочек, врытых под гряды, извлекали гнилое и закисшее зерно. У Жеребаковых вывезли тонну, у Алявдиных полторы. Эти богатства, наполовину сгноенные в навознях, всколыхнули деревенскую общественность; выростала баррикада на Соти. Комиссия, составленная из комсомольцев и представителей налоговой инспекции, отправилась однажды утром на ручей и там, в ста шагах от Красильниковской маслобойки, нашли клад в двадцать три военных винтовки да восемь старинных берданок, а при них изрядно пуль. находка была обнаружена под крестом безыменной могилы, где закопан был Петр Березятов, бунтовщик против советов, на этом самом месте расстрелянный десять

годов назад. В чайни отыскать Березятовские кости рыли плубже и вытащили пулемет, густо смазанный свиным салом; и еще часа два рыли, но ничего боле не нашли. Тогда-то и зародилась темная молва, что ружья — это и есть кости Березятова, а пули—его кровинки. К обеду изрыли все вокруг Красильниковского владенья, целые окопы провели, но не давался в руки клад. Кстати, все тут и увидели Василья, впервые после долгого его отсутствия. Щукой выползши из низкой дверцы, он равнодушно проковылял к ручью и там, кинув голову в ручей, полежал на боку маленчко: так именно и тушат чадные головешки. От прежнего щегольства не осталось и ниточки, полрожи в легтю; в лесного зверя обращался этот человек.

А ковыляя вспять, крикнул Проньке:

— Рой, шпана, рой!... всеё земли не перероешь.

Брать его пока было незачем, а сперва дознавались, кто еще уцелел от Березятовского племени. Языки показали на скит; там-де все дядья покойного, понакрылись скуфейками, молят богов о советской гибели. Решено было нагрянуть и в скит, и только за поздним временем отложили экспедицию до утра, а тем временем сбежал Филофей, задержанный накануне за свое откровенное злоязычие. Лукинич, под охраной которого состоял арестованный, путано раз'яснил, будто ворвались ночью трое, рожи платками обвязаны, взяли ключи силой и, посадив монаха на коня, умчались в направлении Лопского Погоста. Виссарион, который оказался свидетелем, подтверждал, будто слышал ночной скок и видел самого Лукинича, с воплем мчавшегося за всадниками; следы похитителей замыло дождем. Так дело и замолкло, а в газеты проскочило лишь известие о найденном оружии.

Опасаясь, чтоб кто-нибудь не предупредил скитчан о завтрашнем нашествии, Пронька до ночи сидел на берегу и наблюдал за рекою; в случае заварушки, ему первому плыть бы по Соти с пробитой головою. В бинокль, который он таинственно выпросил у Фаворова, видно было — блуждали на мысу огоньки меж деревьев, а за ними тени, и потом много людей пронесли, сутулясь, длинное подобие носилок и скрылись за углом приземистого строенья. Тогда-то и овладело им искушение переплыть реку и взглянуть поближе на эту непостижимую суетню; уж он и пояс расстегнул, но тут подошла Катя, сестра, и, окрикнув, присела рядом.

— Чего рыщешь?

— Проня, сердце щемит!

— Намажь иодом, пройдет.

— Ты б поговорил с жильцом-то нашим! Что ему во мне! за ним и барышня побежит.

— Ты про Виссариона? Ну, наплюй на него.

— Да он нравится мне!

— А тогда живи с ним.

— Да боязно!

— О, тогда отступи в срок...

Она надула губы и отвернулась:

— Брат... чужому и карман настежь, а своему и совет с оглядкой!
Иди ужинать.

Уходя, он еще раз приложил бинокль к глазам, но там, на мысу, уже серела как бы осенняя пустота.

Догадки его пришлось впустую; скитчанам нечего стало прятать теперь. В эту ночь умер Евсевий, и смерть его была последней точкой в длинной и витиеватой книге скитского существования. Он начал умирать десятки лет назад и умирал по частям; за ногами окончились руки, потом, подобные октябрьской листве, стали отпадать чувства, и тогда братия решила посхимить его перед отходом из жизни. Темный и страшный обряд прижизненного погребения совершали как раз в тот час, когда Пронька усиленно протирал стекла Фаворовского бинокля. Надевали наспех кукуль беззлобия, из-под которого уже не смел выглянуть в мир; опоясывали подмышками аналавом, и Кир, не умея нашить белые знаки схимы, собственноручно начертил на кукуле адамову голову, а на плечах летящих серафимов. Евсевий лежал, откинув голову набок; глаза его были полузкаркаты, а волосатое лицо исказила бессильная тоска; в последнее время единственной ему пищей была вода. Может быть, он понимал значение завершительного насилия, которому его подвергали старики, такие же бездомные в жизни, как он сам.

Его перенесли в трапезную и там ждали конца. Смерть никого не удивила бы, и Аза часто зевал, одолеваемый дремотой. Все устали ждать, а старец все жил; ему дали новое имя, непонятное живым, как магическое слово, — смрадил и жил. Тогда Кир пошептался с братом Ксенофонтом, и тотчас Ксенофонт принес с окна книгу, огромную и недружественную, как нежилой дом.

— Жития и страдания старцев соловецких благослови, отче, процести... — возгласил он гнусаво и наклонил коптящую лампочку над страницей, источенной жучком. Это было Денисовское сказание о первом соловецком разгроме, о Никоне и воеводах его; Ксенофонт читал его чуть сонливо и нараспев. Кир не зря выбрал именно это место летописи, способное укрепить решимость братии на будущее время. Подобные летучим мышам, порхали во мраке угасшие, истертые слова.

«...повеле призвати Никанора, иже от трудов стояния молитвенных ходить не можаше, но на малых саночках послании взявше привезоша. Он же воевода и раб царишкин, образа иноческа не утравився, ниже седин столетных, тростию бияше блаженна по главе, по плещам, хрепту, устам, яко и зубы от уст изби...»

Свет еле пробивался сквозь закопченное стекло; чтец косился на Евсевия, боровшегося с демонами смерти, и потом, впустую шевеля губами, суетливо искал пальцем утерянную строку.

«...хотяше в пепел забытия обратити, повеле из караула иноки и бельцы, числом яко до шестидесяти, привести и, различно испытав, казни различно уготова. Овых завеща повесити за ноги и ребра, каж-

ного на своем крюке, а овых под мечь клали и напятеро разымали, а юродивых в пустой бане огнем пожгли, кнутьем изби, вервием подавиша, а иным, на скамью посадя, языка резали дважды и трижды, а иного за конем влачили, яко непогребенново мертвеца, а инии главопосечени быша.»

Ворочался Евсей, и меловая отметина с кукуля осыпалась. Вдруг Кир поднялся с игуменовского места, и следом встали все, шатаясь от усталости: рассветало. Евсей поднялся, точно перед смертью хотел бежать из этого горького людского мрака; он распахнул свои дремучие ресницы, потому что не верил в тишину, его об'явшую.

— Нету бога! — крикнул он голосом, хрустким, точно сломали щепочку, и упал навзничь, и все хотели бежать отсюда, и только один Кир, подойдя к нему, поцеловал его в мертвые уста.

Все молчали, и вдруг всем стало легче; самым существованием своим Евсей тиранил братию, и, когда распалась последняя связь, тут стояли лишь нищие да будущие бродяги, уже не соединенные ничем.

... Вассиан имел тетрадку, в которую без затей и выводов записывал все, что потрясало его незамысловатый разум. Там было:

«Лотос, символ отшельников, а у нас не растут».

«Фараон Аменготеп за десять лет царствования убил сто восемь львов».

«Уродился кочан в тринадцать фунтов, вонючий».

«Румыния об'явила ультиматум большевикам».

«Кричали сороки, не дали спать».

«Умер Евсей, тако и все мы исцелимся от жизни сея».

Запись эта помещалась в самом конце страницы; больше записывать стало негде да и не о чем.

(Продолжение следует)

Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение¹)

ГЛАВА ПЯТАЯ

Гидрострой

1

Только к самому вечеру подошел опоздавший поезд к станции. Никто приезжих не ждал, и мосье Влипьяну пришлось раз десять забежать, крутя головой, к начальнику станции, припугнуть телеграфиста крепко составленной, но тут же назад отобранной телеграммой, горячо поговорить с молчаливыми молоканами,— а писатель, устало морщась, сидел в это время, раскинув плед на коленях, в грязном станционном помещении и тоскливо думал о несварении желудка, нарушенном режиме и необходимости пить слабительное.

Не дожидаясь и не расспрашивая, рыжий между тем шел по Чигдымскому шоссе вверх, делая вкусные и чудовищно-большие шаги. Он забирал пространство ногами, как легкие зигзаги мяча берут его под собою, отмечая точки касанья упругими взлетами. Кентаврическое наслаждение движеньем, словно едешь сам на себе, как на лошади, было одним из приятнейших для Арно Арэвьяна. Не видя людей, он не стыдился быть нежным. Его губы сложились в смешную и умильную гримасу. Маленькие глаза под разбитыми стеклами сияли нежной и сочувственной радостью: «Звездинька,—думал он, нелепо и чувствительно сокращая слово, вскинув разбитые стекла очков кверху,—милая, миленькая...»

Вечер сиял тысячью звезд в небе, контуры гор стали отчетливы, воздух налилсЯ глубокими ночными запахами, пахло вокруг все, что днем неощутимо для пешехода, накрытое дорожной пылью,—гниль в овраге, грибки на древесной коре и самая эта кора, но гуще и слаще всех пахла земля органическими испарениями, сотней частиц, разминаемых под ногами и ютящихся между крепкими песчинками, подобно капелькам меду между твердыми стенками воска. Все это знал и любил рыжий, чувствовал с благодарностью, потому что он был одинок

¹) См. «Новый Мир», кн. кн 1 и 2 с. г.

и неразделенное наслаждение природой получил в дар вместе с одиночеством.

Впрочем, уже на втором повороте одиночество его стало условным. Мертвых дорог не бывает, и Чигдымское шоссе жило в этот час своей жизнью. Тихие копыта волов ступали из темноты— жестом, каким ходишь, шутя, на руках — осторожною пятерней пальцев; их головы мотались темными пятнами из-под ярма. Тонкий силуэт кнута, стоямя воткнутого в сено, возникал вдруг на зеленоватом небе. Кучер спал, уткнувшись лицом вниз, дыхание его, ночной сон человека, входило в глубину ночной симфонии, как необходимый ее спутник. Еще сильнее вставал сон над круглыми темными кучами обозов, припертых к горному откосу; неподвижность их наливалась высоким смыслом покоя, оглобли были закинута на козла; ярмо уткнулось в землю, колеса осели, припертые щебнем; распряженные волы спали в позе египетских сфинксов или жевали тихонько, прислонясь к кустарнику. Шел мимо неожиданный человек, не разглядеть было, кто и какой он. Близость его в этом ночном мраке воспринялась рыжим физиологически,—как, не видя и не глядя, чувствует собака собаку. Доверяя больше ногам, чем глазам, Арэвьян уверенно сокращал дорогу и догнал, уже беря последний под'ем на вершину каньона, чигдымскую наемную линейку. Тройка сытых лошадей везла ее, позванивая бубенцами; над пассажирами, в тесноте сидевшими спина к спине, болтался высокий балдахин «крытого верха», и кучер кричал «нно!» таким резким, крикливым голосом, что даже ночь вокруг перестала пахнуть.

Среди пассажиров была и Марджик, закутанная в кашне, с прижатыми к бокам локтями. Рыжий видел на станции, как она озабоченно переговаривалась с молодым парнем во френче и как понес парень куда-то ее вещи, а сама она легкими шагами, спеша за ним, переходила мостик. Он выступил из темноты и поднял руку.

— Место есть?

— А куда тебе?

— До Гидростроя.

— Садись.

Линейка была полна, но рыжий прыгнул на подножку, подняв над головой свой сверточек, и, не дожидаясь ворчанья пассажиров, ловко втиснулся между девушкой и невидимым человеком в брезенте. Марджик, пуская его, приняла руку, и теперь он сидел с ней бок-о-бок, занеся руку над плечом ее, в неудобной и напряженной позе. Ему хотелось, чтоб она признала его и заговорила первая. Но Марджик молчала. Между тем человек в брезенте сделал попытку зашевелиться. Он высунул из капюшона голову. Он-то уж во всяком случае признал рыжего, признал бы среди миллиона людей.

В темноте его усилия заговорить оставались незаметными, но возня локтей раздражила соседей. Этот парень был худ, брезент его выпачкан бензином, руки непропорционально велики для туловища.

Если б дать свет, по некоторым другим признакам,—копоти в носу, черным ногтям, воспаленной глазной сетчатке и обветренности кожи на скулах,—опытный человек угадал бы в нем шофера или автомеханика.

— Я извиняюсь...

Классически-неграмотное слово потухло, как плохо зажженная спичка.

— Послушай, придержи локти,—заворчал сзади толстый чигдымский гражданин.—Ты не один едешь.

— Я извиняюсь, вот они должны меня помнить. На бирже третьего дня... они речь произнесли.

Марджик вспомнила тотчас же слова своей тетки о смешном рыжем человеке на бирже. Она внимательней взглянула на соседа и встретила блеск его разбитых очков. Обращаясь к толстому гражданину, человек в брезенте между тем продолжал:

— Хорошо они про машину сказали. Шофер я... Эх, едем вот на трех лошадиных силах, сидим боком, а была бы машина да руль в руке...

...Прерывая его, сверкнули из темноты два ярких глаза автомобиля. С петушином ревом прошла мимо эластичной, бесшумной, лакированной крысой, вильнув кузовом, пустая машина; это за писателем послали из Гидростроя на станцию.

— А был бы руль в руке...—Он продолжал говорить, раздражая соседей. Усилие слушать мешало ночной тяжести их тел, мешало покою, дергало слух. Но каждому лень было сказать «замолчите». Беспокойный шофер сообщил о безработице, смерти жены, непорядках на бирже, чигдымском тесте, о различных системах автомобиля, о службе в России.

— Вы тоже на Гидрострой?—тихонько спросил рыжий соседку. Та наклонила голову.

— Жену вот забыть не могу,—упорствовал человек в брезенте.— Еду, гляжу на звезды, ночь хороша, и думаю про себя: где она, где жена моя, есть ли что на том свете или правду говорят большевики: религия—дурман. Трудно, очень трудно потерять близкого человека. Скажите мне,—продолжал он, настойчиво поворачиваясь к рыжему,—как по-вашему, есть личное бессмертие или полное исчезновение, был человек и пропал человек?

Рыжий ответил:

— Разве непременно нужно личное бессмертие, чтоб не пропал человек?

Спины ехавших сзади шевельнулись,—им стало интересно слушать.

— И в каком возрасте должен он получить это бессмертие? По моему, если уж представлять себе вечность, так в виде...

— Ну?

Рыжий помедлил немного, он задумался. !

— Бессмертие, это—всеобъемлющая память,—сказал он,—кто-то или что-то, материя или форма, должны все держать, все помнить, что было и будет. Если все держится, ничто не уходит. Вот так именно при жизни можно стать бессмертным. Надо помнить себя, всего себя, как постороннее, как форму.

Но рыжего не поняли на линейке, и человек в брезенте, вздохнув, стал смотреть на звезды.

Линейка остановилась. Извозчик слез и, подойдя к нагруженному кузову, молча отвязал багаж.

Марджик расплачивалась, и рыжий нащупал в кармане монетку. Им предстояло идти с полверсты вниз, вещи Марджик он связал и перекинул через плечо.

Девушка же взяла его сверточек. Без любопытства и не бунтуя принимала она это совместное путешествие, и пальцы ее равнодушно лежали на свертке, не прощупывая сквозь бумагу, что везет странный рыжий человек в пакетике. Он легко понес тяжелые саквояжи, ступая за нею большим и сильным телом. Он молчал, чувствуя молчанье ее, как обязательство. Он только раз, когда она оступилась, быстро и крепко взял ее под руку и тотчас выпустил, почувствовав неприятное одиночество этой равнодушной и неохотно отданной руки. Так они шли, все ускоряя шаги, почти бежали на белый огонь городка. Первый барак наплыл на них квадратиками освещенных окон. Тогда девушка остановилась и взяла свои вещи.

— Вы сказали про память. Но память проклятая вещь, проклятая,—внезапно произнесла она, подняв глаза на внимательные стекла спутника.—Ну, прощайте теперь. Сюда я только на сутки,—больше, может быть, и не увидимся. Благодарю вас.

2

Первый строительный участок расположился в три яруса по косогору. В самом низу, где шумела речка Мизинка, работала сейчас третья смена, и оттуда шел яркий свет; повыше темною тенью стояли бараки, плохо пригнанные, слабо освещенные; красноватые лампочки здесь часто выкручивались, вызывая грозную ругань коменданта. Заглянув в окно, вы могли бы увидеть полутемные углы общежития, койки с грязным тряпьем, свернутым в трубку, черную копоть стен, полы, где грязь стоит стоймя, как шерсть на собаке, железную печку с обугленным поленом и возле—недосушенный сапог или обмотку. Здесь жили сезонники, их холостяцкий быт пахнул недоеденным куском ячменной лепешки, блошиною пылью пола, куриной следью,—тощая курица заходила сюда со двора, вертя головой, и оставляла курица больше, чем подбирала.

Ярусом выше были бараки семейных, тут жили мастера, механик, монтер, партийная и профсоюзная интеллигенция. На окнах висели занавесочки, тюлевые гардины. Приподнятый край их открывал кар-

тинку жилья, устроенного прочно. Сюда свезли из города железные кровати, тюфяки и ореховые стулья. На стенах висели шитые крестиками дорожки, и чистая бумага украшала полки, где ярко блестели сковороды и кастрюли. Семейная кровать с обилием подушек и пестрым стеганным одеялом выдавала простейшую правду жизни; и еще не спали дети, возившиеся, приподнимая голые задки, на полу и лежанках. Здесь уже был некоторый устой, перед баракком остро-пропитанная земля стеклела в помоях,—утром была стирка,—влажно болтались в воздухе опустошенные веревки. В одном из окон мелькнула голова человека, читавшего книгу. Он двигал губами, два бледных сероватых уха малокровно топырились под ладонями, державшими голову. Глаза человека опущены, черная с подпушиной борода, когда вбирал человек передними зубами в рот нижнюю губу, покусывая ее, вставала дыбком, волосок к волоску, на круглой впадинке подбородка. Нервно дернулись желваки,—это он почувствовал на себе взгляд рыжего через окно,—впрочем, рыжий был уже далеко, он шел наверх, описав ровный полукруг вдоль всего косогора. И когда вернулся наверх, к той самой линии баракков, с которой начал свой пробег по участку,—рыжий очутился в верхнем ярусе, где находились конторы, домик начальника участка, клуб, жилье высших технических служащих. Здесь он обдернул на бедрах свою «амазонку», поправил очки на носу и двинулся в контору.

Начальник участка, Левон Давыдович, сидел за стеклянной дверью, лицом к окну, спиной к двери. Спина Левона Давыдовича была выразительней его сухого, шукой вытянутого книзу лица. По спине угадывался путеец, спина имела выправку. Плечи полого спускались вниз, шея ловко двигалась в чистом крахмальном воротничке, и только дергавшаяся под тужуркой ключица выдавала нервозность Левона Давыдовича. Собачий день выдался сегодня. Утром он поругался с месткомом. В обед грузовик привез из Чигдыма необыкновенную женщину с ветхим клеенчатым портфельчиком—народного судью. Вечером предстояло праздновать в клубе восьмое марта, слушать в тысячный раз слова о кухарке, присутствовать на суде над проворовавшимся рабочим, терять время, терять время,—и вот сейчас, сию минуту ожидал он вдобавок европейского гостя, о котором возвестил телефон со станции.

В эту неподходящую минуту для представленья за спиной Левона Давыдовича кашлянул кудреватый с проседью мужчина в черной кавказской рубашке, с ремешком вокруг талии, начканц Захар Петрович. Он держал за руку рыжего.

— Нет, это ваше дело, подчеркиваю—ваше личное дело,—Левон Давыдович почти вскочил со стула. В другое время он сказал бы совершенно иное и прежде всего разглядел бы странного служащего. Но сейчас он думал о скандальном поведении месткома в конторе, о дерзостях, выслушанных в присутствии рабочих:

— Я не уполномочивал вас, Захар Петрович, на такой рискованный способ приглашенья служащих! У нас каждый день неприятности,

вы сами слышали. Согласуйте, если хотите, с месткомом. Но имейте в виду,—я ничепо не слышал, не знаю, не принимал. Нет, нет, оставьте разговор до согласования с надлежащими органами!

Он схватил фуражку. И только сейчас встретился с веселым взглядом рыжего. Этот взгляд поразил его высокой интеллигентностью, странным и почти добродушным превосходством.

— Разумеется, архивариус нам нужен...—вырвалось у него против воли. Но тут же, досадуя на себя, начальник участка вышел.

Десятком огней светились вокруг бараки, сноп белого пламени стоял над руслом Мизинки, весенний воздух был чист, но Левон Давыдович злился. Крепким сердитым шагом промаршировал он вдоль конторы и, чтоб сократить путь, решил итти через соседний барак, где жили конторские служащие. Тут, однако же, раздраженье его усилилось. В коридоре барака все было загажено: ослежен пол, забрызганные красные трубки огнетушителей, гнилая кадка в углу полна мусору, жестяной рукомойник пуст, а в переполненной шайке под ним несчетное количество папирос. Левон Давыдович не знал, что запустенье здесь было преднамеренным. Барачные дамы бастовали вторую неделю. Вот уже десять дней ни одна из них не мела коридора, не выливала шайки, не выносила мусора. Причина крылась в комнате № 4, где жил начканц с женою Клавдией Ивановной.

От'езды Клавдии Ивановны взваливали на соседок все тяжкие повинности коммунального характера. И мети и мой, пока ходит и сорит окурками чужой мужчина, не сват, не брат, грязными сапогами по общему коридору, побрякивая кавказским пояском на черной шерстяной рубашке и никогда не отвечая на поклоны или вежливые «здравствуйте». А присутствие Клавочки,—да, уж если говорить о присутствии! Каждая имела тут мужа, сына или зятя. Тайный крик о близкой опасности, тайное женское чутье, холодившее позвоночник, возвещали соседкам приближение Клавдии Ивановны, шелест юбки ее, пахнувшей валерьянкой и китайским чаем, топот туфель ее, сношенных сбоку, взлеты волос ее, медных на солнце, сдобный и рассыпчатый голосок ее, умевший заговорить, кого хочешь, а уж смеха Клавдии Ивановны не переносила ни одна женщина в бараке. И не работала Клавдия Ивановна ни для себя, ни для мужа, белье собирая по местам скомканным где-нибудь за корзинкой или же шкафом, чайные чашки ополаскивала водою из рукомойника, забывая их вытереть, обед брала из столовой или возьмет горшок мацуна и ест с мужем из крынки, сыпля в нее сахарного песку нерасчетливо,—социальная угроза бараку была в поведении, во вкусах, во внешности Клавдии Ивановны, и если брился муж или сын перед зеркальцем, да не шел утром в отхожее место, а спускался куда-нибудь вниз, под незаметный пригочек,—значит теплый ветер весны проносился по коридору, теплое безумие опархивало огнетушителей рваными шарфиками Клавдии Ивановны, значит,—пожаловала она сама из города на участок.

Такое же глухое чувство угрозы испытывала «первая дама» участка, жена Левона Давыдовича, «мадам», как звал ее муж, говоря о ней с кем-нибудь третьим. Левон Давыдович долго работал в Бельгии, и жена его была бельгийка. «Мадам» была старше мужа, в волосах ее, собранных под шелковую сетку, проступала седина. Она жила в двух комнатах, где прохладно блестел фарфор на полках, мерцало серебро, сине-белый отлив полотняных салфеточек говорил о добротности фламандской ткани. С двух темных картин на стене дышали влажные языки лягавых, застигнутых художником на охоте, над пойманной дичью,—Левон Давыдович был охотник, он собирал охотничьи картины и старинные кавказские патронташи. В обед стол накрывался так, как нигде нынче: хрустальные подставочки, три сорта ножей и вилок, лиловый датский фарфор на белоснежном полотне скатерти, множество графинов и тарелочек, чье назначение постороннему оставалось тайной. Вошедший гость в предвкушении блюда приятно провел бы полчаса за разглядываньем сервировки. И гость был бы жестоко обманут. Весь Гидрострой знал бельгийскую кухню «мадам». Ее безжизненные супы вошли в поговорку. Вареная курица с запахом розы и лаванды, одинокая на блюде, в окружении пяти-шести твердых и непроваренных картофелин, пугала воображение инженеров и техников, изредка приглашаемых на обед. Скупость царила здесь, хлеб резался бумажными ломтиками, крошки собирались в жестянку на пуддинг.!

Придерживая тонким пальцем с рубиновым перстнем занавеску, мадам глядела с сухою и ревнивою горечью в окно на мужа,—он вышел только что из соседнего барака.

— Мари,—сказал Левон Давыдович, появляясь в дверях,— вот тебе новость. Приехал немецкий писатель, настоящий, знаменитость. Его надо принять как можно приличней. Займись этим. И кстати... скажи ты, пожалуйста, кому-нибудь в соседнем бараке, чтоб убрали грязь. Это невыносимо, я штрафовать буду.

Он повысил голос до тонкого визга, потому что заметил кривую, многозначительную улыбку мадам и знал ее смысл, так же точно как полную для себя невозможность пускаться в опроверженья; знал он также и свойство своего характера,—длитель неприятные минуты, почти наслаждаясь их гибельным действием. И сейчас, вместо того, чтоб уйти, он несколько раз повторил «штрафовать», потом сел в столовой, явно мешая жене и мучительно желая ее реплик, ссоры, неприятностей, чего-нибудь, что поставило бы, наконец, точку над всеми несчастьями сегодняшнего дня.

3

— Ну!—сказал начканц, как только инженер вышел.—Ну и ну! Пиковый валет,—придется нам с вами идти к местному.

Он с величайшим огорченьем оглядел контору. Архив, только что привезенный сюда из города, в совершенном беспорядке валялся

на полу. Бумажки, не вшитые в дело, перемешались и кашей ползли с полок, оседая под тяжестью брошенных сверху папок. Конверты с вырезанными кем-то марками, зияя дырами, кой-как перевязанные бечевой, кирпичами стояли вдоль стен. Пыль лежала густыми пятнами, снятая лишь сомнительным пожатием чьего-то сапога.

— Вот извольте видеть, — на вас вся надежда была! Во-первых, два языка, во-вторых, добрая воля. Поищите-ка человека на ваш оклад. А теперь я вам прямо скажу, — ничего не выйдет. Знаю я местком.

— А вы, Захар Петрович, сходите все-таки, — посоветовал конторщик Володя, предвидя неприятную нагрузку, — ревизия будет, — достанется и вам и месткому. И без того в конторе чихают, как на табачной фабрике, а я, заранее вам говорю, я этих бумаг, просите не просите...

— Молчи! — оборвал начканц. Он хотел выругаться, но тут заметил выразительный взгляд рыжего. Рыжий глядел на бумаги и, чёрт побери, как он глядел на них. Библиотечный маньяк мог бы глядеть так на партию старых переводных романов, где совершаются убийства, сыщик бродит по страницам, замедляя развязку, он и она ненавидят друг друга, чтоб истомить читателя, словом, где есть все специи для вкусной приправы серенькой и обыкновенной жизни. Не довольствуясь взглядом, рыжий вдруг подошел к пачке конвертов и взял ее, как берут покупку. Положив на стол, он развязал веревку и стал перебирать конверты, разглядывая их, приподымая к очкам и смахивая с каждого пыль. Ловкие пальцы вытаскивали бумажку, она легко и приятно разворачивалась, — от конверта к конверту шла длинная повесть.

— Знаете что? — сказал рыжий, встретив прищуренные глаза начканца. — Будь только возможность, я бы вам это даром разобрал. Захватывающее чтение. Но сейчас, если так надо, идемте к месткому.

Когда оба они вышли и в конторе стало сонно и тихо, Володя нерешительно выбрался из-за стола, где он вяло полировал себе длинный, грязноватый ноготь на мизинце. Володя считался красавчиком, крупнейшая шевелюра низко свисала на лоб, рогами испанского мериноса закручиваясь над приятными глазками; Володя носил френч и комнату свою украсил портретами киноактрис. Он подошел к пачке с конвертами и любопытно взглянул на первый. Потом, почесываясь, вынул листок и прочитал его.

— Ерунда, — сказал себе Володя, бросая листок поверх конверта, — фокусничает, цену набивает. Ерунда, — повторил он почти обиженно. И все-таки, возвращаясь к столу и полировку ногтя, неприязненно, навязчиво, с каким-то беспокойством он продолжал думать о зажегшемся взгляде рыжего и о словах его. Что же могло быть интересного в переписке насчет пятидесяти бочек цемента?

Между тем во втором ярусе начканц и рыжий ходили от барака к бараку, ища местком, и, наконец, узнали, что он пьет чай в соседней палате, у завскладом Косаренки.

— Своя компания, — просвещал по дороге начканц, впрочем, очень тихо и оглядываясь, не слышит ли кто. Здесь два мира делились, им предстоял спуск за вражеский кордон. Наверху, в конторе, каждый из этого чуждого мира имел свою кличку и с каждым велась политика. Месткома Агабека звали в конторе вредным. Секретаря ячейки, наоборот, снабдили наклейкой «безвредный», а в разговоре с приезжими прибавляли еще: «секретарь у нас подготовленный». Завскладом Косаренко, русский, презрительно именовался «охотнорядцем», хотя он был партиец и бывший моряк. Еще один выдвигенец, Степанос, получил прозвище «дьячок».

Все четверо, они сидели сейчас в душевной комнате Косаренки, где пахло русским, — от тамбовских перин, от чая, от пара, от смазных сапог и разморенной на печи гречихи. За столом, кроме них, были гости: Марджик и необыкновенная женщина с клеенчатым портфельчиком — чигдымский народный судья. Женщина была худощава, длинные глаза косили чуть-чуть, горбатый нос, тонкий и смуглый, говорил о характере и делал профиль ее похожим на арабскую лошадку. Очень широкая в бедрах, она сидела красивой позой женщины, которая никогда не думает, как ей держать себя и куда деть ноги. В этой счастливой и очень редкой у женщин особенности чувствовать свои ноги, как руки — двумя добрыми друзьями, — было что-то мужское и независимое. Марджик поместилась возле нее, облокотясь на стол и, несмотря на свои мужские сапожки, пыльно упершиися в подножку стола, казалась женственней, нежели элегантная и слегка надушенная соседка.

Они говорили о предстоящем суде, перед смуглой женщиной лежал блокнотик, исписанный мелким, тончайшим бисером армянской вязи. Карандаш она держала наготове, как револьвер, — стук в дверь заставил ее вскинуть раскосые глаза на входящих. Появление начканца и рыжего было необычайно, и в ту же минуту в комнате все замолчали, даже дети Косаренки прекратили возню.

Прежде чем заговорить, начканц отдышался. Рыжий использовал передышку по-своему: он внимательно обвел стеклами всех, кто сидел за столом. Степаноса, или по-конторскому «дьячка», он уже видел: два бледных уха были ему знакомы по голове в окне, читавшей книгу. У Степаноса было доброе, плоское, сероватое лицо с бескровным большим ртом, густо обросшим бородкой. Ходил он в длинной одежде, руки держал преимущественно на бровях или бороде, голос у него был приятнейший, без хрипоты. На участке Степанос заведывал клубом и ежемесячно составлял сам, размножаясь на десяток подписей и меняя шрифты, обстоятельный номер стеной газеты под названием «Луйс»¹⁾. Косаренко был красен от шести стаканов чаю, а белые ресницы и брови, мукой посыпанные на лицо, еще сильнее оттеняли его красноту. Кожа у Косаренки казалась выеденной от множества круп-

¹⁾ Свет.

ных желтых веснушек. Расстегнув ворот, он сидел перед клеенкой, мокрой и облепленной кусочками хлеба, держа на коленях такого же красного и беловолосого, такого же размороженного от духоты и пара голенького сына Ванятку. Секретарь ячейки, по прозвищу «безвредный», допивал свой стакан, мало тяготясь вошедшими. Рыжий мельком оглядел его чистенький френч, яркие желтые штиблеты, значок в петельке, густейшие черные брови толщиной в два пальца и остановил глаза на последнем из сидевших—месткоме Агабеке.

Местком Агабек был горбун. Он привстал навстречу вошедшим. Его руки, лежавшие на столе, были несмываемо черны еще с той поры, когда Агабек был кожевником и мял вонючую кожу. И еще была неприятная привычка у Агабека постоянно болтать ногою под стулом, как-будто нога заведена у него или хочет Агабек в уборную. Зелеными глазами горбун недоверчиво уставился на начканца.

— Мы к вам по делу, товарищ Агабек, — проговорил начканц деловым голосом, — такое пиковое дело, — архив в конторе видели? Я три дня мотался, не мог найти архивариуса, одного биржа дала — умер, другого взял — вот он самый, разрешите согласовать, провести и все такое прочее как можно скорейчко! А то наедет ревизия, а грамотному человеку с этими бумагами...

Не успел он закончить фразы, как неожиданно вмешалась Марджик:

— Вот, Степанос, вам и помошник! Вот и конферансье на вашем дивертисменте! Это отлично, что вы зашли, товарищ.

Рыжий благодарно улыбнулся ей: Марджана оказывала ему, сама не подозревая, огромнейшую услугу. Агабек нервно заколотил ногою под столом, — вопрос разрешался, в сущности; он не нашел, что сказать сейчас, — включение нового человека в штат казалось солидным и всеобщим делом, о котором начканц поднял голос, только и всего. Именно так почувствовал положение и Захар Петрович. Он придумал хитрейший ход, каким умная женщина подкидывает мужчине чужого ребенка.

— Так вы с ими, товарищ, приканчивайте скорейчко, а у меня дело ждет.

И, подмигнув рыжему, он пошел было к двери, потом обернулся, сделал поистине вдохновенное лицо и выбросил козырь, покрыть который не нашлось бы ни у кого из присутствующих:

— А насчет жалованья, друг любезный, чество прошу, не жалуйтесь и товарищу Агабеку лишних забот не сочиняйте, — контора, заранее говорю, больше не даст. Кого хотите, спросите, — тарифная ставка, они вот сами в колдоговоре выработали.

Он даже руками развел, — дескать, навязываете людей, так уж и отвечайте!

Чувство меры не позволило ему, однако же, насладиться плодами своей политики. Он тотчас же вышел, прихлопнув дверь, и только на воздухе позволил себе триумфальную улыбочку. Не даром уважали начканца Захара Петровича, не даром ценили его в правлении, и сам

начальник участка советовался с ним в тугих обстоятельствах. Щуря свои карабахские глаза, он круто вышагивал по косогору, и серебряные наконечники кавказского пояса бормотали у него по бокам: талей-ран, та-лей-ран.

4

Секретарь ячейки аккуратно допил свой чай, встал с места, подтянув френч книзу, и очень густым голосом, таким же, как его брови, сказал в высшей степени некстати:

— Ну, пока.

Марджана с изумлением посмотрела на него. Они еще не договорились, как лучше начать собрание, с чего—суда или же митинга.

Станный человек! Сидел весь вечер молча, пил чай в накладку, а как пришло время подать голос,—вот тебе и подал голос. Она видела блеск его начищенных желтых штиблет, когда он шагнул к вешалке, чтоб снять нарядную клетчатую келку. Лишь только вышел секретарь (почти тотчас же за начканцем),—молчанье разрешилось вослед отсутствующему. Это была благодарная тема. Жест, каким придвинул Косаренко рыжему освободившуюся табуретку, был тоже хороший жест, и рыжий сел, принимая обстоятельства себе на пользу, но, впрочем, ничуть не лукавя и не ведя политики. Ему попросту было хорошо, он согревался от мартовской стужи, присутствие Марджаны казалось прочным, а главное, один человек заинтересовал его, крепко и всерьез заинтересовал,—Агабек.

— Надо полагать, некогда, — сказал Косаренко. — Переодеться, должно быть, к вечеру.

— Разве уж такой франт у вас секретарь?—спросила судья мелодичнейшим голосом.

— Секретарь у нас аккуратный парнишка, — продолжал Косаренко,—зайдите к нему как-нибудь. Стенки сплошь позавешены, щеток сколько хотите—для зубов, для костюма, для шевелюры, для желтых штиблет, для черных штиблет, я ему советую: женись, а он отвечает: «беспорядок разводить, что ли?»

Но Степанос вступился за секретаря. Манера обсуждать за спиной ему не нравилась, а тут еще присутствует чужой человек. И чем плох секретарь? Прежнего сняли за неопытность, а этот в Москве на курсах учился, литературу выписывает, у него полное собрание Ленина в переплете, зайдешь—журнал на столе, отчеты со съездов..

— Подготовленный, одним словом,—опять вставил Косаренко, и совершенно нельзя было понять, ирония в словах Косаренки или честный, всеми разделяемый трафарет.

— Будет,—вдруг негромко проговорил Агабек. Сразу все замолчали за столом. Смеющееся лицо судьи стало серьезно. Косаренко кивнул жене, Акулине Ивановне, и та приняла от него Ванятку.

— Вот, товарищ, об чем речь,—продолжал Агабек, повернувшись к рыжему,—женский день сегодня, программа выработана уже с не-

делю, но только приходится ее расширить. На участке у нас случилась покража.

Как только он произнес эту фразу, за столом стало интересно, и раздробленное вниманье стянулось.

— На участке случилась покража. Совершил ее рабочий. Сомневаться тут не приходится, вор пойман с поличным.

— Кадровый рабочий?

— Сезонник, из крестьян.

— На половинных началах,—пояснил Степанос, но вопросительные очки рыжего остались недоумевающими. Рыжий не знал, что это за штука «на половинных началах». Рыжий ждал точного пояснения, он перебил разговор требовательной паузой. И тотчас же в каждом из сидящих за столом вспыхнул интерес к вещи, которую нужно было объяснить рыжему.

— Замечательное явление это «на половинных началах»,—сказала судья, блестя раскосыми глазами. Не так давно она исписала мелкою вязью целую страницу блокнота по этому поводу.

— На половинных началах,—проговорил Степанос,—живут бедняки в Армении, наш Лорийский уезд в этом отношении один из первых. Предположим, у вас есть кусочек земли и нет скота, нет инвентаря. Богатый сосед берет вашу землю, он обрабатывает ее, засекает, жнет и дает вам за землю половину урожая. Это и называют «на половинных началах».

— Обратите вниманье!—вмешалась судья. Глаза ее блестели, опадая к вискам, она необыкновенно похорошела. Каждый интеллектуальный подьем красил ее так, как других красит чувство. Еще недавно, записывая его в блокнотик, судья наслаждалась оригинальностью вывода:

— Какой изворот происходит в крестьянском хозяйстве! По-нашему это бедняк, но, в сущности... да, в сущности, ведь он не бедняк, а рантье, мелкий собственник во французском духе.

— Ну, закатали.

— Я вам говорю, мелкий земельный собственник! У него недвижимость, он получает с нее доход, а сам ничего не делает, сам большей частью идет на приработок в город, имеет тридцать-пятьдесят рублей в месяц. Почему я должна считать его бедняком? Почему он не помещик? Нет, погодите, погодите, ваши возраженья мне лучше вас известны, я хочу, чтоб вы поняли мою мысль,—он имеет чистый доход с находящейся где-то там недвижимости, ему каждый год аккуратно поступают мешки пшеницы или ячменя, точь-в-точь как помещику... Какая же это крестьянская жизнь?

— Чорт знает, что за ерунду ты несешь, Арусяк!—недовольно вмешалась Марджана. Судья была старой ее приятельницей. Свойства капризного ума судьи были известны Марджане. Она знала, что подруга ее очень мало дорожит тем, что можно назвать целью мысли, конечной установкой ее. Но дороги мысли, всякие, кидающиеся в гла-

за, привлекали ее неудержимой потребностью бега, как тысячи тропинок, неизвестно куда ведущих. Ступать на эти дороги, на все, сколько их ни попадется, было сильнейшею страстью Арусаяк. От того, может быть, тихая и замкнутая Марджана немедленно вывешивала на них аншлаги. Она говорила подруге: ерунда, чушь, фантазия, хотя многое из того, что придумывала Арусаяк, не было ни ерундой, ни чушью, ни фантазией.

Степанос следил за спором двух женщин снисходительно. Охотнее всего он для каждой из них извлек бы по доказательству и поднес с чувством, с каким угощают спорщиков из собственной коробки папиросами. Они были для него прежде всего женщинами; даже «барышнями» звал их мысленно Степанос, с неистребимым для армянина снисхождением к женщине, хотя и своей партийке. Раскладывая по столу большие, плоские сероватые руки, принятые только-что от разглаженной бороды, учительским тоном намеревался Степанос дорисовать им карикатуру бедняцкого хозяйства. Но тут вмешался Агабек, совершенно игнорируя женщин и Степаноса. Зеленые глаза его смотрели на рыжего: :

— Так вот, приехала судья из Чигдыма, и нам требуется провести в один вечер суд, митингу и концерт. Об этом тут и было говорено, когда вы пришли. Товарищам трудно приходится, а я полагаю—соединить это можно. Но вопрос в том, как соединить?

— Я не могу делать суд зрелищем и отодвигать его в концертное отделение!—тотчас же подала реплику судья.

— Тебе не следовало звать меня и выдумывать мой доклад,—тихо сказала Марджик,—прекрасно можно было обойтись без него.

— Одним словом, каждый другому помеха,—резюмировал Степанос,—кроме того, неудобно как-то,—на что именно звать рабочих? Больше четырех часов они сидеть не станут, и то от силы. На концертное же отделение каждый пойдет, но и тут у меня заминка. До вашего прихода я говорил ребятам, что необходимо убрать нашего конферансье.

— А кто у вас конферансье?

— Володя, конторщик, — сказал Косаренко, — есть такой, с шевелюрой,—он сделал волнообразный жест пальцами со лба к носу, и рыжий тотчас вспомнил унылого меринуса в конторе.

— Тип этот неподходящ. Попробуйте вместо его, сможете?

Но рыжий не сразу ответил, потому что он серьезно обдумывал дело. Свесив добродушный нос, сидел рыжий молча, потом вдруг выпрямился, почти даже со стула вскочил.

— Ведь я сказал, что он придумает, — произнесла Марджана с тихим удовольствием,—слушайте, слушайте!

Рыжий бросил ей взгляд. Потом повернулся к Агабеку.

— Объявите общее собрание, — сказал рыжий, — чтоб соединить две-три вещи, необходимо взять четвертую. Во-первых, общее собрание и без того необходимо,—на участке сейчас немец, писатель.

Надо немцу показать рабочую общественность. На общем собрании поставьте вопрос о воре. Можно так: со стороны общественного урока, что ли, первое воровство, тревожный факт, несознательность рабочего, ворующего у себя, в своем хозяйстве,—дадите зарядку в залу, пусть это будет переходом к суду. Выборы из залы—обвинитель, защитник, свидетели по желанию. После суда—речь о празднике, о приедем госте на празднике, несколько слов по-немецки, есть немцы рабочие?

— Латыш-мастер есть, он по-немецки говорит.

— Валяйте латыша-мастера. За ним ваш доклад, товарищ... товарищ...

Рыжий вопросительно поглядел на Марджик, но девушка уже и не слушала его; подперев голову, она думала о чем-то, опустив ласточкой красивые бровки.

— Марджана,—подсказала судья, поймав взгляд рыжего.

— Товарищ Марджана. После доклада—концерт.

— Ишь ты,—сказал Косаренко,—вы, видать, вывезете. Годится он в конференщики, Агабек, годится, а?

Не стал Агабек болтать по пустякам. Вынув черными крепкими пальцами часы из кармана, поглядел на часы, сверил—идут ли, и так, еще с часиками возле уха, кончил голосом твердым, не поддающимся на дешевые чувства:

— Айда, Степанос, об'являй общее собрание. Иди ты с ним, товарищ, в клуб, готовься к программе. Гони, Косаренко, публику из комнаты!

5

Сияя любезнейшей улыбкой, «мадам» вышла встретить гостя на самое крыльцо. «Мадам» была в старом мягком шелку, шурша, падавшем до полу: моды кончились для нее днем выезда из Бельгии. В ушах ее и на пальце горели настоящие благородные рубины, окруженные мелким алмазным блеском. Сухое и породистое лицо было сейчас приветливо,—она радовалась возможности поговорить на жестком немецком языке, принять настоящего благовоспитанного человека.

Но когда немецкий писатель, тяжело дыша, поднялся на последнюю ступеньку и усы его развинулись ей навстречу, «мадам» испытала легкое разочарование. Безошибочным чутьем она поняла: «этот не из общества». Поредели нитки на швах его рыжего пальто, воротник неприятно лоснился, главное же было не в этом, а в чересчур ярком и нечистом блеске старых глаз, окруженных мешочками, и запахе табаку, несомненно третьесортного, и пуговице, подшитой недавно и неаккуратно. Улыбка ее убавилась, как убавляют огня в керосинке. И писатель, привыкший в России к самоуважению и некоторой хлестаковщине, здесь засутулился вдруг, словно попал на родину. Неприятно усмехаясь, он поцеловал руку хозяйке и боком шагнул за ней в двери.

Положение спас Левон Давыдович, мало понимавший в тонкостях. Он пригласил к чаю старого глуховатого инженера, состоявшего у него в помощниках. Инженер напряженно прислушивался, держа ладонь горсточкой возле правого уха. Густые, красивые шторы плотно закрыли окна, свет падал сверху неровными пучками, оттененный пестрой бахромой абажура. На скатерть легли кудрявые тени.

Мадам раскладывала варенье на блюдца, тихо позванивая ложечкой, чай пахнул густо и крепко, писатель водил вопросительно глазами, не зная, каким тоном надлежит здесь вести беседу. Влипьян отсутствовал. Пригласить его Левон Давыдович попросту позабыл.

— Мы сами недавно из Европы,—начал хозяин,—многое мне тут непонятно, многое пошло назад. Да, да, именно назад. Года за три до войны Россия начала богатеть и расти технически: Она пыталась трестировать, синдикализировать, гналась за новшествами. Я работал тогда в Бельгии. Этот процесс был замечен из-за границы. Сейчас мы брошены лет на тридцать назад, есть что-то балканское, грубое, мелко-нахрапистое во всем этом, как война босиком, именно по-балкански, по-черногорски.

— Ну, вы чересчур резки,—добродушно ответил писатель. Он вспомнил вагонный разговор.—Новые общественные формы даром не достаются.

— Ах, новые общественные формы! Уверяю вас, Европа делает вид, что верит всем этим вывескам. Но мы тут не можем верить. Не вижу я этих новых форм, — от них я бежал 15 лет назад в Бельгию, та же полная неразбериха, кого слушаться, вечная боязнь окрика, и кричит первый, у кого есть глотка, первый попавшийся. Одни стараются угодить больше, чем от них требуется, другой прикидывается лицом значительным, важней, чем он есть,—как в торговле, в работе, в ремесле—утруска, усыпка, передача или недохват, недovesок, ни в чем, понимаете, ни в чем, нигде, никакой меры...

Старый инженер, откашливаясь, вступил в разговор:

— Я всегда утверждал, что инженер во время работ есть хирург...

— Ах, Александр Александрович, сейчас речь не о том,—наклонилась к нему хозяйка. Но он не услышал ее.

— ...Есть именно хирург с ножом в руках. Не говорите хирургу о жалости к человеку, когда он должен резать. Не говорите инженеру о жалости к рабочим, когда от него требуется строить!

Гастрольная фраза была окончена, и старик замолчал. Легкая и унылая скука определилась на лицах. Писатель слышал здесь почти дословно свои собственные рассуждения,—что-то, однако же, запротестовало в нем. Там, в вагоне, он сознавал себя глашатаем истины, здесь... но, быть может, навязчивый взгляд хозяйки на его шевелюре, да, не совсем хорошо поседевшей шевелюре, следы дешевой парикмахерской краски; ее понимающий взгляд,—далась дамочке пуговица!

Unglaublich¹⁾), однако, несомненно, мадам вздрагивает ноздрями, как швейцарский полицейский, у которого спрашиваете вы название стеля... «С абсентом или без абсента?» Чорт возьми, какое вам дело, пьющий вы или нет? Ну да, он выпивал у себя на родине, горькие минуты, когда вас травят, одиночество, неблагообразие бедности, платите хорошие деньги—кто станет пить дешевую дрянь? дальше, дальше от прошлого, но взгляд толкает его в грудь, в лицо, в голову, толкает назад, за пройденную черту. Он тяжело поднимается с места...

Общество, то самое общество, которое извергло его, вышвырнуло на берлинские улицы, виноват, — попросту не приняло, держало перед входною дверью и словечко «дома нет»,—общество сидело сейчас перед ним, сияя сухою породой тонких черточек, блестя алмазною россыпью на скрещенных пальцах, вздымая из бруссельских кружев змеиную худобу шеи и проницая его змеиным взглядом. Не *vornehm*,—ага, не *vornehm*.

— Я хочу здесь говорить русская речь!—взволнованно произнес писатель, чувствуя дрожь всего своего старого тела. — Великая, свободная, универзальная русская речь. На мне, на мне... на меня странно кажется, как вы сидите тут и говорить тут мелкий чужой слова. Вы говорить Балкан,—о, это позор говорить Балкан, имея быть сын великой страны, великого универзального дела. Нет, мое сердце слаб, волнение ядовит меня, я покидай общество...

Он совершенно не был готов к тому, что случилось. Он признавал,—это истерика. Но уже отступать было невозможно, и мельком, в преувеличенном забытии, он различил искаженное ужасом лицо глуховатого инженера, каменный лик «мадам», чайный стол... Театрально приподняв руку к сердцу, писатель склонил голову и вышел в переднюю. Молча стоял Левон Давыдович, держа в руках пальто его. Писатель несколько раз попадал руками в подкладку, он уже страдал, он ждал помощи, чтоб разрешить экзальтацию во что-нибудь обыденное и спасти положение. Однако же, Левон Давыдович ему не помог. Он раскрыл дверь, принял писателя под руку и свел по ступеням.

Клуб ярко сиял огнями,—там готовились к общему собранию. И в полном безмолвии Левон Давыдович повел писателя в клуб, чтоб сдать его мосье Влипьяну.

Александр Александрович, одеваясь,—он тоже не стал пить чай,—белыми губами шептал мадам, что из этого может выйти скандал и что писатель — советский агент:

— Возьмут под наблюденье, корреспонденцию просмотрят, захотят придраться, — тысячи способов... Я старый человек, смерти не боюсь...

Но, говоря это, старый человек опадал в своем стареньком пальто, и холеные усы путейца мокрели от ужаса. Когда Левон Давыдович вернулся к себе, столовая была уже пуста, посуда перемыта, серви-

¹⁾ Невероятно.

ровка убрана, весь этот конфуз большого дня, неудачный наряд, исчез по шкафам и ящикам, чтоб холодно померкнуть в старой клеенчатой скатерти, оставшейся на квадратном столе. Мадам притушила свет, оставив гореть лишь одну лампочку, как делалось у них на ночь. Полуоткрытая дверь мерцала голубым светом,—там, на большой заграничной кровати голубые, шелка одеял вставали полярными глыбами, и белый медведь, распластав все четыре лапы, лежал внизу ковриком.

— Мари!—сказал муж.

— Все это глупости, Леон, глупости, не расстраивайтесь. Хотите, я вам скажу причину? Старый бродяга понял, что я его раскусила. Уверю вас, он не комильфо. Этот прязный человек на жалованьи у большевиков. Александр Александрович тоже так думает.

— Ах, не говори мне про Александра Александровича!

— Но, милый друг, у меня есть глаза. Он красился, как актер, и эти мешки, эти зубы — обратили вы вниманье на его зубы?

Хрустя пальцами, Левон Давыдович ходил по комнате. При чем тут зубы? Боже ты мой, при чем тут зубы,—все-таки из Европы приехал человек, месяц, два месяца, полгода назад он видел здоровую и культурную жизнь, мог рассказать, что есть нового, Берлин строится теперь, как новорожденный, все эти подробности, ах, все эти подробности! Почему одному человеку не поделиться с другим, при чем тут зубы, чорт возьми!

Тихой тенью, все еще стройная, старомодная в длинной юбке, мадам прошла перед ним, стараясь коснуться его спиной. Тихий и острый свет сиял в зрачках ее, красивых в эту минуту. Она знала,—минута была ее. И Левон Давыдович остановил ее так, перед собой, привлекая слегка эту сухую и негибкую спину. Он заговорил уже совсем неубежденно, в затылок ее:

— С утра, понимаешь, с утра все эти бесчисленные раздраженья, человек, естественно, устает... Я, может быть, наговорил лишнего, но надо же понять, войти в положенье. Нет, стой так, одну минуту. Я не могу итти в клуб в этом состояньи. Александр Александрович дурак.

Мари стояла, чувствуя руку мужа на талии, и потом сделала шаг к спальне, крепко держа эту руку. Так она вела его за собой, не слыш-ком поспешно, потому что каждая женщина знает своего мужчину.

(Продолжение следует)

Р о с а

Рассказ

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

I

По утрам в августе 19-го года к санчасти армии, занимавшей полуразрушенный дом и оранжерею бывшего городского садоводства, подавали телегу прививочному отряду.

Ровно в восемь докторша АнВана и санитарка Ивова трогались в путь. Дорога пролегла полями, деревнями, молчаливыми и неприветливыми. Не раньше полдня прививочный отряд добирался к месту назначения.

Во дворе церкви уже толпились заинтересованные, оживленные красноармейцы. Пока докторша сосредоточенно надевала халат и засучивала рукава, санитарка расставляла банки с иодом и ватой. Красноармейцы подходили «колоться» один за другим, сняв гимнастерки.

Валентина видела только спины, худые с выпуклыми лопатками, будто сложенными крыльями, толстые в жировых, бегемотьих складках, гладкие с четким орнаментом крепких мышц, прыщавые, угрястые, с отважно опущенными плечами, хитро и трусливо сжатые, лицемерно вогнутые, фатовато выпрямленные. Спины, к которым она прикасалась иодистым тампоном, постепенно заменили ей лица, внушая то симпатию, то брезгливость, то равнодушие. АнВана, мастерски прокалывавшая неподатливую, тугую человеческую кожу, никакого выражения в спинах не видела и обзывала Валентину фантазеркой.

Лишь под вечер, с трудом превозмогая истомную, здоровую усталость, отряд возвращался в Дождин.

Валентина, размахивая ранцем, в котором позванивали склянки и бутылочки — орудия производства, — не слушая окриков докторши АнВаны: «осторожно, разобьешь холеру», забегала в соседний с санчастью двор.

Там, возле сарая, превращенного в сыпнотифозный барак, росли георгины цвета спелой дыни. Желтые цветы, как куски нерастаявшего масла, прилипали к шалашу, коричневому и пузырячтому, точно

горсть гречневой крупы. Когда-то в шалаш складывали яблоки, теперь мертвецов.

В сентябре, во время отступления штаба 3 Южной армии в Мельск, прививочный отряд расформировали.

Валентина поступила письмоводительницей в Политотдел. Дела и бумаги подставляли ей свои мертвые спины. Она клеймила их номерами исходящих и входящих. Большая книга в клетчатом, как старческий платок, переплете, над которой письмоводительница проводила день, казалась ей священной. Новая работа доставила Валентине заботы и страдания. Гнетущи были сновидения. То она путала номера отношений, то забывала проставить число, месяц либо штемпель. Зародилась в Ивовой и зависть к завканцу Петрову, бывшему волостному писарю, обладателю редко разборчивого, бессмысленного почерка. Но наибольшим испытанием стали, однако, ночные дежурства в безлюдном поарме.

В Мельске Политотдел расположился в княжеском особняке, великолепном здании времен Екатерины. В высокой сумрачной комнате с узкими прорезами окон, с кой-где выбитыми цветными итальянскими стеклами, занятой канцелярией, валялся хлам двух столетий. В углу лежали останки резного венецианского шкафа, 150-летней деревянной мумии.

По стенам висели громоздкие портреты важных сановников в пунцовых и васильковых кафтанах с бриллиантовыми пуговицами, генералов в аксельбантах, полуобнаженных дам в диадемах на взбитых прическах. Кто-то неведомый, избрав их мишенью, прострелил ордена и броши, целясь в сердце, ослепил безошибочно, пробив нарисованные глаза.

В ночи дежурств Ивова пыталась мобилизовать все незначительное свое имущество. Керосиновая лампа до рассвета освещала едва ли один угол канцелярии, и «ремингтоны» на овальных столах барокко казались черными надгробьями. Всю ночь она боролась с холодом, поддерживая огонь в камине. Если нехватало заготовленных с вечера шишек, щепок и мебельного хлама, приходилось топить книгами. Роскошные фолианты Марка Аврелия, Гомера, Цицерона, Петрарки, карамзинская «История Государства Российского» и 12 томов французской энциклопедии давали, впрочем, не много тепла.

Ютясь на некогда обтянутом кожей (кожу содрали на штаны) стуле, Валентина часами принуждала себя не оборачиваться в темноту, где, казалось, притаилась опасность. Страшили непрекращавшиеся разнообразные звуки: трещали стены, где-то обваливалась штукатурка, вздыхая и крихтя, высыхалась мебель. Отгоняя боязнь, Валентина пыталась грезить о желанном грядущем подвиге. Мечты ее не были разнообразны: в бою обязательно погибали командир и комиссар, красноармейцы разбегались, Валентина, полковая сестра милосердия, хватала знамя, выпавшее из рук сраженного пулей знаменосца, и

с криком: «Товарищи, умрем за мировую революцию!»—бросалась в атаку. Враг тотчас же бежал.

Нередко в разгар воинственных полугаллюцинаций Ивова замечала перед собой пару гипнотизирующих стальных крысиных глаз. Начиналась мучительная пытка. Звонки телефонного ящика да заспанный курьер с экстренным пакетом спасали, как рассвет.

Не всегда, однако, дежурный по поарму бывал одинок во всем дворце. Во втором этаже находилось нередко еще одно человеческое существо — завагитотдел Красный.

У товарища Семена были всегда унылые глаза, глубокие, темные. Ни оживление, ни смех не могли стереть выражения тоски. Глаза и чашотку Семен унаследовал от отца, глухонемого хасида из города Седлец.

Туберкулезная энергия, породившая необычайную работоспособность, доставила Красному много врагов. Они объявили его карьеристом и честолюбцем. Не довольствуясь дневными часами, Семен нередко оставался в поарме на ночь. Никто не догадывался о тех сладостных ощущениях, которые постигал завагитотдел один-на-один со своими творениями: бесчисленными инструкциями, приказами, руководящими статьями. Зная по памяти всех до единого политработников района N-ской армии, артистов передвижных коллективов, рекомендованные Москвой агиткнижки, пьесы, брошюры, Семен чувствовал превосходство великого полководца. Он вел с помощью чернил и бланков наступление своей мощной армии, смещал и назначал заведующих клубами, руководителей кружков, перебрасывал актеров, утверждал репертуар, выносил благодарность либо порицание, организовывал снабжение, отпускал литературу, шахматы, плакаты — клубам; грим, парики, реквизированное тряпье — театрам; учебники, карандаши, тетради — политшколам.

С трех часов ночи пробуждение неба мешало работе Семена. В 4—5 часов утра он подмечал признаки заговора, явной контрреволюции в себе самом. Память объявляла саботаж, буквы ложились на рельсы — полоски бумаги, как взрывчатые вещества, угрожая словам, мысли падали под откос и разбивались в щепы, в голове отдавались канонада и взрывы. Семен отчаянно боролся, громко восклицал всегда одну и ту же фразу: «Чорт, как слаб человек!» — и, собрав негибкими от усталости руками недописанные инструкции, читая наизусть «Башню» Гастева, отправлялся в кабинет начпоарма. Там находился заманчивый диван в красных крапинках живых и раздавленных клопов. Лежа, Семен ежился, мерз, кашлял, даже стонал. Засыпая, завагитотдел думал о том месте, которое уготовлено и ему в бессмертной истории.

— Великие дела, великие люди, — шептал он.

Однажды, когда Валентина во время дежурства дремала, свернувшись калачиком на столе подле телефона, Семен вошел в канцелярию. В этот день Красный уже с часу ночи ощутил невозможность

продолжать работу. Усталая голова опустела, как русло ручья, ушедшего в землю, и только одна назойливая паническая мысль, будто танк, без дорог, вне плана, все взрыхляя, сверлила мозг. Красный страдал.

Точно так же, как завагитотдел доверял Валентине для нумерации и рассылки то, что было смыслом его жизни, — грозные разъяснения, громыжающие инструкции и приказы, — доверил он ей свое личное горе.

Причиной его страданий была инструктор агитотдела Лидия Шестович. В лице ее замечательны были редко мигающие, как у совы, малоподвижные глаза и птичий нос, загнутый к губам, горбатый. Держалась Лидия со всеми вежливо и надменно. На собраниях всегда выступала толково, но многословно и скучно, все с тем же еле подчеркнутым превосходством. Красный охотно подчинялся Шестович во всем, оправдываясь тем, что боится взрывов ее гнева.

Однажды в коридоре, приподнимаясь на носки (при этом волосы его оказались на уровне Лидино носа), Семен заговорил с ней о любви:

— Интеллектуально мы равны, но это неважно, э-э-э.

— Скорее,—сказала Шестович.

— Ты отличная женщина, почему бы нам не удовлетворить друг друга, э-э-э. Я тебя люблю.

Лидия равнодушно смотрела совиными глазами:

— В армии, товарищ Семен, не до любви, все мои помыслы сосредоточены на нашей победе. У меня, например, в Москве есть муж, ответственный член партии, но я, право, не нахожу возможным даже переписываться с ним, когда революции угрожает опасность.

Лидия открыла портфель, достала газетный снимок членов ЦИК'а последнего созыва и показала Красному:

— Один из этих товарищей мой муж. — Потом добавила бездумно и резко: — Ты мне не противен, Семен, но личная жизнь на фронте позволительна только обывателю. Кстати, как ты относишься к партизанским методам борьбы?..

Спустя две недели, во время отступления из Мельска, Лидия сблизилась с Семеном. Переезды в сентябре, когда природа беспокойно чувственна, когда в раздвинутые дверки проникают небо и степи, а поезд движется настолько медленно, что легко соскочить за цветами и травой, способствуют сближению. Хоровые песни, возбужденные споры, шумная возня с варкой убогой пищи на долгих стоянках, общность волнений и радостей 20—25 человеческих существ, об'единенных, как спички, одной коробкой-теплушкой, — отличный фон, по которому тклет несложный узор чувственность. Смерть — фронт недалеко. Санлетучка, в окна которой видна кровь, незабываемые гримасы раненых, судороги агонизирующих, обессиленность тифозных, трескучие эшелоны, груженные людьми, орудиями, напоминают о воинственных схватках и трагическом разрушении.

Красный плохо спал по ночам, темнота оттачивала мысли, вдохновляла. Чахотка и бездействие породили в нем эротическую жажду. На третью ночь переезда полил дождь, обстреливавший, будто пулемет, крышу вагона.

Лидия шепнула:

— Ты замерз, Сеня, ляг под мое одеяло.

На рассвете она сказала деловито:

— Семен, дай слово коммуниста, что происшедшее между нами не получит огласки, не стану объяснять причин, но требую гарантию тайны.

С тех пор Красный почувствовал себя несчастным.

— Почему она меня стесняется? — спрашивал он Валентину и тут же отвечал: — Считает это слабостью, постыдной уступкой полу и тем не менее обойтись без меня не может, зовет, но всегда тайно, лицемерно.

До рассвета Семен бегал из угла в угол обширной канцелярии. Прощаясь утром, он долго жал Валентине руку:

— Спасибо, вы чуткий человек, Валя, и очень мне помогли, успокоили. Конечно, Лидия права, все, что я переживаю, недостойно большевика, но, черт, как слаб человек.

Семен так и не заметил того, что за всю ночь Валентина не вымолвила ни одного слова.

II

Интерес, пробудившийся в Валентине к Адольфу Талге, объяснялся попросту чувством благодарности. В 14—15 лет всякое, в особенности мужское, внимание поражает, льстит и тревожит восприимчивое девичье воображение. С той самой минуты, как Талге в течение целого вечера настойчиво рассматривал серыми, одноцветными, точно булыжник, глазами еще не сформировавшееся, по-детски пухлое лицо Валентины, она почувствовала себя обязанной влюбиться. Вслед за этим окружающее приобрело для Ивовой необычайную значительность. Она тотчас же постаралась запомнить число — 10 сентября 1919 г. — как знать, не будет ли это датой начала ее первого «настоящего» романа. Театр «Красный Воин», за кулисами которого они находились, показался Валентине вполне достойным местом романтической завязки.

Навсегда запомнились ей одутловатый баритон, прижимавший патетически руки к животу во время пения «Я вам не расскажу про тайные страдания», девида, похожая на кенгуру острой мордочкой и полным телом на тоненьких ножках и припев к частушкам:

Я лимон рвала,
Лимонад пила.

После речи Красного, начинавшейся: «Белая контрреволюция, белый Деникин, белая армия движется на нас», Валентина потеряла в толпе серые глаза Адольфа.

По прошествии недели на комсомольском собрании они встретились опять. Талге сказал Валентине, с трудом подбирая слова:

— Слышал вашу речь о комсомоле, недурненькая.

Голос у него был глуховатый, сильный, немолодой.

До полуночи после собрания они блуждали по тихому городу. Вопросы Валентины и ответы Адольфа напоминали добросовестно заполненную анкету.

Маленький клубок мыслей Талге был тщательно смотан и уложен в черепной коробке. Пытаясь смастерить фразу, с заметным трудом отыскивая конец мыслительной нити, он медленно вдевал ее в тупую иглу воображения. Зато Талге владел памятью, как совершенным стенографическим аппаратом. Прочитанное и поразившее навсегда без перестановки слов сохранялось в его мозгу, организованном, как превосходная канцелярия. Адольф почти дословно передал Ивовой речь Ильича, под влиянием которой он стал в 17-ом году большевиком.

III

В Менске Валентина поселилась в реквизированной каморке в доме баптиста Ерофеева вместе с инструктором клубного дела Калерией.

С первых дней пребывания в армии Калерия Сергеева стала для Ивовой соблазнительным образцом. Валентина попыталась подражать ее сутулящейся, нарочито тяжелой походке, раздобыла кожаную тулужурку и парусиновый портфель, но еще разительнее от этого ощутила свою досадную юность и мешающую робость...

Сергеева не замечала Ивовой.

— Бабья не люблю, сама слишком баба, — часто говаривала она, выплевывая махорку «козьей ножки».

Лишь с той поры как орготдел Линева заявил во всеуслышание, что «Ивова — славный парень», Калерия сблизилась с Валентиной.

Дом, где жили политработницы, был построен в 1840 г. слесарем Авдеем Ерофеевым, получившим неожиданно вольную от чудака-барина, жившего в чужих землях. Церковь св. Трифона не сидела тогда желтым цыпленком на холме, и в низкие окна, от земли вышиной с левой, разводимый женой Авдея, купеческой дочерью Пелагеей, видны были речка, бурое торфяное болото и лес, в осеннее ненастье подпиривший утомленное небо.

Как раз в год освящения церкви св. Трифона, заслонившей речку и поля, внук слесаря Авдея стал сектантом-евангелистом и купил фисгармонию. На полу одной из двух комнат коричневая и пухлая, как жаба, старушонка Авдотья разложила половики, вдоль стен поставила выписанные из Орла венские стулья. Раз в неделю, вот уже тридцатый год, тут собирались 12 сектантов-евангелистов.

Со времени «постоя» Ерофеевы перебрались в сарай, где, кроме них, ютились полинялый тарантас без колес, сбруя давно издохшей ло-

шаденки, тощая коза и столетний, пахнувший мертвецкой хлам.

Старая Авдотья благодаря «большевичкам» обрела, наконец, постоянное занятие. Каждый вечер залезала она в угол, срезанный фисгармонией, и погружалась в созерцание и подслушивание. В большущей видно было происходящее в соседней комнатке, узкой и низкой, как купе вагона. На одной из ничем не застланных кроватей обычно сидела Калерия в панталонах и кожаной тужурке. Перед ней на ящике, заменявшем стол, горела искривленная, как нога Фахитика, облепленная стеариновыми бородавками свеча. Калерия накаляла на огне щипцы для завивки волос. Когда щипцы краснели, она быстро проводила ими по разложенному на коленях пояску суконной юбки. Что-то хрустело, пахло гарью. Строгое, лицемерное, монашеское лицо Калерии, освещенное свечей, казалось хищным. Закончив сожжение, Сергеева осторожно стряхивала на стол комки вшиного теста.

— Не меньше сотни изничтожила, заедали сволочи,—говаривала она, ссыпав последнюю горсточку серой войлочной массы.

Валентина сидела в углу кровати, подле рукомошника, на котором увядал в банке из-под мясных консервов многоцветный букет осенних листьев, прозванный насмешливой Калерией «роковой неизбежностью».

— Три недели уже торчим на одном месте,—заговорила Сергеева, раскладывая на кровати шинель,—я—бродяга, не сидится, махнем, Валька, в Орел, что ли. — Калерия одела юбку и легла.

Валентина принялась мечтать вслух:

— Когда мы установим советскую власть на всем земном шаре,—она раскинула вширь руки так же, как в детстве, когда играла в «каравай»,—проезд на железных дорогах будет для всех бесплатный... путешествовать, да еще по всей коммунистической земле, вот чудо... Куда бы ты поехала первым делом, Калька?

Сергеева презрительно улынулась в ответ:

— Есть еще время подумать.

За стеной Авдотья, охая, покинула наблюдательный пост. В дверь стучались евангелисты. Вскоре глухой, воющий аккорд фисгармонии разлегался по дому. Сектанты старческими дребезжащими голосами затянули псалмы.

— Перекрыть их, что ли,—отозвалась Калерия, невидимая за густым, дерущим горло дымом махорки, и запела низким контральто: «Мы кузнецы, и друг наш молот», Валентина звонко подхватила. В ответ за стеной, пытаясь приглушить революционную песню, закричали псалмы сектанты.

IV

Накануне отъезда в командировку Калерия и Валентина зашли в «коммуну поармейцев». Красный, Адольф Талге и Линева жили на углу площади Маркса и Энгельса и улицы Шопена. В просторной горнице

помещались походная кровать и три табурета. Девять окон, прорезавших стены, щедро пропускали свет и прохладу. На подоконнике лежала гитара, многолетняя спутница Линева, и ободранный Анти-Дюринг, штудируемый Талге. Грязное полотенце, огрызок мыла и гребешок свидетельствовали о тяге обитателей к чистоплотности.

Как всегда в 9 часов, сидя на полу вокруг чугуна, коммунары ели кашу деревянными поломанными ложками. После ужина Линева разложил на полу карту Южного фронта и, хмурясь, принялся отмечать крестиками занятые белыми города и деревни. Склоненное темно-желтое лицо заворга напоминало в эту минуту старинный комод с тремя выпуклыми ящиками — лбом, носом, переходящим в скулы, и челюстями.

— Теперь-то уж разберут крестьяне, кто свои, кто чужие, — сказал сам себе Линева и поднялся с пола. Тело гиганта природа водрузила на две короткие устойчивые тумбы.

— Ребята, надо ехать на фронт, не время обретаться в тылу, — продолжал он громко. Короткопалая, узловатая рука его рванулась в широком размашистом жесте, будто Линева ударил молотом.

— Ты преувеличиваешь, Вячеслав, безопасность нашего «тыла», — отозвался обиженно Красный.

Линева не ответил и, сопя, зашагал по комнате. Орготдел не только говорил, но и молчал шумно, — полипы, звучные как ребра органа, ютились в огромном его носу.

Разговор в коммуне не клеился.

— Небо как яичница-глазунья, — сказала Валентина, примостившаяся на подоконнике.

— Яичница, яичница, яичница моя, давным-давно, давным-давно забыл я про тебя, — запел Красный и стал собираться в Политотдел на ночную работу.

В дверях Семенов сказал Валентине восторженно: — Бесспорно, Лидия меня любит.

На улице Талге поравнялся с комсомолкой:

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал он четко и спокойно, совсем так же, как говорил: — предлагаю резолюцию.

Валя встрепелась и обрадовалась, точно ей пообещали желанную игрушку, подумала: «Сейчас объяснится в любви».

Она внутренне засуетилась, испугалась, как бы не позабыть ни одного из предстоящих слов. С детства ей всегда казалось, что жизнь людей состоит из ряда дат: день рождения, начало учебного года, выдача отметок, праздники, «настоящая» любовь также включалась в этот перечень.

Адольф предложил пойти на противоположный берег речки. По дороге он пересказывал Анти-Дюринга, которого уже знал почти что наизусть. Валентина молчала, ей было отчего-то беспокойно, неловко, даже страшновато той приятнейшей разновидностью страха, которую она испытывала в раннем детстве. Случалось, отец закрывал ей глаза рукой, говоря строго: — Осторожно, нагни голову, с потолка сыплют-

ся конфеты. — Знала, что конфета ее не ударит, может быть, попадет прямо в рот, но всегда замирала и трусила.

Искали долго переправу. На противоположном берегу оказалось болото, ноги Вали неудержимо расползались и вязли. Невидимая жижа облепила ботинки. Адольф, не замечая трудных усилий девушки удержаться на ногах, пошел впереди.

— Мы знакомы уже четыре недели, — сказал он, взбираясь на скользкий бугорок.

— Четырэрэ, — хотелось передразнить его Валентине, плетущейся сзади.

— Тебе уже 15 лет.

— Без тебя знаю, — чуть по-детски не огрызнулась девочка. вдруг на секунду отчетливо понявшая, что, собственно, ни Адольф, ни «настоящая любовь» ей вовсе не нужны.

— С тех пор, как я тебя узнал, я не имел дел ни с одной женщиной, а я крепкий парень...

Валя насторожилась. «О каких делах он говорит?» — подумала она и, внезапно поняв, вздрогнула, с'ежилась. Ей пред'явили несуществующий счет к оплате.

— Завтра, может быть, я уеду в полк, умру от пули, тифа, к тому же с тех пор, как я тебя захотел, не могу работать, как раньше. — Адольф сжал Валину руку и произнес настойчиво: — Ты должна со мной сойтись... чего тебе стоит, будь женщиной.

Валя почувствовала себя необычно несчастной, одинокой. Нужно было отвечать, где-то в мозгу росла опаска: лишь бы не счел мешанкой.

— У меня нет потребности в половой жизни, Адольф, вероятно, от природы рыбий темперамент, — сказала она развязно, скрывая слезы.

— Ты жила с кем-нибудь? — прервал нетерпеливо Талге.

— Я... я, — она хотела сказать: никогда еще не целовалась, но отступила перед вероятной насмешкой или неверием.

— Еще не жила ни с кем, был у меня один пустяковый письменный романчик, писали друг другу письма... мы были однолетками, — оправдывалась девушка.

Адольф разочарованно молчал.

Внезапно Валя испугалась, что он уйдет, ничего больше не скажет, захотелось во что бы то ни стало удержать его. Предложила компромисс:

— Если ты меня любишь, Адольф, подожди немножко, ну, годика два. Нужно проверить друг друга, узнать... Кончится война, поедем в Москву учиться, когда мне исполнится 16, т. е. 17 лет (Валя прибавляла себе год), поженимся. На фронте нельзя отвлекаться любовной канителью, — бессознательно использовала она мотивировку Лидии.

Адольф неприятно засмеялся и ответил вразумляюще:

— Я взрослый, поняла? мне нужно много работать, нужна женщина, поняла? А ты девчонка.

Валя сползла с бугра на четвереньках и, с трудом волоча отяжелевшие ноги, пошла домой.

V

На следующее утро Калерия с Валентиной в санлетучке № 3 отравились в Орел. В их портфелях лежали грозные мандаты. Внушительное удостоверение, которое Валентина перечитывала многократно, вполне утешало от пережитого краха головных иллюзий, надуманных чувств.

«Тов. Ивовой разрешается также ношение и хранение как холодного, так и огнестрельного оружия. Всем учреждениям, управлениям Э. К. станций и должностным лицам предлагается оказывать тов. Ивовой активное содействие при исполнении возложенных на нее обязанностей».

Сбоку, поверх кармана кожаных брюк, одолженных Валентине Семеном, висел серый кобур с браунингом, в больших сапогах терялись маленькие ноги, а ухарская фуражка сползала на глаза.

Красноармейцы на станциях покровительственно похлопывали Валю по плечу, принимая за мальчишку, загибали козырек, разглядев, добродушно удивлялись: — Никак баба... ей-богу, баба...

Внимание окружающих принуждало комсомолку к залихватским манерам и грубоватой рисовке... Она перещеголяла Калерию в ругани и попыталась, однако, без успеха, курить.

Санлетучка № 3, недавно оборудованная и присланная из Москвы, была разительно нарядной. Калерию и Валентину даже стесняла белизна чехлов на сиденьях и сестры милосердия, такие женственные в косынках и сборчатых длинных юбках. Монотонное повизгивание колес и мягкие диваны располагали ко сну, и политработницы проспали Орел. Они проснулись, когда санлетучка подезжала к Становому Колодцу.

Станцию с вечера оставили красные.

Поезд тихо подкатил к вокзалу, похожему на разгромленный, покинутый муравейник.

— Почему так тихо, почему не слышно выстрелов? — ни к кому не обращаясь, нервно сказала Калерия, серая, как предрассветное небо.

На перроне станции валялись тифозные. Проворные санитары подбирали их, как тюки, бросали на носилки и относили в вагоны. В теплушках полки, как на складах, лежали в несколько ярусов. Бред, стоны больных, команда врача сливались с нытьем осеннего ветра. Под вокзальным колоколом, заложив руки в карманы, как посторонний наблюдатель, остановился начальник станции. Изредка он напряженно к чему-то прислушивался и поворачивался в сторону чуть видимого леса.

— Там белые, — сказала Калерия Валентине, следя за его взглядом, — нужно предупредить ставрача.

Она побежала по платформе, громко крича:

— Не позволяйте отцеплять паровоза, нас предадут железно... — закончить ей не дал извивающийся по земле в беспамятстве сыпнотифозный, неожиданно поднявшийся на ноги. С закрытыми глазами, фиолетово-желтый, он двигался, как лунатик, хрипло твердя:

— На кони... сволочи... офицерня поганая...

Внезапно ослабев, больной всей тяжестью грохнулся на бегущую ему навстречу Калерию. Оба упали. Когда, очнувшись от падения, покачиваясь, Калерия приподнялась, отцепленный паровоз стоял уже у водокачки. Санитары кончили погрузку, сдвинули дверки теплушек.

Тучи на востоке желтели, неподалеку раздался первый выстрел.

— Нас предали, — сказала ставрачу Калерия. — Начальник станции саботирует, машинист сбежал, мы в ловушке, через час, не позже, белые займут станцию.

Ставрач растерянно махнул рукой и, как-будто что-то вспомнив, бросился в вагон.

— Идиот, шляпа, — выругалась ему вслед Калерия и пошла вдоль поезда. Из теплушек донеслись до нее стоны больных. Валентина видела, как с внезапной решимостью выпрямилась Калерия, вынула из кармана грузный наган, позвала двух дюжих санитаров и пошла к вокзалу.

Валентина сидела на подножке одного из семи вагонов, броненных в поле, окруженных изменой, жалких и беспомощных, как слепцы, лишенные поводыря-паровоза.

— Неужели сейчас здесь я умру? — упрямо думала девушка; забытый браунинг уныло прижался к ее поясу. «Если меня посмеют бить, буду царапаться и кусаться» — подумала и сейчас же поняла всю нелепость такой самозащиты, задрожала, оглянулась, захотелось бежать, кричать, плакать.

Как больно, вероятно, умирать, разорвется каждая клеточка, а их в теле много, много. Она опять, как в детстве, представила себе свое тело в виде пчелиных сот, простонала: — Адольф...

Еще вчера, когда Линев говорил о фронте, она чувствовала себя такой храброй. Сознание собственной трусости и жалость к себе усилили ее страдания. В это время в одном из окон вокзального домика в сопровождении санитаров появилась Калерия. Валентина слышала каждое ее слово и заметила в глубине комнаты за письменным столом начальника станции.

— Немедленно прицепите паровоз, добудьте машиниста и отправьте санлетучку. Даю пять минут, нето пристрелю вас, ручаюсь...

Калерия стучала наганом по столу, передвигая предохранитель, едва сдерживая курок.

— Напрасно горячитесь, сударыня, наше дело маленькое. Без машиниста далеко не уедете. Бессилен. Наше дело маленькое.

Первые лучи солнца, предательского солнца, ощупали, будто прожектором, вокзал, скользнули по санлетучке. В ту же минуту от водокачки с торжествующим присвистом отделился паровоз и, то приближаясь, то отступая, точно заигрывая и дразня, начал маневрировать. Завидя его, Калерия через окно легко перескочила на перрон. Валентина, по-детски прижав руки к груди, смотрела на нежданного спасителя. Теперь, когда спасение стало возможным, боязнь ее еще усилилась. С площадки вагона удовлетворенно посмеивался ставрач.

— Спокойствие, главное спокойствие, товарищ Калерия, пока вы застрашивали негодяя начстанции, я разыскал машиниста. Наш фельдшер, любитель, так сказать, сын машиниста, вырос на паровозе.

Спустя десять минут, санлетучка вздрогнула и, затрепетав, как пчерица, хвостом теплушек, побежала к Орлу.

Солнце взошло, и белые, обстреливая Становой Колодец, перешли в наступление.

VI

Ничто в Орле не подтверждало того, что враг близок и город осажден, ничто, кроме напряженно выжидательной тишины безлюдных улиц и наглухо закрытых парадных дверей в домах.

Дивизия, в которую направлялись Калерия и Валентина, оказалась накануне разгромленной и уничтоженной. Начальник дивизии Станкевич, бывший кадровый генерал-майор, предпочел смерть измене. На качелях сельской школы в занятой белыми деревне еще болталось его неестественно выпрямленное многолетней муштровкой и последней судорогой смерти тело. На голой груди, как орден, висела табличка: «большевик».

Политработницы отправились за распоряжением в штаб укрепрайона. Из открытых окон штаба далеко по гористой улице разносился однообразный гул угрожающих голосов.

— Достать патроны... что? предам ревтрибуналу... Наладить немедля связь с дивизией, у, у, у, негодяи, прозевали, предали... рас-с-с-стреляю. Приказ №... пишите. Приказываю...

Со двора выскакивали галопом пущенные кони с пригибающимися всадниками, немногочисленные автомобили метались, как вспугнутые жуки. На лестнице штаба толкались обвешенные гранатами, ручными бомбами, опасные, как адские машины, люди.

Несмотря на приказ возвращаться в поарм, Валентина и Калерия отложили отъезд на сутки. В укрепрайоне им выдали по осьмой хлеба, банку мясных консервов и таблетку земляничного чая. День был дождливый, и в пустынном сквере их попытка отобедать оказалась невыполнимой. Они нашли убежище от дождя в опустошенном эвакуацией местном парткоме. Во всем доме живыми казались только стены, густо увешанные воззваниями и плакатами.

— Может быть, завтра сюда войдут белые, — сказала, ощутив обреченность города, Валентина. Услужливая фантазия представила су-

ровую расправу с единственными врагами в этом доме, с плакатами. Ей даже почудился стеклянный звон сабель, разрывающих пестрых нарисованных людей, агитирующих с мраморных стен.

Ивова любила Калерию и готова была всегда, во всем уступить, подражать ей.

Убежденная, что не заслуживает дружбы Калерии, Ивова нередко спрашивала:

— Почему ты решила со мной подружиться?

В Орле, в промокшем саду бывшего парткома, Калерия на обычный вопрос подруги ответила впервые без «бубняков»:

— Приревновала тебя к Линеву, решила себя обезопасить.

Ивова растерялась так же, как во время объяснения с Адольфом на болоте. Калерия, гортанно смеясь, пояснила:

— Ты девчонка, а я взрослая женщина, какая вообще может быть между нами дружба. Запомни, дружба—выдуманное понятие, ни между мужчинами, ни между женщинами, тем паче между теми и другими, ее не бывает.

Валентина возмутилась:

— Я верю в дружбу.

— Дура, — отсекла Калерия.

VII

Ночевали в санлетучке № 3. Поутру разбудило короткое волнуемое «летит». День был ясный, солнечный. Небо — добросовестно выстиранная, подсиненная простыня, растянутая между крыш вокзала и дальних железнодорожных мастерских, — будто высыхало на солнце. Задрав головы, как дети, пускающие змея, стояли на перронах меж рельс красноармейцы.

Аэроплан уверенно разрезал небо, купаясь в разноцветной пыли солнечных лучей. Внезапно, подобно крошечным метеоритам, сверху посыпались прокламации.

«Обманули комиссары, выпустили знаки, не купишь и собаки». «За веру, царя и отечество» — читала Валентина.

Рядом с ней красноармеец с омерзением скомкал черносотенную агитку: «Ишь, г.... птичий помет».

«Второй летит» — прошло по человеческим снопам. Валентину приворожила серебристая точка в поднебесье. Протяжный, громоподобный гул прозвучал неожиданно.

Кто-то крикнул ей: — Чего зазевалась... бомба!..

В жуткой панике бежали недавние зеваки. Валентина осталась одна; сомкнув веки, закрыв голову ладонями, выжидала она последующих ударов: небо казалось ей черным, из-под вагонов глаза перепуганных людей пугали, как ртутные манящие шарики — зрачки крыс.

«Дзинь-н-нь» — прозвенела в воздухе «смертоноска». Валентина стремглав бросилась под теплушку. Рядом с ней тихонько подвывали,

скрежетали зубами, хрустели пальцами, что-то бессвязно шептали обезумевшие от страха человеческие существа.

После разрыва пятой бомбы наступило затишье. Люди выползли, дрожа и озираясь. Валентина ощупала лицо и ноги. Она тщетно попыталась дать себе отчет в том, сколько времени сидела под вагоном.

Одну из теплушек неподалеку распотрошила бомба, превратив ее в чудовищный слоеный пирог из человеческого мяса и досок. На бурой траве перед вагоном валялись клочья окровавленных одеял, чьи-то конечности, раскрошенные, точно пропущенные через мясорубку, тела. Привычно суетились сестры милосердия, санитары. Валентина равнодушно рассматривала единственного уцелевшего из взорванной теплушки сыпнотифозного, умиравшего теперь на земле.

Внезапно на вокзале вновь наступило тревожно нарастающее возбуждение. Точно мстя за пережитую унижительную боязнь, со всех сторон сбежались, взводя курки, красноармейцы.

В отвратительно спокойном небе, в лучах солнца резвились, как журавли, враги. Остервенело жужжали пропеллеры. Только на одну секунду любопытство задержало Валентину на месте, вскинуло голову. Но первый же взрыв отбросил ее под вагон. Шесть бомб взрывались почти одновременно... Небо сеяло смерть. Валентине чудилось, что земля заколыхалась, напрасно хватала она руками рельсы и колеса в поисках опоры. Подле нее растянувшийся во весь рост человек в шинели посмеивался и громко считал: — Седьмая, восьмая, девятая...

Десятая бомба предупредила о себе визгом заправской истерички и загрохотала, как ледниковый обвал. Бесформенный осколок стукнул, будто кулаком, по крыше вагона. Человек привстал.

— Идемте, — отрывисто прошептал он, хватая за руку Валентину и увлекая за собой, — не бойтесь, моя теплушка счастливая, в ней безопасно.

Они побежали между вагонами. В полутемной теплушке незнакомец поднял Валю на руки и положил на походную кровать. Косой луч осветил его небритое лицо, красные глаза, серые волосы. Царапающее прикосновение торчащих усов вернуло девушке ясное сознание. Не издав ни звука, она прокусила мягкую волосатую руку, исцарапала ногтями колючую кожу щек. Последние слова, донесшиеся до Валентины, скатившейся по сходням из теплушки, были: — Тринадцатая... да не бойтесь...

VIII

На следующий день после возвращения из Орла Валентину вызвал Линеv, чтобы продиктовать ей воззвание.

В дни неразрешенных сомнений, неуверенности и грусти, подчас неосознанной и тем более тягостной, Валентина особенно радовалась, когда заворотдел звал ее к себе на работу. Отдыхая от диктовки, Вячеслав всегда подмечал и отгадывал настроения девушки и умел незаметно, без расспросов помочь ей раз'яснением и шуткой. На этот раз,

однако, он казался целиком погруженным в себя, в свои думы и тревогу.

— Не путай слов, — повторял заворг, заглядывая через Валино плечо на исписанный лист. — Пиши с новой строчки:

«Всем, всем, всё. Один из кордонов на Большой Московской дороге пал. Тяжелый генеральский сапог занесен над советской страной. Притаившийся мир взирает на беспощадную схватку прошлого и будущего. Для рабочих нет выбора. Смерть или победа...»

Вале вдруг стало жутко.

— Неужели ты думаешь, Вячеслав, что «они» могут победить и все, все погибнет?

— Деникин, что ли, — спросил, точно пробуждаясь, Вячеслав. — Глупости, этой мысли я к себе не допускаю... Мы — созревшие, спелые колосья, наше время пришло... — Линеv замолчал.

— Но людей, человеческую жизнь жалко... Степа Максимов, Петро Исаев... много их... погибли в боях, в петлях... а какой народ-то был, какие люди...

— Только рабочий класс установит социализм, — важно произнесла Ивова.

Линеv вскипел:

— Курица ты, Валька, чепуху несешь, — рабочий класс без крестьянства, что штаб без армии...

В три часа ночи заворг отпустил Ивову. Перед уходом Валя, не стерпев, рассказала пережитое на орловском вокзале — похищение, попытку изнасилования. Она ждала, что Линеv разделит ее возмущение, но заворг только улыбнулся.

— Все люди, все человеки, и все человеческое им не чуждо. Укусила его, говоришь, значит расквитались... Странная штука. Я давно заметил да и читал, что там, где разрушение, там и воспроизведение. Близость смерти порождает желание жить хоть в потомстве, — так вы, братец мой, наши инстинкты.

Валентина прервала раздраженно:

— Но, может быть, он большевик или просто сознательный человек, как он смел так обидеть, так хамски обойтись с товарищем, а ты его оправдываешь...

Внезапно ей вспомнился Талге и разговор с ним на болоте.

— Займись-ка, Валентинка, лучше делом, да так, чтобы дохнуть времени не оставалось. Жизнь-то ведь какая замечательная, интересная...

IX

В тихом сытом Белгороде началось медленное умирание Красного. По прихоти квартирьеров, Талге, Семен и Линеv жили в бесхозном, рябом от пуль особняке на краю города. На рассвете декабрьской ночи кровь, хлынувшая изо рта завагитотдела, залила недопи-

санную инструкцию. Красный скатился с рояля, на котором писал лежа. Клавиши протяжно всхлипнули и смолкли. Поутру увлекшийся гимнастическим сгибанием и разгибанием поясницы Лиев не сразу распознал в ползущем на четвереньках существе Семена. Заvorg уложил больного на кровать под кружевным балдахином и попытался тщательно укутать его. В разбитое окно проникал морозный ветер. Лиев прикрыл Семена шинелью, дырявым одеялом, персидским ковром, поднятым с пола, и палевыми японскими панно, содранными со стен.

Красный тоскливо говорил: — Умереть от чахотки, на фронте, в армии...

Он освободил из-под тряпья узкую руку и стал грозить ею кому-то с трагическим отчаянием: — Умереть бесцельно, нелепо... никому не нужно... захлебнуться кровью... если б предвидеть... знать.

Лиев, понуриw голову, неуверенно возразил: — Не финти, Семка, поправишься, дурень, не хнычь.

— Я мог бы повести в бой полки, проявить невиданную отвагу, моя смерть дала бы нам победу, а то в кровати...

Красный плакал. Подошедший врач прописал ему валериановых капель и, рассказав об усиливающейся эпидемии тифа, ушел. Больной судорожно цеплялся за разорванные тревожные мысли.

— Лидия, — глухо говорил он, задыхаясь и глотая слюну, — я всегда был трусом, разве не страх смерти породил мое честолюбие, я стремился обессмертить себя хоть в истории, остаться в памяти людской, точно от этого легче умирать. Но кому нужно все то, что я писал?

Он ждал опроверженья, но Лидия молчала.

— Залезть в историю, благодаря подвигу, не по мне. Лиев знает, как я дрожу, взводя курок. Помнишь, ты сказал мне однажды, Вяча: «Ничего, Семка, партии всякие нужны. Жарь декреты, стреляй пером». Лидия, я жить хочу, — он то выпрямлял, то сжимал в кулак кисть руки.

— Проживи я восемьдесят лет, может быть, написал бы что-нибудь великое, нужное, как марксов «Капитал».

Х

На одном из участвовавших митингов Валентина, самодовольно ощупывая новенький партбилет, полная чувства собственной значимости, сидела в президиуме. Ей передали неожиданную записку:

«Предлагаю ликвидировать ссору. Принимаю твои условия. Адольф».

У девушки едва хватило выдержки дождаться конца собрания, высидеть на месте, скрыть от окружающих нахлынувшую радость.

Встретились в толпе, точно и не расставались, заговорили о социальных корнях Махно, пошли кататься на салазках во двор поарма. Валентина скрыла разочарование, что обошлось без желанных драматических упреков, надуманных примирений.

В полночь Талге проводил Ивову в монастырь, где она жила по-прежнему вместе с Калерией. Просторная келья политработниц была опрятна и чиста. Семидесятипятилетняя монахиня Евпраксия, выселенная в соседний чулан, ежедневно, никем не просимая, прихрамывая, входила со щеткой и тряпками:

— Сегодня, голубчики, вы здесь, завтра, бог даст, я здесь опять буду, — говорила она заискивающе, — пятьдесят лет в этой келье вековала, бог даст, тут и помру.

Как-то зимним утром в сенях кельи раздались грузные шаги. Дверь, заскрипев, распахнулась и, отряхивая снег, в комнату с морозом ввалился укутанный башлыком человек. Калерия уронила кусок крупчатого калача, узнав мужа. Оставляя мокрые отпечатки сапогов на полу, Александр Сергеев бросился к жене, но Калерия загородилась руками, досадливо говоря:

— Нет, нет, это не требуется, за восемь месяцев разлуки можно и отвыкнуть.

Комбриг соседней N—ской армии смущенно улыбнулся и неуверенно присел к столу.

— Все попрежнему куришь, Калютка, — сказал он, взяв от Валентины стакан чая и согревая об него красные большие руки. Помолчали.

— Я, право, перед тобой ни в чем не повинен, время было жестокое, дня не проходило без сражений, как цел остался — невдомек самому... ранен был.

Сергеев оживился, рассказывая о полугодовой военной страде. Средневековая удадь перемежалась в его рассказах с математически точными расчетами стратега.

— Всяко бывало,—закончил он, но, вспомнив что-то, опять заговорил.— Недавно, к примеру, забавный был случай: белых без выстрела прогнали. Стояли мы на одной стороне реки, они насупротив. Через реку мост имелся, отличный бетонный, однако ж, посередине взорванный. Получили мы приказ реку перейти и призадумались. патронов оставалось не густо. Тут промелькнула у меня одна идея. Ночью взял десяток бойцов и айда на мост. Дошли до середины, захватили часовых врасплох, принялись колотить по мосту чем попало. Гул, треск, шум пошел чорт знает какой. Белые со сна вообразили, что к нам подошло подкрепление, и смотались. Покуда понтонную переправу...

Калерия злобно прервала:

— Тут, конечно, не до жены было, понимаю, понимаю, Сашка, а я, чудачка, по всем армиям тебя разыскивала.

XI

Заворг Вячеслав Линеv охотно говорил при случае о своей жизни. Детство его прошло подле отца и деда в старой кривой кузнице. Вяче-

слав любил вспоминать завалинку, где на самом солнцепеке, среди ароматного шрелого навоза, в одной пестрой рубашонке из маменькиной юбки просиживал он в раннем детстве. Вячка не боялся ни лошадей, ни разговорчивых крестьян, страшился он только цыган и городских. Цыгане, по словам матери, крали детей, а городские предвещали горести.

Отец Линева нередко запивал, и кузница в эти дни понуро безмолвствовала.

Вячеслав влезал на наковальню и размахивал молотом. Рука его дрожала, и однажды удар пришелся по ноге. С той поры он и стал прихрамывать. После первого причастия Вячка начал помогать отцу. Он узнал, что из прута церковной решетки можно вылить пару подков, и в дни запоев отца отправлялся по городу, хищно разглядывая попадающиеся ограды. Несмотря на хромоту, Вячка обещал быть отличным кузнецом. Ладони его раздались, ноги, как устойчивые подпорки, продавливали землю, когда он вскидывал руку, вооруженную молотом. Железо искрилось, будто горящее полено. Отец гордился работой сына, и проезжие крестьяне охотно доверяли ему своих лошадей. В часы отдыха Вячеслав шел в клуню, влезал на чуть отдающее гнилью сено и читал Ника Картера или Шерлока Холмса. По воскресеньям он гулял по «кругу» городского сада и, когда темнело, шел в кинематограф, просиживая там до полуночи под ряд три сеанса на третьих местах. Шестнадцати лет молодой кузнец приволокнулся за Танюшей, горничной генеральши, и через это неожиданно изменилась его жизнь.

Генеральшина дочь любила учителя, студента Петрова. Любовь эта была тайной и запретной. Каждый день Танюша относила Петрову надушенные конвертики, но раз, поленившись, послала вместо себя с розовой «секреткой» Вячеслава.

— Пришел я, — рассказывал, улыбаясь, заворг, — к учителю. Щупленький, ничем не замечательный паренек был. Конвертик, поморщившись, сунул он в карман, уставился на меня и повел всякие там разговоры. Был он на деле гнилой интеллигашка, из той породы, что общается к революционной работе, агитируя среди маменькиных лакеев и девчонок, за которыми потихоньку бегают. Впоследствии стал он, как я слышал, умеренным либералом, пройдошливым присяжным поверенным, а теперь наверняка сидит в Крыму и мечтает пробраться в Париж.

Но я тогда ничего ни в людях, ни в идеях не смыслил. Внимание студента вскружило мне голову. Домой, помню, приволок какую-то нелегалишку, ночью прочел ее и обалдел. Студенту я быстро надоед, и он передал меня товарищу.

Тут-то началось мое «просветление». Сергею Ивановичу Руму я всем обязан. Был он снаружи грязный, волосы седые, настоящий вечный студент, но ума и души был необычайных. До тридцати пяти лет только и делал, что перебирался из тюрьмы в университет и обратно. В тюрьме изучил греческий, переводил на латынь Коммунистический

Манифест и решал астрономические задачи. Сергей свел меня с большевиками. Попал я тогда в нелегальный кружок политграмоты, руководила им товарищ Наташа, по кличке Незабудка, чудесный человек. Каюсь, много я из-за нее подков перепортил.

Спустя полтора года после «просветления» Линеv получил на явке предписание под кузницей устроить подпольную типографию. Отец его в ту пору уже помер от белой горячки, мать ушла на богомолье. Не одну неделю, как кроты, еженощно рыли землю, ставили подпорки, клали настилку десять большевиков.

— Пьет кузнец, весь в отца, — говорили сострадательно соседи, подмечая по ночам свет в кузнице. Линеv рад был такой славе.

В подземелье, похожем на окоп, шла без усталости работа. Стук молота о наковальню заглушал скрип «американки». Полгода существовала типография. Десятки тысяч прокламаций вышли из-под земли. На седьмой месяц полиция выследила и осадила кузницу.

С молотом в руке защищал Линеv шаткую дверь, пока другим ходом его друзья покидали типографию. Жандарм свалил Вячеслава выстрелом. Восемь лет монотонных, как бой часов, провел кузнец в одиночке Шлиссельбурга.

— Проба на качество, теперь я крепче своих предков, — заканчивал он свои воспоминания.

Заворг редко ошибался в людях. Подполье научило его осторожности и наблюдательности.

— Иногда даже скучно, — говаривал он, — видишь парня в первый раз и думаешь: вот сейчас скажет то-то и обязательно таким голосом. Слышь, он действительно говорит, что ему и полагалось, и голосенок у него в самый раз такой, как я предугадывал.

В кабинете заворга на письменном столе постоянно валялись груды папок. Размашистым неровным почерком Линева на них были сделаны краткие, но выразительные надписи: «заглядывать почаще», «хлам», «полезное», «пусть полежит».

Политработников, приезжавших из центра, Линеv невидимо ощупывал: «просвечивает», «добротный», «с из'янцем», «тухлый», «гнилой» писал он на их анкетах. Комиссары, поставленные в части Линевым, редко не оправдывали его оценки. Случалось, что рвавшихся в бой и кичившихся храбростью он упрямо оставлял в тылу. — Брешет, потому что пороху не нюхал, задавака-пустомеля, в первом же бою....., — пояснял Вячеслав начпоарму.

По настоянию орготдела Рутберг был назначен заместителем Красного.

— Добросовестная, полезная мелкота, что и требуется, — отзывался о нем Линеv.

Борис Рутберг приехал в коммуvу 3-х поармейцев с маленьким чемоданчиком, в котором лежали две смены белья, запасная пара штанов, щетка для зубов, полотенце и портсигар.

— Шкурник, — сказала, поморщившись, Валентина.

— Типичный представитель мелкобуржуазной опасности, — подтвердил Талге, у которого не было ничего, кроме Анти-Дюринга и кисета.

У замагитотдела не только лицо, но и глаза обсыпали бледные, как пшено, веснушки. Черты лица и зубы у него были мелкие, руки влажные и дряблые, походка легкая, в припрыжку.

Перебравшись в особняк, Рутберг сейчас же отыскал стекольщика, вставил стекла, в кладовой выискал самовар, а вместо стаканов приспособил консервные коробки. Он умел как никто успокаивать слабеющего Красного рассказами о Крыме. Постоянно лихорадящий, болезненно румяный Семен жадно мечтал о целительном полуострове:

— Когда же, когда же, — спрашивал он ежедневно, — мы доберемся до Крыма, только бы дотянуть, а там я живо вылечусь.

XII

В день приезда Сергеева по поручению Калерии Ивова предупредила Линева: — Сашка явился, приходи после работы в библиотеку.

В 5 часов, усевшись на ящике с книгами против Валентины, Калерия ожидала заворга:

— Вот не думала, что встретимся без поцелуя, ласки, — твердила она возбужденно.

— Адольф никогда меня не целует, — заметила Ивова, уходя.

— Приехал, тем лучше, — заговорил Линева, грузно вваливаясь в библиотеку, — была его женой, теперь моя, дело небольшое, я переговорю с товарищем Сергеевым, объясню, что ты любишь другого и...

— Тебя, — отшвырнув дымящийся окуроч, истерически крикнула Калерия, — дурак, да я ненавижу тебя, ты его подметки не стоишь, блин ты, а не мужчина, повожжались, хватит... Не смей Сашке говорить об этом, слышишь... никогда. У, бабья моя похоть.

Большое лицо Линева раздулось и посерело, нижняя челюсть задрожала. Он подался вперед, но с огромным усилием остановился, схватил табурет и мгновенно разломал его на части.

— Дрянь, дрянь, проглядел, что дрянь, — шептал Вячеслав, пробегая по коридору в свой кабинет. Больше всего его мучило сознание своего заблуждения.

В первую ночь по приезде мужа Калерии Валентина переселилась к Лидии.

Супружеский разговор долго не налаживался; с упрямой назойливостью Калерия требовала от Сашки словесных подтверждений его верности. Ни о чем не догадываясь, комбриг чистосердечно убеждал в этом жену.

— Что б ты сделал, узнав, что я жила с другим?— прервала его Калерия, приподнимаясь на локтях, — в лунном свете ее маленькое лицо казалось змеиным.

— Ты вольна во всем, но для меня это стало бы мученьем.

— Так ты не убил бы меня, вообрази себе это отчетливо?

— Что за дикий вопрос?

— Ты дорожишь своим спокойствием.

В ответ Сашка попытался отшутиться и пылко притянул к себе жену.

В полночь разомлевшая Калерия увлеклась воспоминаниями:

— Сашка, помнишь наше знакомство декабрьской ночью в очереди за билетами на Шаляпина? А первый поцелуй, тогда же ты рассказал мне о народовольцах, говорили о химии, бомбах, Кибальчиче... В октябрьские дни я так боялась за тебя, ты не узнал меня в окне, когда проехал на грузовике, я обиделась. В тот же день замахнулась на маму перочинным ножом, когда она пожелала вам виселицу.

— Да, да, — шептал умиленный Сашка.

— Как хорошо было в московском общежитии, правда? кстати, Талге тоже здесь.

— Вылечился? — сурово спросил Сергеев.

Калерия, не отвечая, продолжала:

— Никогда не забуду нашего прощанья, я пела тебе: «Молчи, грусть, молчи» и плакала...

XIII

Со времени отъезда Сашки Сергеева прикинулась тоскующей, несчастной. Она старалась вновь сблизиться с Валентиной:

— Я знаю, нас хочет рассорить Линеv, он мне мстит, это все его наветы. Щеголяет партстажем и прошлыми революционными заслугами, а по существу такая же пара штанов, как и другие, не верь ему, Валя.

Ивова несмело возражала, чувствуя перед Калерией страх и робость.

— Даю тебе слово, Вяча ни разу со мной о тебе не говорил.

Валентина уступила настояниям Сергеевой и вернулась в келью.

По ночам страдающая бессонницей Калерия будила Ивову и нашептывала:

— Первый раз меня обжег мужской поцелуй в восемь лет. Помню после самоубийства отца, — он застрелился на моих глазах, в детской, — к похоронам приехал дядя, статный усатый военный. Он взял меня на руки и поднес к гробу. Вижу, лежит папа синий, вспухший, в ноздрях два комка ваты пожелтели, на виске круглое, точно родимое, пятно — след пули. Я закричала во всю мочь.

Дядя, чтоб успокоить, принялся меня целовать. Усы его и сухие губы щекотали мой подбородок, щеки, и по телу вдруг пробежал ток настоящей женской страсти, ты этого не можешь понять, а я и сейчас, вспоминая, волнуясь.

— Замолчи, — молила Ивова, отбрасывая с горящего тела одеяло но тут же просила: —нет, расскажи еще что-нибудь.

Калерия тихонько смеялась:

— Зачем ты меня выпрашиваешь, есть у тебя Адольф, испробуй... Боишься. Себя бережешь. Глупо, потом пожалеешь. Никто не оценит... и парня жалко... Еще месяц, другой, его прорвет, найдет другую. Дура ты, девонька. Нам с тобой все равно терять нечего. Мы гиблые. В роде удобрения, навоза. Чистота и всякая другая романтическая чепуха годилась для прошлого, может быть, понадобится и для будущего, теперь же не то в моде. Ты вот какие-то принципы выдумываешь, Линеv тебя за это всем в пример тычет, а я так думаю: «ни от чего не отказывайся, живи пока живется». К чему волынку тянуть, поверь мне, Талге отличный будет любовник. Он даже... нет ничего, ничего, я хотела сказать, что не такие замухрышки, как ты, на него заглядывались.

Валентина зарывалась под подушку. Ей казалось, что стертый, грязный каблук тяжелого сапога Калерии топчет, разметает все лучшее, накопленное, взлелеянное мозгом.

Утром Ивова вставала полубольная, глаза ее были беспокойны, как и думы. Линеv подметил перемену в поведении и лице девушки.

— Перебирайся к нам в коммуvу, — сказал он заботливо, — отравит тебя Сергеева, злобная она, змея.

Однажды ночью в порыве распирающей ненависти Валентина спросила:

— Зачем тебе партия, Калерия, ты чужая?

— Всякому человеку нужна профессия: моя мать портниха, отец был неудачник-торговец, ну а я большевичка.

Калерия хитро засмеялась, и Ивова так и не смогла распознать, говорилось ли это серьезно.

Как-то ночью, искусав подушку, под дурманящий сознание шопот Сергеевой Валентина сорвалась с постели и, наспех одевшись, бросилась прочь из кельи. До утра металась она по безлюдному городу. Вечером пришла в «коммуvу» и осталась жить в одной из нетопленных, обитых полинялым от сырости шелком комнат в мансарде.

Калерия больше не пыталась звать к себе Ивова и заменила ее Лидией.

— Эту-то ей не смутить, не прошибить, — посмеивался Линеv.

— У Шестович в голове отличная цитадель из принципов и установленных понятий, у ней на все случаи жизни заготовлены правила.

Валентине со времени переселения в коммуvу казалось, что распорядок дня, который она отныне для себя установила, и называется счастливым существованием. По вечерам после суетливого, утомительного рабочего дня, если не было дела в поарме, Талге приходил в мансарду с очередной книгой. Читали Ленина, Каутского, Энгельса. Однажды Валентина нечаянно заснула над второй главой «Капитала», и воспоминание об этом мучило ее неустанно.

Разыскав в библиотеке политотдела Брэма, Ивова заставила Талге читать вслух о рыбах:

— Мы невежды, — отвечала она на его возражения, — ото всего отстали, ничего не знаем толком, а в Москве все учатся, растут.

Однако, часто посторонняя книга дума поглощала Валентину. С непонятым волнением разглядывала она рот и мускулистое тело Талге, вспоминая эротические признания Калерии. Чтоб отогнать «грязные, постыдные», по ее мнению, мысли, девушка прекращала чтение и затевала беседу.

Однажды в такую минуту Адольф спросил напряженно:

— Может ли человек, свершивший когда-то нечаянно, давным давно, подлость, преступление,—бывают ведь разные случайности, несчастья, ошибки, — быть большевиком, членом нашей партии?..

Валентина сделала гримасу сосредоточенного размышления и отвечала напыщенно:

— Нет, не имея должной силы воли, он может опять свихнуться, опозорив звание коммуниста, звание, которое, как маяк, должно сиять миру безупречностью.

Адольф деланно засмеялся:

— Однако, много ты захотела, проповедуешь сектантство, разве нельзя искупить прошлого...

Ивова прервала игриво:

— Если ты имеешь в виду нашу ссору на болоте, то я давно все простила и забыла...

Талге недоуменно пожал плечами и заговорил о другом.

XIV

Встречу нового 1920 года после долгого собрания в поарме Рутберг организовал у Красного. Меню ужина утверждали голосованием. Единогласно прошла колбаса, жареный гусь, гречневая каша и конфеты.

Часа в два ночи, после ужина, Валентина затеяла игру в фанты. Адольфу выпало быть пифией и с завязанными глазами наугад предсказывать будущее.

— Что меня ожидает? — меняя голос, злорадно улыбаясь, приставал к оракулу Рутберг.

— Будешь собакой, — с самодовольным смешком отвечал из-под шинели Адольф.

Валентине вдруг стало томительно скучно.

«Он смешон, его ответы так глупы, — досадливо подумала она, — не замечает, что все над ним смеются» — злобное чувство нарастало в ней против Талге. Желая как-нибудь отомстить за пережитое разочарование, она сказала ему на прощанье:

— Отчего ты меня никогда не целуешь, это ненормально?

Адольф нахмурился и не ответил.

Спустя несколько дней вечером он предложил ей прокатиться на лихой политотдельской паре. Поехали... Валентина сидела в розваль-

нях рядом с правившим Талге. Сугробы, мимо которых проносились сани, казалось, дышали и лениво поводили белыми пористыми тушами.

— Тюлени,—сказала о них девушка,—а там Ледовитый океан,—она повела рукой в сторону поля, готовая дать волю взывавшей фантазии.

Но Адольф прервал ее хриплым криком:—Но... айда!—и, взмахнув кнутом, направил лошадей в сторону от дороги.

Сани вскочили на гребень снежной волны, завертелись в ухабах. Валентина едва удерживалась от падения, ухватившись мерзнувшими руками за полость и сиденье.

— Останови лошадей... дурацкие шутки... падаю...

Рассекаемый полозьями снег взлетал комьями и хлестал по седокам. Адольф повернул к Вале искривленное не то смехом, не то рыданьем лицо и с несвойственной ему живостью сказал:

— Давай умрем здесь, сейчас, вместе.

Валентина увидала его руку, потянувшуюся к кобуру. Она всплеснула руками и, потеряв опору, выпала из саней.

«Он сходит с ума. Если я его люблю, то должна спасти, ах, Калерия права, ему нужна женщина»—думала Валя, сидя в снегу.

Той же ночью девушка пробралась в комнату Адольфа.

Протяжный храп, освещенные луной голые ступни, грязные, огрубевшие, с волдырями на пальцах, вылезавшие из-под шинели, чуть не повергли ее в бегство. Напрягая волю, она все же осталась, но не в силах была преодолеть брезгливую неприязнь.

Адольф как-то разом проснулся и сел, не выразив удивления или радости. Кусая губы и зажмурившись, Валентина легла на несвежую постель. Талге поспешно отодвинулся, зажигая козью ножку.

— Я решил в Москве изучать медицину, нужно досгать учебники по латыни, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание.

Валя с отчаянной отвагой и развязностью проговорила:

— Я знаю, тебе тяжело физически, Адольф, если хочешь... — она засмеялась, не зная, как выразиться, — возьми меня.

Штампованную бессмысленность последних слов девушка ощутила как унижение.

Темнота помогла, однако, бороться со стыдом. Адольф схватил ее руку и прижал к губам. С решимостью человека, растянувшегося на операционном столе, Валя ждала, что произойдет дальше. Внезапно, точно припомнив что-то, Адольф отбросил Валину руку, вскочил и побежал к окну. Распаленным лбом он терся о холодное стекло и стонал.

Чувство радостного облегчения, благодарности и жалости овладело Ивовой.

В поарме утром она узнала, что Адольф собирается в полк на фронт. В тот же день очередная потешная «военная сводка» коммуны сообщала: «Ю ж ф р о н т (Лидия и Красный). Штабы разрабатывают стратегические планы. В районе Бахмута переговоры должны привести

к взаимному соглашению. Продолжение вечером за неисправностью связи (радио).

Северный фронт (Калерия и Лиев). Сообщение устарело. Пулеметный огонь, превратившийся было в настоящий ураган, совершенно смолк. Части противника разложены, нет желания воевать.

Восточный фронт (Рутберг). Без перемен.

Западный фронт (Валентина и Адольф). Произошло крупное столкновение частей, результаты плачевные. После боя поиски разведчиков. В виду лютых морозов борьба значительно сократилась. Начштаба Рутберг. Ставка Белгород».

В последующие дни Таалге избегал Валентину. Подсторожив его как-то на лестнице поарма, Ивова спросила, чуть не плача:

— Как понимать твоё поведение, чем я тебя обидела?

Адольф страдальчески с'ежился, лицо его было необычно грустным:

— Я тебя люблю, Валя, и не хочу сделать несчастной, нам нужно во что бы то ни стало расстаться.

Ивова заплакала, чего-то подсознательно испугавшись:

— Без тебя я буду одинока.

— Ты не понимаешь своих слов... Когда-нибудь, может быть... я сам объясню тебе все... но не теперь.

— Отчего же не теперь, впрочем, как хочешь, когда-нибудь,—подавив любопытство, согласилась Валентина. Ей понравилась таинственность и усложненность отношений с Адольфом.

Они распрощались, условившись писать друг другу.

В припрыжку, напевая частушку, вернулась Ивова домой.

XV

В январе 20-го года, уезжая в бригаду, Лиев вызвал к себе в кабинет Валентину.

— Не взыщи, Ивушка, вот тебе новое назначение.

В тот же день Ивова начала работать в газете «Красноармеец».

Рыжебородый Митрофанов, редактор и передовик, он же поэт «Дед глаз», встретил ее недоверчиво и сказал сухо:

— Штат газеты невелик, нас двое,—я и вот, рекомендую, Васев—порученец, он же фельетонист, правщик корректуры и выпускающий, существо, как видите, богато одаренное.

Ивова решительно протянула руку мальчонке лет 13—14, утонувшему в огромной кавалерийской шинели. — Васев Иван, — отрапортовал юный журналист.

— Не снимайте тужурки, замерзнете, — посоветовал Вале Митрофанов и принялся бегать из угла в угол единственной редакционной комнаты, потирая рука об руку и вслух сочиняя очередное стихотворение. Валентина подивилась невероятному беспорядку в редакции и начала подбирать клочья бумаг и груды окурков с пола.

— Пустое ваше времяпрепровождение, — заметил презрительно Васев. — Сейчас я качусь в типографию, там же пошамаю, сматывайтесь, не дожидаясь меня, — добавил он и важно вышел.

— Вы статьи писать умеете? — вспомнив об Ивовой, спросил Митрофанов.

— Нет, то-есть да, в гимназии шла первой по сочинениям.

— Значит, не умеете, — сухо поправил «Дед глаз». — Ничего, научим, а нутко, попробуйте-ка что-нибудь изобразить насчет соглашателей, в Харькове процессик меньшевичков начался.

Два часа с превеликими мучениями сочиняла Валя 20 строчек статьи о соглашателях. На следующий день примчалась в редакцию на рассвете. В «Красноармейце» должен был появиться первый ее фельетон.

Как на зло, Ваня опаздывал, и Валентина, едва сдерживая нетерпеливое беспокойство, ждала его у окна.

— Не влез ваш чортов фельетон, завтра пустим, — сказал ей Васев равнодушно с порога редакции.

Со временем Ивова преодолела томящее честолюбие, отучилась выпрашивать мнение окружающих о своих произведениях и даже нашла в себе силы скрыться под незначительным псевдонимом — «кр-ц Валентинов».

Работа в редакции ее все больше увлекала. Изо дня в день Митрофанов сочинял на ходу стихи, Ивова писала фельетоны и чистила красноармейские письма, а Васев бегал в типографию, в штаб и поарм за «материалом».

Изо дня в день Ивова, утомленная бегом Митрофанова по редакции, просила: — Да сядьте, вы, ради чорта, не маячьте, я писать не могу.

И редактор отвечал, становясь в позу:

— Я, товарищ, вам не какой-нибудь Пушкин, в лежачем состоянии муза меня не приемлет. Учтите и то — повышенное кровообращение способствует стихосложению.

Обычно, покончив со стихами, Митрофанов сурово спрашивал:

— Товарищ Ивова, время не терпит, готова «Белогвардейская сволочь и рабочие Германии»?

Валентина, вытирая об гимнастерку кляксу на пальце, сердито огрызалась:

— Сегодня я пишу о холере.

— Ублажили... Никаких холер в феврале не требуется. Кто редактор — я или вы?

Изо дня в день запыхавшийся Ваня вносил успокоение:

— Что я вам скажу, товарищи... Гудермес нами взят.

Мальчик размахивал, как знаменем, свежей сводкой «для печати».

Валентина не была тверда в географии, но слова «нами взят» звучали для нее победным гимном. Вместе с Васевым, наступая на складки его шинели, она принималась плясать в присядку.

Митрофанов то хмурился, то улыбался. — Детский сад, а не редакция штабного органа «Красноармеец», — говорил он с притворной угрюмостью. Под вечер весь редакционный штат углублялся в чтение подоспевшей почты — красноармейских писем.

— Учитесь писать, т. Ивова, у этого красного воина, — патетически восклицал «Дед глаз»...

— Свою боевую задачу мы выполнили, показали генералам Кузькину мать. Хотя сейчас мы на отдыхе, но полон наш день. Учимся сами и другим чем можем помогаем. Нужен крестьянину ученый человек, нужно знание. Один старичок тутошний говорит нам: «Не пустим вас, милые, из села, поживите. Генеральский сор не легко нам одним из избенки вымести». — Рады, поможем, но перво-наперво своим, нашей Красной армии.

После отъезда Талге и Линева Ивова чаще встречалась с Рутбергом. Из поарма он нередко заходил в редакцию с каким-нибудь сѣдобным гостинцем. Несмотря на скрытность Бориса, Валя угадывала, что нравится ему. Несложные, вполне исчерпывающие чувственную потребность отношения замагитотдела с штабной телефонисткой Любочкой давали ему возможность бескорыстно и «красиво» любить Ивову.

Однажды, впрочем, зайдя вечером в редакцию, Рутберг нерешительно попытался заговорить о своем одиночестве, тоске по чувству и дружбе.

— Брось, Борька, размазывать, не такое теперь время, — настаивательно отвечала Ивова, думая про себя о том, какой синий у него с мороза нос.

XVI

Весть о назначении начпоармом Virginии Сергеевны Тайзель особенно взбудоражила Валентину. Храбрость т. Тайзель вошла в поговорку, она осуществила все то, о чем беспомощно и славолюбиво мечтала Ивова втихомолку.

В критические дни на фронте Тайзель задержала отступление, расстреливая дезертиров. Она вела в атаку полки и одерживала победы.

Валентину удивило, что Virginия не высока ростом. Низенькая, одутловатая от болезни сердца, нажитой в годы подполья, желтая от недостаточного света в одиночных камерах, где прошла половина ее жизни, Тайзель ничем внешне не напоминала героический образ, проникший в воображение с плохеньких картин, театральных подмостков и книжных обложек.

На общем партийном собрании в первый же день по приезде Тайзель спросила, тыча бесцеремонно пальцем в угол, где сидели Лидия и Калерия:

— Это что еще за барышенки?

Рутберг, пригнувшись настолько, чтобы смотреть на начпоарма снизу вверх, отвечал на ее вопрос.

На следующий день Лидия и Калерия получили предписание выехать в запасные части.

Вскоре Тайзель позвала к себе Валентину. Перескакивая через две ступеньки лестницы, бежала Ивова на желанное свидание. Ее затаенной мечтой вот уже несколько дней было подражать необыкновенной низенькой женщине. В коридоре близ кабинета начпоарма Валентина услышала прерывающийся пискливый голос:

— Шкурн-и-ик, весь мир смотрит на большевиков, а вы смеее позорить партию... пьянствовать на фронте. Знаю, молчать, знаю... Личные выгоды для вас выше всего, отправляйтесь сейчас же в полк, трусы, во-о-о-н...

Из кабинета выскочил мужчина с продолговатым лицом, с торчащими усами:

— Товарищ, товарищ, пойте, мы знакомы, помните Орел... бомбы... теплушку, — крикнула опешившая Валентина, но Рутберг, появившийся в дверях, позвал ее к начпоарму.

Виргиния Сергеевна сидела у письменного стола, ритмично ударяя карандашом по папке дел.

— Друг мой, — обратилась она к Валентине, — позвольте мне дать вам материнский совет — остригите волосы.

Ивова тупо посмотрела на поворящую, тщетно выискивая ответ.

— Жалко, длинные, — вырвалось непроизвольно.

— Тогда закладывайте их пучком, как я. Это займет не больше 5 минут. Носить спущенную косу в Политотделе неудобно, точно так же, как и расстегнутую гимнастерку, — голос начпоарма зазвучал строго: — Шея должна быть закрытой, вы в армии.

Треск телефона прервал ее нервную речь.

— Кстати, — испытующе глядя, сказала Виргиния уходящей Валентине, — вы, вероятно, поглотили немало французских романов Бурже, Прево?

— Не знаю, — беспомощно отозвалась полиграфотница, теребя фуражку.

— Я слышала, вы были дружны с этой омерзительной... как ее...

— Сергеевой, — подсказал Рутберг.

— Да, да, — Тайзель приторно улыбалась.

По прошествии недели Ивовай приказали выехать в действующие части. Накануне отъезда Валентина еще раз зашла к начпоарму. От бессонных ночей, постоянных волнений и деловой перегрузки Виргиния Сергеевна заметно исхудала, потемнела, как мощи. Глаза ее болезненно, фанатически блестели. Валентина, не выдержав испытующего, подозрительного взгляда начпоарма, опустила веки.

— Вы просили сапоги, — сказала Тайзель раздраженно, — я, конечно, отказала.

Валентина с сожалением посмотрела на грязные обмотки, вылезавшие, как бурый язык, из пасти-прорехи между голенищем и подметкой.

— Красноармейцы голы и босы, а политотдельские шкурники выпрашивают белье и сапоги, — позор, безобразия.

На поясе Виргинии рядом с кольцом звенела связка ключей от бельевого склада.

— Вы поедете в бригаду. Это в ваших же интересах, может быть. Мне удастся вырвать вас из атмосферы разложения и гнили. Я все знаю... не прерывайте... подобно Сергеевой, и вы отрывали мужчин от работы, но здесь, чорт возьми, фронт, — Виргиния вскочила с кресла.

— Вы смаковали половые темы, превращали Политотдел в лигу любви. Гнать, гнать вас надо... на фронт... под пули. Вон отсюда.

Тайзель упивалась нараставшим в ней бешенством. Рыдая, выбежала из кабинета начпоарма Валентина.

Полпути в N-скую бригаду Ивова проделала на тендере паровоза. Стояла первая оттепель. Поджав ноги, прикрывшись шинелью, часами смотрела она на полосатые поля, на вылезавшие из-под снега деревни, на мутные, как похлебка, речушки, в которых плавали пухлые, разрыхленные, точно клецки, льдины. Ночевать она попросилась в теплушку инспекции пехоты, оборудованную под жилье.

У железной печки при свече играли в «шестьдесят шесть» инспектора. Упитанная поддельная блондинка готовила ужин. Окончив стирку, она увела Валентину на нары и, пудря нос, затараторила:

— Знаете, деточка, я так соскучилась по женщине, ужасно. Вы, верно, думаете, как она сюда попала, это про меня-то? Я, знаете, разыскивала мужа, но получилась маленькая неприятность. Сергунчик, оказывается, умер от тифа. Я плакала, плакала, страшно изнервничалась. Одна на войне, в армии, ужасно. К счастью, помогал Виктор Павлович, вот тот толстенький. Такой сострадательный, любезный оказался, ужасно.

За ужином инспектора развлекали «дам» шутками.

— Маргоша, в каком вы профсоюзе? — приставали к блондинке.

— Ах, оставьте, Виктор Павлович.

— Маргоша, кроме шуток, в профсоюзе маляров, вы работаете красками? — Инспектора смеялись.

Валентина с сожалением вспоминала о тендере. Ей было скучно и неловко.

— Грешно, грешно; такая молоденькая и такая неженственная, — обратился к ней Виктор Павлович.

— Природа возмущена и я также, сударыня, неестественно, ненатурально: шинель, сапоги, фуражка, — ведь вас одеть — прелесть получится, впрочем, коммунизм и все такое — отличные идеи.

После еды Маргарита продолжала признания.

— Вы, дуся, не думайте, что я развратная женщина. Но, знаете, одной женщине на фронте так трудно, ужасно. Мужчины, как кобеля, извините, деточка, принимают. Виктор Павлович к тому же ужасно прекрасный человек. В Бахмуте создал он мне такую обстановку: фрукты, вино, конфеты, абажур, а у меня жгучий темперамент. Не жа-

лею, нет, нет. Обожаю красивые моменты. Как знать, может быть, и нашла свою судьбу.

Валентина покорно слушала блондинку и думала о Калерии, о Тайзель. Семь месяцев была она уже в армии.

Ночью Валю преследовали жестокие кошмары. Промелькнули пыльный Дождинский вокзал и девочка на платформе в коротенькой юбочке, белых носочках и туфлях возле пухлого, как пирог, чемодана.

— Детей на фронт не требуется, уезжайте к папе и маме, — сердито говорил беловолосый, обросший, как елочный дед, начсанчасти армии. Ивова протягивала комсомольский билет, плакала и просила: — Не гоните.

— Как не гнать, а эротическая атмосфера, а разложение, — кричал старик и превращался в Виргинию.

— Не верь ей, для кого ты бережешь себя. У него опыт есть, я знаю, — шептала Калерия и целовала Адольфа.

Визжа от ревности, Ивова бросалась на подругу с открытым перочинным ножом, но нож вдруг оказывался иодистым тампоном, а лицо Калерии превращалось в оголенную жирную спину.

Валя шептала: — Стойте спокойнее, больно не будет, — и намалевывала коричневый круг на лопатке.

XVII

На предельном (дальше поезда не шли) полустанке Ивова встречала заворга Линева.

— Клуб бригады ищешь, — рассмеялся он, — ищи ветра в поле, не до того нам теперь, опять вышла кой-какая заминка, бои не прекращаются, к тому же тиф проклятый косит. Ну, да настроение как никогда крепкое, все за нас, история за нас.

— Ну, Вильсон не очень, — сказала Валя, вспомнив передовую Митрофанова.

— Что нам Вильсоны, сколько на одного Вильсона рабочих приходится по-твоему? Кстати, ты никак санитарка, у меня для тебя есть дельце.

Нахмурившись, Линева повел Ивову к клуне:

— Вот тебе помощница, — представил он Валентину седому сутулую врачу.

В клуне, пропахшей сеном, человеческим потом, лошадьми и навозом, толпились легко раненые в руку красноармейцы.

Валентина проворно разматывала загрязненные тряпки и бинты, обнажая гноящиеся, кровоточащие ладони, раздробленные пальцы. Старик-врач, подводя красноармейца к свету, проникавшему сквозь растворенную дверь, долго, внимательно разглядывал рану и напряженно командовал: — Становись направо, налево.

Покончив с осмотром, Валентина с врачом пошли к станции.

— Направо я отсылал самострелов, разлагатели они и дезертиры,—сказал больным, упавшим голосом старик.

— Ого, немало таких оказалось, а что с ними сделают дальше?

— Каждого десятого расстреляют. Мы на войне,—прибавил врач, подметая впечатление, произведенное его словами.

XVIII

Небо было взлохмоченным и серым, как потеряя временем овчина. Валентина сидела у окна низкой, погнившей, как отслуживший гроб, коричневой хаты. Канонада заглушала человеческие голоса, хрюканье растерянно бродящих по деревенской улице свиней, беспокойно вопросительное кудахтанье кур. На подоконнике перед Валентиной стояла тарелка с остывшей сальной яичницей. Хозяйка избы безмолвно суетилась у печи,— к орудийной пальбе она давно привыкла, но от постоянной неуверенности и частого страха движения ее были скованными и осторожными, точно в доме находился тяжело больной.

— Скидывали бы штаны, в случае чего примуть за комиссара, приконьчуть,—сказала крестьянка, бросив на Валентину исподлобья сострадательный взгляд, и протянула самотканную юбку.

Валентина отказалась, поблагодарив, отодвинула яичницу — от непрестанных волнений последних дней ее тошнило — и вышла из хаты.

На станции, в версте от деревни, ей сообщили, что положение остается тем же: N-ская бригада все еще окружена десантом белых, высадившимся в приморском Салькове и напавшим с тыла. Валентина поплелась обратно в деревню. Стрельба усиливалась. Бои шли всего лишь в нескольких верстах от станции и села. Навстречу Ивовой неслись верховые с пакетами-донесениями, отчаянно дребезжа и раскачиваясь, проезжали тачанки с пулеметами, людьми, медикаментами. Сосредоточенно прошла рота — подкрепление.

Измученная непрекращавшейся боязнью Валентина опустила на рыхлую, мокрую весеннюю землю. Нелепые, бессвязные мысли полезли, перегоняя одна другую. Где-то очень глубоко в мозгу оставалась надежда, почти уверенность в том, что все обойдется, кончится добром, но как и когда-то в дни раннего детства приятно было думать о смерти. Думы эти делали смерть невозможной.

Внезапно неподалеку от Ивовой с жутким протяжным волчьим воем, взметнув комья земли, разорвалась граната. Липкий ком шлепнулся на Валентино колено. Оглушенная взрывом девушка с каким-то подсознательным суеверным страхом поползла к большой воронке, на дне которой лежали еще теплые осколки. — Два раза в одно и то же место не попадет,—успокоила она себя. Когда мысль заработала с прежней ясностью, Валентина попыталась вообразить свой изуродованный труп, отчаяние родных и Адольфа, газету «Красноармеец» с

прочувствованным некрологом, печальные лица друзей и в особенности запоздалое раскаяние и слезы Тайзель.

— Я ее не понимала, — терзалась Виргиния.

Валентинё стало нестерпимо жаль себя, и тихие слезы сменило полуистерическое рыдание. Оплакивая возможность своей гибели, она позабыла о канонаде и не замечала усиливающегося дождя.

— Товарищ Ивова, что с вами? Этак нетрудно простудиться. Еще лучше... уж не ранены ли вы?

Старик, бригадный врач, слез с телеги и пошел к Валентине, лежавшей навзничь на мокрой земле. Ивова с трудом привстала: ей было стыдно и досадно, что она невредима.

— Отправляйтесь на село, да поскорее... — тревожился врач. — Н-да, попали вы в переплет. Комиссар бригады ранен, к счастью, неопасно. Вот тиф, это—бич, тиф и дезертиры. Ну, до свиданья, до свиданья, кстати, пятый день таскаю вам письмо. Вот, Линеv просил передать.

Валентина пошла к селу. Голова ее ныла, тошнота становилась непереносимой. В хате, штабе бригады, она вспомнила о письме и распечатала его. Отчаянный озноб мешал ей читать.

Рутберг писал:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Здравствуй. Как живешь, Валентинка, и где тебя носит? Думаю, революция от твоего возвращения к нам, в тыл, так сказать, особенно не пострадает, потому покорнейше прошу воротиться. «Мы куем коммуну», как говорит Линеv, как умеем. Вчера спорили часов пять в ячейке об единоначалии, впрочем, ты в этом вряд ли покудова чего-нибудь смыслишь. Почти все политотдельцы пребывают в тифу. Виргиния, я, да еще 2—3 человека вывозим всю работу, «ни сна, ни отдыха». Неужто Адольф, Линеv и ты первые в Крым войдете, — завидую чорта с два. Забыл, однако, о самом главном — Красный помер. В теплушке во время переезда из Купьянска в Бахмут.. Жаль парня, не дождался ни Крыма, ни международной революции. Умирал легко, смерти вовсе не ждал, так-таки и осталась недописанной инструкция о клубах. Вчера похоронили, тов. Виргиния сказала замечательную речь, наши салютовали. Ему-то, впрочем, не было слышно. О Калерии ходят дурные слухи, говорят, совсем испоганилась, запыла. Как ты думаешь насчет того, чтобы Крым превратить в величайшую советскую здравницу? Пошлем туда рабочих, крестьян со всех концов РСФСР. У меня на этот счет превеликие планы. Приедешь — расскажу. «Дед глаз» и Ваня ждут тебя, как и я. Не задавайся, обстрелянная ворона, и приезжай. Рутберг».

Валя с трудом дочитала и, не почувствовав ни сожаления, ни грусти, разорвала письмо и улеглась на лавке.

Приближалась ночь, стихла канонада. Валентина тихонько запела. Ей казалось, что песни ее не слышно, но люди за столом, склоненные над картами, удивленно подняли головы, и один даже встал, направляясь к скамейке. Валентина пела во весь голос и беспричинно смеялась. Неодолимая истома мешала ей подняться и стать на ноги.

— Этого еще не хватало, да она горит, ох, уж это бабье, зачем только их на фронт пускают, одни хлопоты.

— Какое я тебе бабье, вообще, товарищ, такие слова непозволительны, — ответила Валентина и опять протяжно рассмеялась.

— Отчего это я смеюсь, мне не жаль, совсем не жаль Семена, он умер, ну и что ж... все помрем,—последнюю мысль Ивова высказала вслух.

В санлечулке на деревянной стене Валентине чудились клопы, бесформенные, как капли крови. Образуя странные узоры, они ползли рядом с лицом больной, устремляясь на бязевую наволочку подушки. Валентина вела с ними ожесточенную борьбу, ударяла ладонями по стене, но клопы выползали из-под рук, проскакивали между пальцев и валились на простыню. Валентина в ужасе шарахалась, вскакивала с постели, но, не имея сил удержаться на ногах, падала, закрывая руками лицо и умоляя помочь ей избавиться от насекомых. Ее мучило небо. Оно бывало то голубым, режущим глаза, и тогда облака блестяли как огромно-крылые аэропланы, то пасмурным и серым, как больничное одеяло, которое так жестоко враждебно давило больную.

На пятый день болезни врач, взглянув на покрасневший от сыпи живот Ивовой, спокойно сказал:

— Сыпной тиф, как я и предполагал.

Клопы, небо, одеяло перестали тревожить Валентину, на смену пришло бездумное, тупое безразличие.

На одной из станций в вагон, где лежала Ивова, вошел Талге. Валентина не удивилась, не обрадовалась, сказала равнодушно: — Да, узнаю, — и попросила свежего воздуха.

Адольф казался ей то рядом, то где-то далеко. Слезы, упавшие из его глаз на худую, обессиленную руку, едва охладили горячие пальцы. Адольф спрашивал кого-то и кто-то отвечал:

— 40 и 7 десятых, кризис дня через два, сердце на камфоре, возможно... сдадим завтра в госпиталь в Александровске, не беспокойтесь.

Уходя, Адольф положил влажную от его слез руку Вали поверх одеяла и сказал что-то, не доходящее до ее сознания.

Больная закрыла глаза, во рту было сладко, как во время хлороформирования, и со стен, с неба, из двери, за которой скрылся Адольф, хлопая крыльями, налетели черные птицы.

«Вороны, вороны, Рутберг писал что-то о воронах» — думала она.

Птицы летели, открывая и закрывая клювы, но, поровнявшись с нею, отлетали прочь и сызнова нападали. Потом стало темно, птицы точно загородили свет огромными крыльями.

XIX

Вторую неделю находясь в командировке, заворгполитотдела жил в Мелитополе, на окраинной улочке в белой мазанке вдовы ветеринарного врача.

После восемнадцатичасового рабочего дня низкая покойная комната с пестрой геранью на окнах, с отягощенной историческими наслоениями мебелью далеких 40-х годов, с тикающими часами на увешанной полинялыми портретами стене давала напряженным нервам заворга целебную разрядку.

— Жить в такой обстановке гибель, но для отдыха — первейшая санатория, часы с'езжают на тормозах, дни плетутся на дрогах, — писал он друзьям в ставку армейского штаба.

Дожидаюсь Талге, Линеv прохаживался по палисаднику, глубоко вдавливая в потрескивающую талую землю плотные подметки сапог.

Небо слезливо морщилось тучами, с крыш монотонно стекало серое жито, в воздухе пахло гнилой травой, птицами, набухающими почками акаций. Подступала весна.

Линеv заметил Талге издалека. Он приближался, сутулясь и опустив голову, точно в глубоком раздумье. Из-под ног Адольфа, обу-тых в ботинки и краги, каскадами взлетала грязь. Друзья обнялись и вошли в дом.

Вдова ветеринарного врача, приоткрыв двери, с тоской посмотрела на сочные пятна — грязь, оставленную двумя парами ног на розовых платях пастушек, танцующих на французском ковре.

Линеv закурил «самоделку» и заговорил с обычным веселым добродушием:

— Слыхал о твоих подвигах, Адоша, молодец. Правда ли, что свыше 20 боев выдержал, а невредим? Пуля, знать, не берет — счастливец! О тебе много разговору в штабе, иначе и быть, впрочем, не может. Смельчак-комиссар для красноармейцев — первое дело.

Едва ли мгновение на лице Адольфа продержалось самодовольство.

— Странная штука, смерть не берет тех, кто сам в ее лапы лезет, — заметил он, искривив губы.

Линеv не обратил внимания на его слова. Заговорили о положении на фронте.

— Скажи, Вячеслав, — спросил вдруг Адольф и зашагал по комнате, — нужен ли я действительно партии или нет?

Он не дал Линеvu ответить и продолжал, морщась и напрягаясь, точно отвинчивал краны мозга, выпуская всю накопившуюся муть сомнений и горестных мыслей.

— Таким, как я, нет места в революции. Звания коммуниста достоин только образцовый человек, полноценный, как ты, например, — а я вошь, да, вошь, больная, тифозная. Не прерывай, Вячеслав, не го-

вори, что хуже меня найдутся... Таких, — он прижал ноготь к сукну стола, точно убивая насекомое, — уничтожать, чтобы не пакостили.

Ты не веришь тому, что́ я подлец. Когда ты сидел по тюрьмам, я пьянствовал, прожигал жизнь, гнил... Однажды, не так давно, едва Валентину не погубил и вполне сознательно... Какой-то счастливый инстинкт самосохранения её уберег. Вы все не знаете меня. В 24 года я уже старик. В конце концов революцию я воспринял только как искупление развратничания, гульбы... мечтал возродиться, найти цель, принести пользу... Однако, такие как я, как холерные бактерии, размножаются, заражают окружающих. Смею ли я жить... любить Валентину. Впрочем, не умерла ли уже она.

На лбу Адольфа блестили мутные, как талый снег, капли пота, глаза застлали слезы. Он, казалось, не слышал возмущенных упреков Линева. В тот же вечер Талге пришел опять и остался ночевать у Вячеслава. С прежней страдальческой горячностью он продолжил утреннюю беседу.

— Ты меня и в чем не переубедишь, Вячка, жить далее мне незачем. Я отброс, грязный человеческий хлам, не сберег себя ни для революции, ни для любви, вообще ни для чего...

Когда Адольф уснул, обеспокоенный Линева подобрал со стола револьвер и спрятал его под свою подушку.

Засыпая, он думал о том, что Талге переживает «кризис роста», винится в несуществующих своих ошибках, прикрывая этим несложную тоску по любимой девушке.

На рассвете Адольф разбудил друга:

— Валентина мне только что снилась, агонизирующая, и отец, умерший лет 15 тому назад. Ах, Вяча, умирать не легко. Мне кажется, веру в бога выдумали из страха перед смертью. Жутко представить свое тело, раздираемое червями, и знать, что после ничего нет...

— Еще бы, то ли дело утешительное бессмертие души или рай, садик, в роде Крыма, не так ли? — прервал, деланно смеясь, Линева. — Вот что я тебе скажу, не дури, паря, говори напрямки, чем болен, — голос заворга звучал повелительно.

Талге отвернулся к стене, притворяясь засыпающим.

— Если и дрянь болезнь, не беда, излечим, пользы от тебя больше, чем вреда от этой самой болезни, не хнычь, кисель ты, Адольф, не с такими революцию делать, даже бога захотелось, н-да, а я думал, что ты железо, — презрительно бросал, ворочаясь на скрипящей кровати, Линева.

В 8 часов того же утра вдова ветеринарного врача подошла к комнате Линева с самоваром. Приоткрывая дверь, старушка в страхе качнулась назад, уронив звонкий поднос и ошпарив себя кипятком...

В комнате заворга раздался револьверный выстрел.

XX

Медленно поправлялась Валентина. Руки все еще не слушались, ноги были шаткой опорой исхудалому, обессиленному телу. Она забывала имена, числа, лица знакомых, происшедшее до болезни отдалось на многие десятилетия, потеряло убедительную отчетливость. Растерялись и смазались воспоминания детства.

— Я не помню ни глаз, ни голосов друзей, близких, — жаловалась девушка. О Талге она не расспрашивала, точно оберегая свой покой.

Апрельским утром с убогим узелком и удостоверением о выздоровлении Валентина вышла из госпиталя. Пряный аромат распускающейся зелени совсем обессилил ее. Рутберг почти что на руках донес Ивову до дому.

После тифа первое Валентино волнение вызвали плохо сколоченные гроба, пронесенные мимо окон Политотдела. Они воскресили в памяти выздоравливающей затхлую вонь госпитальной палаты, переполненной людьми, бредовые стоны, шумные агонии где-то рядом с ее койкой, сменявшиеся красноречивым затишьем, мелькающие в потемках носилки, торопливый вынос трупов на рассвете.

Валентина заплакала, и слезы ее точно размыли матовый налет забытья и безразличия. Она очнулась, ожила, стала поправляться, хоть и вызывала попрежнему всем своим видом жалость и сострадание. Никто не хотел причинять ей новое горе рассказом о конце Адольфа. Рутберг неумело попытался подготовить девушку к предстоящему известию.

— Брось думать об Адольфе, — говорил он с подозрительной горячностью и смущением, — он парень нестоящий, говорят, пьянствует и развратничает.

Валентина, ничего не подозревая, слушала Бориса с каким-то злобным удовольствием. Она мстила этим забывшему ее Талге.

В начале мая в армейский тыл вернулся Линеv. Преисполненный пафосом войны и победы, он без умолку рассказывал Валентине о военных операциях и героизме красноармейцев:

— За час до рассвета собрал командир нас в поле, я участвовал в качестве рядового красноармейца. Предстояло громить белый десант. Небо было еще ночное, темное, и командира, кстати, земляка моего, тоже приволжский рабочий с Мотовилихи, хоть он и стоял на лушке, вовсе не было видно, только голос его, этакий сочный баритон, отлично разносился. Речь его я запомнил — простецкая, но проникновенная: — Сегодня, — говорит, — многих из нас не станет, но помните, братья мои, что мы идем в последний и решительный бой. С лучшими генералами и стратегами. Помните, говорит, дорогие, что не с русской, а с мировой буржуазией вступаем мы сегодня в бой.

Бойцы стоят насупившись, сжимают винтовки, кулаки, глаза у них горят, понимаю, у каждого своя дума, а у всех одна. Не передать этого словами, но забыть нельзя. Эх-ма, то-то Адольф порадовался бы...

Ивова удивленно спросила:

— Разве Талге ушел из бригады?

Линев досадливо поморщился и, помолчав, резко сказал:

— Ты человек сильный и мне обидно, что тебя здесь тряпичной куклой считают. Тоже народец, обязательно всякие там мармеладные фигли-мигли нужно развести...

— Что, что? — испугалась Валентина и впилась ногтями в пустой рукав шинели Линева, болтавшейся на его плечах.

— И скажу, обязательно расскажу, — будто убеждал себя Линев, — ты не кисельная барышня, ты большевичка.

— Скорее, скорее, — молила Ивова.

— Талге умер, застрелился больше месяца назад, — выпалил заворг, — я револьвер с вечера припрятал, а он его ночью вытащил. Долго я тем, что не досмотрел за ним, мучился... Сифилитиком, оказалось, был... Ну, да это дело конченное, прошлое... Не плачь, Валька, нехорошо, ни к чему слабость эта, ты ведь коммунистка...

Линев растерянно гладил опущенную голову девушки. Валентина рыдала, всхлипывая, сопя, что-то приговаривая, как очень маленький ребенок. Слезы вытекали, казалось, из каждой поры ее лица.

XXI

Спустя две недели Линев провожал Валентину, уезжавшую в Москву.

— Ну, расти большая, умная, учись на рабфаке как след, — говорил он поощрительно, покуда Рутберг бегал в буфет за провизией на дорогу.

— Армия, братец мой, суровая школа, больно бьет по башке, засоренной всякой там дешевой романтикой, но уж если уцелеешь, выдержишь проверку, — польза получится немалая.

Валентина опустила голову:

— Когда-то в дни ребячества, — ответила она тихо, — мечтала я о том, чтобы пережить что-либо необыденное, книжное. Жизнь разоблачила мои желания, но я рада, хоть и больно, очень больно. Адольф... угроза заразиться от него сифилисом... б-р-р... Вот она одна сторона жизни, но ты прав, Вяча, это только кусочек жизни. Я не озлоблена, не ворчу, нет. Знаю, люди многообразнее, великолепнее, чем могу сама себе представить... Я хочу и буду учиться, работать, добиваться счастья...

— Bravo, у тебя артистический талант, отлично декламируешь, — прервал Валентину появившийся на перроне Рутберг, нагруженный хлебом, колбасой, корзинкой с вишнями.

Ивова, пожав снисходительно плечами, продолжала, не переставая жестикулировать, с показным пылом:

— Как много надо прочесть, продумать, сделать, понять, Вячеслав, чтобы оправдать свое существование, чтоб быть не только

человеком, но и большевиком, я хочу сказать — лучшим передовым человеком.

— Слова обязывающие, — пробурчал Рутберг. — Как бы только не забылись они при первой же потребности эгоизма вдвоем...

— Эгоизма вдвоем, — повторили, засмеявшись, Линеv и Валентина. — О, нет, я теперь сильная, — важно ответила Ивова. — Я даже не коллекционирую больше писем, не засушиваю подаренных цветов, жгу дневники и вычеркиваю прошлое.

Она вытащила из кармана блокнот: — Вот записка Талге, над которой я пролила немало слез.

— «Любить В. значит погубить ее, отказаться — нет сил. Я подлежу уничтожению, как тифозная вошь...» — почти равнодушно прочла Валя и разорвала листок на мелкие кусочки.

— Театральный жест, — холодно отозвался Рутберг. Линеv, улыбаясь, похлопал Валю по плечу.



Петр Первый

Повесть

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

Белоглазая галка, чего-то испугавшись, вылетела из-под соломённого навеса, села на дерево,—посыпался иней. Кривой Цыган поднял голову,—за снежными ветвями малиново разливалась зимняя заря. В полусвете медленно поднимались дымы,—хозяйки затопили печи. Повсюду хруст валенок, покашливание,—скрипели калитки, тукал топор. Яснее проступали крутые крыши между серебреными березами, курилось розовыми дымами все Замоскворечье: крепкие дворы стрельцов, высокие избы и амбары гостинодворцев, домишки разного посадского люда,—кожевенников, чулошников, квасельников... У каждого свой двор, каждый похаживает хозяином.

Суетливая галка прыгала по ветвям, порошила глаза снегом. Цыган сердито махнул на нее голицей. Потянул из колодца обледенелую бадью, лил пахучую воду в колоду. В такое ядреное воскресное утро горькой злобой ныло сердце... «Доля проклятая, довели до кабалы... Что скот, что человек... Сам бы не хуже вас похаживал вкруг хозяйства...» Бадья звякала железом, скрипел журавель, поднималось приязанное к его концу сломанное колесо.

На крыльцо вышел хозяин, стрелец Овсей Ржов, шерстяным красным кушаком подпоясанный по нагольному полушубку. Крякнул в мороз, надвигая шапку, натянул варежки, зазвенел ключами:

— Налил?

Цыган только сверкнул единым глазом,—лапти срывались с обледенелого бугра у колоды. Овсей пошел отворять хлев: добрый хозяин сам должен поить скотину. По пути ткнул валенком,—белым в красных мушках,—в жердину, лежавшую не у места:

— Этой жердью, ай, по горбу тебя не возил, страдничий сын! Опять все раскидал по двору...

Ототкнул дверь, подпер ее колышком, вывел за гривы двух сытых мерингов, потрепал, обсвистал,—и они пили морозную воду, поднимая головы, глядели на зорю, вода текла с теплых губ. Один за-

¹) См. «Новый Мир», 1929 г., кн. кн. 7—12 и кн. кн. 1, 2 с. г.

ржал, сотрясаясь... «Балуи, балуи» — тихо сказал Овсей. Выгнал из хлева коров и голубого бычка, за ними, хрустя копытцами, тесно выбежали овцы. Цыган все черпал, надсаживался, облил портки. Овсей сказал:

— Добра в тебе мало, а зла много... Нет, чтобы со скотиной поласковой, одно—глазом буровить... Не знаю, что ты за человек...

— Как умею, так могу...

Овсей недобро усмехнулся,—ну, ну!.. При себе велел задать коньям и скотине корму, кинуть свежей подстилки. Цыган раз десять ходил в дальний конец двора к занесенным снегом ометам, где на развороченной мякине суетились воробьи. Наколот, натаскал дров. В синеве осветились солнцем снежные верхушки берез. Звонили в церквах. Овсей степенно перекрестился. На крыльцо выскочила круглолицая с голубыми глазами, как у галки, небольшая девчонка:

— Тятя, исть иди скореея...

Овсей обстукал валенки и шагнул в низенькую дверь, хлопнув ею хозяйски. Цыгана не звали. Он подождал, высморкался, долго вытирал нос полою рваного зипунишки и без зова пошел в теплый, темноватый полуподвал, где ели хозяева. У дверей боком присунулся на лавку. Пахло мясными щами. Овсей и брат его Костентин, тоже стрелец, не спеша хлебали из деревянной чашки. Подавала на стол высокая суровая старуха с мертвым взором...

Братья держали лавку в лубяном ряду, торговые бани на Балчуге и ветрянную мельницу да снимали у князя Одоевского двадцать десятин пахоты и покоса. Раньше работали сами (в крымский поход не ходили), а теперь от царя Петра не было отдыху: каждый день жди то наряда, то в строй, в поход. Стрельцам стоять в лавках, в банях не велено. На батраков поручиться нельзя. Работать приходится женам да сестрам, словом—бабам. А мужеская сила идет на царскую вздорную потеху.

— Что летом будем делать с уборкой—ума не приложу,—говорил Овсей. Прижал к груди каравай, царапая им по холщевой рубахе, отрезал брату и себе. Вдохнули, откусили и опять, потряхивая мясо на ложках, принялись за шти.

— С батраками стало опасно,—сказал Костентин,—новый указ...

— Что ты?

— Беспременно выдавать всех гулящих и беглых, кто без поруки живет по слободам али в харчевнях, в банях, в кирпичных сараях...

— Как же, если он работает?

— Ну, и отвечай за него,—наравне, как разбойника, укрываешь... Ты у Цыгана брал поручную запись? Кто он таков?

— Шут его знает. Беглый откуда-то... Молчит...

— Не отпустить ли его от греха...

Когда вошел Цыган и, обирая с бороды лед, буравил глазом братьев, Овсей сказал громко:

— Да он мне и сам надоед...

Помолчали. Хлебали. Цыгана знобило от духа хлеба и щей. Кинув сосульку под порог, проговорил хрипло:

— Про меня, значит, разговор?

— А хоть бы и про тебя.—Овсей положил ложку.—Седьмой месяц жрешь хлеб, а кто ты, чорт тебя знает... Много вас, безымянных, шатаются меж двор...

— Это как, я—безымянный. Я у тебя крал?—спросил Цыган.

— Ну, я еще не знаю...

— То-то не знаешь.

— А может, лучше бы ты и крал. А вот—почему у меня две овцы сдохли? Почему коровы невеселые, молоко вонючее, в рот нельзя взять... Почему? (Овсей подался к краю стола, застучал кулаком.) Почему наши бабы всю осень животами валялись? А мне и сейчас еда не в прок... Почему? Тут порча! Черный глаз буровит...

— Будет тебе сатаниться, Овсей,—проговорил Цыган устало,—а еще умный мужик...

— Константин, слыхал, как он меня лает? Сатаниться? — Овсей вылез из-за стола, заиграл пальцами, подгибая в кулаки. Цыгану спорить не приходилось,—братья были здоровые, пөевшие. Он осторожно поднялся:

— Не по-хорошему люб, а по любви хорош... Поломал спину на твоём хозяйстве, Овсей,—спасибо... (Поклонился.) Поминай хошь лихом, мне все одно... Заплати только мне зажитые деньги...

— Это какие деньги?—Овсей обернулся к брату, к бабушке, глядевшей на ссору мертвым взором.—Он на береженье казну, что ли, нам отдавал? Али я брал у него?

— Овсей, бога побойся, по полтине в месяц,—два с полтиной моих, зажитых...

Тогда Овсей подскочил к нему, закричал неистово:

— Деньги тебе! А жив уйти хочешь! Бл...й сын, шиш!

Ухватив у шеи за армяк, ударил в ухо, дико вскрикнул и, не нагнись Цыган,—во второй раз убил бы его до смерти. Костентин, удерживая, взял брата за ходуном ходящие плечи, и Цыган вышел, шатаясь. Костентин догнал его и в спину вытолкал на улицу. Долго глядел Цыган единым глазом на ворота,—так бы и прожог их... «Ну, погоди, погоди»—проговорил зловеще... Провел по щеке—кровь. Мимо шли люди, обернулись, засмеялись. Он задрал голову и побрел, топая лаптями, куда-нибудь...

9

— Напирай, напирай, толкайся!..

— Вот, дьявол,—на дороге!..

— Куда народ бежит?

— Глядеть: человека будут жечь...

— Казнь, что ли, какая?

— Не сам же он захотел,—эка...

— Есть которые сами сжигаются...

— Те—за веру, раскольники...

— А этого за что?

— Немец...

— Слава тебе, господи, и до них, значит, добрались...

— Давно бы пора,—табашников проклятых... Зажирели с нашего поту.

— Гляди,—уж дымится...

Пошел и Цыган к берегу, где на кучах золы толпились слобожане. Ему давно приглянулись двое таких же, как и он,—бездомных. Он стал держаться поближе к ним: может, что-нибудь и образуется насчет пищи. Мужички эти, видимо, были пытанные, мученые. У одного, рябого, подвязана щека тряпкой,—прикрывал клеймо каленым железом, Звали его Июда. Другой согнут в спине почти напополам, опирался на две короткие клюки, но ходил шибко, выставляя бородку. Глаза веселые. Поверх заплатавшего армяка—рогожа. Зовут Овдоким. Он очень понравился Цыгану. И Овдоким скоро заметил, что около них трется черный кривой мужик с разбитой мордой,—приподнялся на клюках и сказал ласково:

— Поживиться круг нас, голубок, нечему, сами воруем...

Июда, скосоротясь, сквозь губы проговорил в сторону:

— Терся эдак же один круг нас из тайной канцелярии, ярыжка,— в прорубь его спустили...

«Эге,—подумал Цыган,—это люди смелые...» И еще сильнее захотелось ему быть с ними.

— Смерть меня не берет, окаянная,—сказал он, моргая заиндевельными ресницами,—жить-то значит как-нибудь надо... Вы бы, ребята, взяли меня в артель... Сообща-то легче...

Июда опять—сквозь губы—Овдокиму:

— Не «темный ли глаз»? А?

— Нету, нет, очевидно,—пропел Овдоким и, своротив голову, снизу вверх взглянул в глаз Цыгану.

Больше они ничего не проговорили. Внизу, на льду, притоптывали сапогами, хлопали рукавицами продрогшие стрельцы: они окружали кое-как сбитый сруб, до верху заваленный дровами. Около торчал столб для площадной казни и белым дымом курился костер, где калилось железо. Народ прозяб, ожидая...

— Везут, везут... Напирай, толкайся!..

Со стороны города показались конные драгуны. С'ехали на лед. За ними в простых санях, спинами к лошади, сидели немец и какая-то девка в мужичьей шапке. Далее—верхами—боярин, стольники, дьяк. Позади—громоздкий черной кожи возок.

Стрельцы расступились. Верховые остановились впереди них. Дьяк слез с коня. Возок, под'ехав, повернул боком, но никто не вышел из него... Все глядели на этот возок,—изумленный шопот пошел по народу...

Из-за сруба показался Емельян Свёжей в красном колпаке, с кнутом на плече. Помощники его взяли из саней девку, пинками подтащили к столбу, сорвали с нее шубейку и привязали руками в обнимку за столб. Дьяк громко читал по развернутому свитку, на коем качалась черная печать... Но голос его на трескучем морозе едва был слышен, только и разобрали, что девка—Машка Селифонтова, а немец—Кулькин, не то еще как-то... Из саней виднелись вздернутые его плечи и лысый затылок. Кто-то крикнул: «Эй, погляди на нас, Кулькин...»

Лошадиное лицо Емельяна неподвижно улыбалось. Не спеша подошел к столбу. Снял кнут. И только резкий свист услышали, красный, наискось, рубец увидели на голой спине девки... Кричала она блажно, по-пороссячи. Дали ей пять ударов и те в полсилы. Отвязали от столба, шатающуюся подвели к костру, и Емельян, выхватив из углей железо, прижал ей к щеке. Завизжала, села, забилась. Подняли, одели, положили в сани и шагом повезли по Москве-реке куда-то в монастырь.

Дьяк все читал грамоту. Взялись за немца. Он вылез из саней, низенький, плотный, и сам пошел к срубу. Вдруг сложил дрожащие ладони, поднял опухшее с отросшей темной щетиной лицо и, немец,—залопотал, залопотал, громко заплакал... Подхватили, поволокли на сруб. Там Емельян сорвал с него все, до гола, повалил, на розовую жирную спину положил еретические книги его и тетради и поданной снизу головней поджег их... Так было указано в грамоте: книги и тетради сжечь у него на спине...

С берега (где стоял Цыган) опять крикнули:

— Кулькин, погрейся!..

Но на этого—губастого парня—зароптали:

— Замолчи, бесстыдник... Сам погрейся так-то...

Губастый тотчас скрылся. От подожженного с четырех концов сруба валил серый дым. Стрельцы стояли, опираясь на копья. Было тихо. Дым медленно уплывал в небо...

— Он наперед угорит, дрова-то сырые.

— Немец, немец, а тоже—гореть заживо... ох, господи...

— Грамоте учился, писал тетради, и—вот—на тебе...

Из кожаного возка,—теперь все различали,—глядело сквозь окошечко на дым, на взлизывающие языки огня синее, мертвенное лицо, будто сошедшее с древнеписанной иконы...

— Гляди, очами-то сверкает,—страх-то!..

— Не дело патриарху ездить на казни...

— Людей жгут за веру... Эх, пастыри!..

Это проговорил Овдоким,—звонко, бесстрашно... Все, кто стоял около него, отстранились, не отошли только Июда и Цыган. Топоча клюками, он опять:

— Что ж из того—еретик... Как умеет, так и верует... По-нашему ему не способно, скажем... И за это гори... В муках живем, в пытках...

Огромный костер шумел и трещал, искры и дым завывало воронкой. Некоторые будто бы видели сквозь пламя, что немец еще шевелится. Возок от'ехал на рысях. Народ медленно расходился. Июда повторял:

— Идем, Овдоким...

— Нет, нет, ребяташки... (Глаза у него смеялись, но чистое, как из бани, красное лицо все плакало, тряслась козлиная борода...) Не ищите правды... Пастыри и начальники, мытари, гремящие золотом,— все надели ризы свирепства своего... Бегите, ребяташки, пытаные, жженые, на колесах ломаные, без памяти бегите в леса дремучие...

Овдоким бормотал, как без памяти... У Цыгана волосы шевелились под шапкой... Опосля только удалось увести его,—пошли втроем в переулок, в харчевню, куда вел Июда...

10

Наконец-то Цыган взял ложку,—рука дрожала, когда нес ко рту капающие на ломоть постные щи. Он очень боялся, что его не возьмут в харчевню, и по дороге жаловался на жизнь, вытирал глаз голицей. Овдоким, помалкивая, бежал на клюках, как таракан. У ворот вдруг спросил:

— Воровать умеешь?

— Да я, если артельно,—хоть в лес с кистенем...

— Ох, какой ты бойкий...

— Как ты нас понимаешь, кто мы?—спросил Июда.

Цыган заробел: «Отделаться от меня хотят...» С тоской глядел на покосившиеся ворота, на сугроб во дворе, обледенелый от помоев, на обитую рогожей дверь, откуда шел такой сытый дух, что голова кружилась. Сказал тихо:

— Люди вы вполне справедливые. Что ж, если воруете, так ведь от горя, не по своей вине... Полна земля такими-то... Дорогие мои, не гоните меня, покормите чем-нибудь...

— Мы, сударь, когда жалостные, а когда—безжалостные,—сказал Овдоким.—Смотри-и!—и, взяв обе клюки в левую руку, погрозил ему:— Прибился к нам,—не отнюиваться.. Июда, голубок, ты с добычей?

Июда вытащил из кармана кисет, высыпал на ладонь медные деньги. Втроем сосчитали уворованное. Овдоким сказал весело:

— Птица не жнет, не сеет, а господь кормит. Многого нам не надо,—только что на пропитание... Идем с нами, кривой...

В харчевне сели в дальнем углу, куда едва доходил свет от сальной свечи на прилавке. Народу было немало,—иные по пьяному делу шумели, расстегнув разопревшие полушубки, иные спали на лавках. Овдоким спросил полштофа и горшок щей. Когда подали — стукнул ложкой...

— Ешь, не стесняйся, кривой, это божье...

Отпил из штофа, скрючась над столом, шурша рогожей, жевал часто, по-заячьи. Глаза светились смехом:

— Расскажу вам, ребяташки, притчу... Слушайте, али нет? Жили двое,—один веселой, другой тоскливой... Этот-то веселой был бедный, что имел—все у него отняли бояре, дьяки да судьи, и мучили его за разные проделки, на дыбе спину сломали,— ходил он согнутый... Ну, хорошо... А тоскливой был боярский сын, богатый,—скареда... Дворовые с голоду, с побоев от него разбежались, двор зарос травой... Си-идит день-деньской один на сундуке с золотом, серебром... Так они и жили. У веселого нет ничего,—росой умылся, на пень перехстился, есть захотел—украл али попросил христа ради: которые небогатые, всегда дают,—им понятно... И—ходит, балагурит,—день да ночь —сутки прочь... А тоскливой все думал, как бы денег не лишиться. И боялся он, ребяташки, умереть... Ох, страшно умирать богатым-то... И чем больше у него казны, тем неохочее. Он и свечи пудовые ставил и оклады жертвовал в церковь,—все думал, что бог ему смертный час оттянет...

Овдоким засмеялся, елозя бородой по столу. Протянув длинную руку с ложкой, черпанул щец, пожевал по-заячьи и опять:

— А этот богатый был тот самый человек, кто мучил веселого, пустил его по миру... Вот раз веселой залез к нему воровать, взял с собой дубинку... Туда-сюда по палатам,—видит—спит богатый на лавке, а сундук под лавкой. Он сундук-то не заметил, схватил богато-ва за волосы:—Ты, говорить, тогда-то меня всего обобрал, давай теперь мне сколько-нибудь на пропитание... Богатому смерть страшна и денег жалко,—отпирается. Нет и нет... Вот веселой схватил дубинку да и зачал его возить и по бокам и по морде... (Июда оскалил зубы, загыкал от удовольствия.) Ну, хорошо,—возил, возил, покуда самому не стало смешно... Ладно, говорит, приду в другую ночь, приготовь мне полну шапку денег... Богатый, не будь дураком, написал царю,—прислал царь ему стражу... А веселой был мужик ловкой... Все-таки он эту стражу обманул, пробрался к богатому, за волосы его схватил:—Приготовил деньги? Тот трясется, божится. Нет и нет... Опять веселой зачал его мутузить дубинкой,—у того едва душа не выскочила... Ладно, говорит, приду в третью ночь, приготовь теперь сундук денег...

— Это справедливо,—сказал Цыган.

— Он уж его отмутузил,—смеялся Июда.

— Ну, хорошо... В этот раз прислал царь полк охранять богато-во... Что тут делать? А веселой был мужик хитрый. Переоделся стрельцом, пришел на двор к богатому и говорит: «Стража, чье добро стережете?» Те отвечают: «Богатова, по царскому указу...»—«А много ли вам за это жалованья дадено?..» Те молчат... «Ну,—говорит веселой,—вы дураки: бережете чужое добро задаром, а богатой, как собака на сене, на той казне и сдохнет, вы только утретесь...» И так он их разжег,—пошли эти солдаты, сорвали замки с погребов, с подва-

лов, стали есть, пить допьяна, и, конечно, стало им обидно,—ночью выломали дверь и видят,—богатый трясется на сундуке, весь избитый, обгаженный. Тут наш проворной стрелец схватил его за волосы: «Не отдал,—говорит,—когда я просил свое, отдашь все...» Да и кинул его солдатам, те его на клочки разорвали... А веселой взял себе сколько нужно на пропитание и пошел полегоньку...

К столу, где рассказывал Овдоким, подсаживались люди, слушая—одобряли. Один, не то пьяненький, не то не в своем уме человек, все всхлипывал, разводил руками, хватался за лысый большой лоб... Когда ему дали говорить,—до того заторопился, слюни полетели, ничего не понять... Люди засмеялись:

— Походил Кузьма к боярам... Всыпали ему ума не в то место...

На прилавке сняли со свечи нагар, чтобы виднее было смеяться... У этого Кузьмы курносое лицо с жиденькой бородкой все опухло,—видимо, бедняга, пил без просыпу. На теле—одни портки да разодранная рубаха распояской.

— Он и крест пропил.

— Неделю здесь околачивается.

— Куда же ему итти-то—босиком по морозу...

— Горе мое всенародно, вот оно!—схватясь за портки, закричал Кузьма.—Боярин Троекуров руку приложил!—живо заголил и показал вздутый зад в синих рубцах и кровоподтеках. Все так и грохнули. Даже целовальник опять снял пальцами со свечи и перегнулся через прилавок. Кузьма, подтянув портки:

— Знали кузнеца Кузьму Жемова, у Варвары великомученицы кузня?.. Там я пятнадцать лет... Кузнец Жемов! Не нашелся еще такой вор, кто бы мои замки отмыкал... Мои серпы до Рязани ходили,—чей серп? Жемова... Латы моей работы пуля не пробивала... Кто лошадей кует? Кто бабам, мужикам зубы рвет? Жемов... Это вы знали?

— Знали, знали,—со смехом закричали ему, — рассказывай дальше!..

— А того вы не знали, что ночи Жемов не спит... (Схватился за лысый череп.) Ум дерзкий у Жемова. В другом бы государстве меня возвеличили... А здесь умом моим—свиней кормить... Эх, вспомните вы!.. (Стиснув широкий кулак, погрозил в заплаканное,—в четыре стеклышка,—окошечко, в зимнюю ночь.) Могилы ваши крапивой за-дуют... А про Жемова помнить будут...

— Постой, Кузьма, за что ж тебя выдрали?

— Расскажи... Мы не смеемся...

Удивясь, будто сейчас только заметя, он стал глядеть на обступившие его лоснящиеся носы, спутанные бороды, разинутые рты, готовые захохотать, на десятки глаз, жадных до зрелища... Видимо, кругом него все плыло, мешалось...

— Ребята... Уговор—не смеяться... У меня же душа болит...

Долго доставал из кисета сложенную бумажку. Разложил ее на столе. (С прилавка принесли свечу.) Придавил ногтем листок, где были нарисованы два крыла, наподобие мышиных, с петлями и рычагами. Опухшие щеки у него выпячивались:

— Дивная и чудесная механика,—заговорил он надменно,—слюдяные крылья, три аршина в длину каждое, аршин двенадцать вершков в поперечнике... Машут в роде летучей мыши через рычаги—одним старанием ног, а также и рук¹⁾... Убежденно,—человек может летать! Я в Англию убегу... Там эти крылья сделаю... Без вреда с колокольни прыгну... Человек будет летать, как журавель, только хитрее... (Опять бешено—в мокрое окошко.) Троекуров, просчитался, боярин!.. Бог человека сделал червем ползающим, а я его летать научу...

Дотянувшись, Овдоким ласково потрепал его:

— По порядку говори, касатик,—как тебя обидели-то?

Кузьма надулся, засопел:

— Тяжелы их сделал, ошибся маленько... Человек я бедный, где-я достану матерьялу... Были у меня сделаны малые крылья,—кое из чего, из лубка, из кожи... На дворе с избы прыгал против ветра,—шагов пятьдесят пронесло... А голова-то у меня уж горит!.. Научили,—пошел в Стрелецкий приказ и закричал: караул!.. Схватили и—бить было, конечно... Нет, говорю, не бейте, а ведите меня к боярину, знаю за собой государево дело... Привели... Сидит, сатана,—морду в три дня не обгадишь,—Троекуров... Говорю ему,—могу летать в роде журавля,—дайте мне рублей двадцать пять, слюды выдайте, и я через шесть недель полечу... Не верит... Говорю,—пошлите подьячего на мой двор, покажу малые крылья, только на них перед государем летать неприлично. Туда, сюда, податься ему некуда,—караул-то мой все слышали... Ругал он меня, за волосы хватал, велел евангелие целовать, что не обману. Выдал восемнадцать рублей... И я сделал крылья раньше срока... Тяжелы вышли. Уж здесь, в кабаке,—понял... Пьяный—понял!.. Слюда не годится, пергамент нужен на деревянной раме!.. Привез их в Кремль, пробовать... Ну, и не полетел,—морду всю разбил... Говорю Троекурову,—опыт не удался, дайте мне еще пять рублей, и тогда голову отрубите, — полечу... Боярин ничему не верит: вор, кричит, плут! Еретик! Умнее бога хочешь быть... При себе приказал—двести батогов... Вынес, братцы, все двести,—только зубы хрустели... Да велено доправить на мне восемнадцать истраченных рублей, продать кузню, струмент и дворишко... Что мне теперь голому: лес с кистенем?

— Одно это, страдалец,—проговорил Овдоким тихо, явственно.

Кузьма Жемов пристал к Овдокимовой шайке. Купили ему на толчке валенки и армячишко. Стали теперь ходить по Москве вчетвером,—на базары, к торговым баням, в тесные переулки Китай-города. Юда воровал по карманам. Цыгана научили закатывать зрачок, чтобы

1) Описываемое здесь произошло в 1694 году в Москве.

глазное яблоко страшно вылезало из век, и он пел Лазаря. Кузьме надевали на шею веревку, и Овдоким водил его, как безумного и трясуемого: «А вот сумасшедшему на пропитание,—с дороги, с дороги, катики, а то как бы не кинулся...» Набирали за день на пропитание, а когда и на штоф. Труда было много, а страха еще более, потому что государевым указом таких теперь ловили, вязали и отводили в Разбойный приказ.

Великий пост кончался. Над Москвой все выше всходило весеннее солнце. На солнцепеках капало, таяло, начало пованивать. Снег, размешанный с навозом, уже не скрипел под полозьями. Однажды вечером в харчевне Овдоким заговорил:

— Не пора ли, ребяташки, собираться в дорожку... Жалеть нам здесь некого... Дайте только бугоркам провянуть... Пойдем на волю...

Июда заспорил было: «Малым количеством, без оружия, в лесах погибнем с голоду...»

— А мы,—сказал Овдоким,—перед отшествием на злое дело решимся... (Со страхом посмотрели на него...) Что надо—все добудем... Шапочку снимем: прощай, град престольный, православный, прощай, третий Рим!.. Мук наших один грех не превысит... А превысит,—ну, что ж: значит и в писании справедливости нет... Не трепещите, голуби мои, все возьму на себя...

С весны началось,—коту смех, а мышам слезы. Объявлена была война двух королей: польского и короля стольного града Прешпурха и всея Яузы и Кукуя. К прешпурхскому королю отходили потешные, Гордонов и Лефортов полки, к польскому—лучшие части стрелецких—Стремянного, Сухарева, Цыклера, Кровкова, Нечаева. Дурова, Нормачкого, Рязанова. Королем прешпурхским посажен Федор Юрьевич Ромодановский, он же Фридрихус, польским—Иван Иванович Бутурлин, муж пьяный, злорадный и мздоимливый, но на забавы и шумство весьма проворный. Стольным городом ему определен Сокольничий двор на Семеновском поле.

Вначале думали,—все это прежние Петровы шутки. Но, что ни день—указ, один беспокойнее другого. Бояре, окольные и стольники расписывались в дворовые чины к обоим королям. Петр начал играть неприлично. Многие из бояр огорчились: в родовых записях такого еще не бывало, чтобы с чинами шутить... Ходили к царице Наталье Кирилловне и осторожно жаловались на сынка. Она разводила пухлыми ручками, ничего не понимала. Лев Кириллович с досадой говорил: «А мы что можем поделать, — прислан указ от великого государя, с печатями... Поезжайте к нему сами, просите отменить...» К Петру ехать поостереглись. Думали—так как-нибудь обойдется... Но с Петром не обходилось. Кое к кому из бояр неожиданно вломилась во дворы солдаты, силой велели одеться по-дворцовому, увезли в Преображенское на шутовскую службу... У старого князя

Примкова Ростовского отняли ноги. Иные пробовали сказаться больными — не помогло. Скрыться некуда. Пришлось ехать на срам и стыд...

В Прешпурхе,—издалека виднелись восьмиугольные бревенчатые его башни, дерновые раскаты, уставленные пушками, белые палатки вокруг,—с ума можно было сойти русскому человеку. Как сон какой-то нелепый,—игра—не игра, и все будто вправду. В размалеванной палате, на золоченом троне под малиновым шатром сидит, развалясь гордо, король Фридрихус, на башке—медная корона, белый атласный кафтан усажен звездами, поверх—мантия на заячьем меху, на ботфортах гремучие шпоры. В зубах—табачная трубка... Без всяких шуток сверкает глазами. А взглядишься — Федор Юрьевич. Плюнуть бы,—нельзя. Думный дворянин Зиновьев от отвращения так-то плюнул,—в тот же день и повезли его на мужицкой телеге в ссылку, лишив чести... Царице Наталье Кирилловне самой пришлось ехать в Преображенское, просить, чтобы его простили, вернули...

А царь Петр,—тут уже руками развести,—совсем без чина, в солдатском кафтане. Подходя к трону Фридрихуса, склоняет колено, и адский этот король, если случится, на него кричит, как на простого. Бояре и окольные сидят—думают в шутовской палате, принимают послов, приговаривают прешпурхские указы, горя со стыда... А по ночам—пир и пьянство во дворце у Лефорта, где главенствует второй, ночной владыка,—богопротивный, на кого и взглянуть-то зазорно, мужик Микитка Зотов, всешутейший князь-папа кукуйский и прешпурхский...

Затем,—должно быть, уж для полнейшего разорения, по наговору иноземцев проклятых,—пригнали из Москвы с тысячу дьяков и подьячих, взяли их из приказов, кто помоложе—вооружили, посадили на коней, обучали военному делу без пощады. Фридрихус в думе сказал:

— Скоро до всех доберемся... Недолго тараканам по щелям сидеть. Все поедят у нас солдатской каши...!

Петр, стоявший у дверей (садиться при короле не смел), громко засмеялся на эти слова. Фридрихус бешено топнул на него шпорой,—царь прикрыл рот... Плакать тут надо было, все грехи свои помянув, с молитвой всем сообща пасть царю в ноги: «Руби нам головы, мучай, зверствуй, если не можешь без потехи... Но ты, наследник византийских императоров, в какую бездну влечешь землю российскую... Да уж не тень ли антихриста за плечом твоим?..» Так вот же, — духу не хватило, не смогли сказать.

Такой же двор был и у польского короля, Ваньки Бутурлина, в Семеновском. Но там хоть не нужно было ломаться, служба спокойная: бояре и окольные, сидя в потешной думе вдоль стен на лавках, зевали в рукава, покуда сумерки не засинеют в окошечках, потом ехали в Москву ночевать. Король, Ванька Каин, по злобе и озорству пытался было заставить всех говорить по-польски, но пре-

ломить боярского упрямства не смог, да и самому играть с ними надоело,—оставил их дремать, как хотят.

Не успели обвыкнуться—новая ломка: едва только зеленой дымкой покрылись леса, Бутурлин послал к королю Фридрихусу посла объявлять войну и с полками, обозами и боярами двинулся к Прешпурху. Стрельцы шли в поход злые,—время было сеvu, дóрог каждый день, а тут чорт надоумил царя забавляться.

Осаду приказано было вести по всем правилам,—копать шанцы и апрощи, вести подкопы, ходить на приступ. Забава получалась не легкая. Пороха не жалелось. Палили из мортир глиняными горшками, взрывавшимися, как бомбы. Из крепости лили грязь и воду с дерьмом, пихались шестами с горящей на конце паклей, рубились тупыми саблями. Обжигали морды, вышибали глаза, ломали кости. Денег это стоило немногим меньше, чем настоящая война. И так длилось неделями,—всю весну. В передышках оба короля пировали с Петром и его амантами.

Проходило лето. Бутурлин, не взяв Прешпурха, ушел верст за тридцать в лес и там окопался лагерем. Фридрихус в свой черед стал его воевать. Стрельцы, обозленные от такой жизни, дрались не на шутку. Убитых считали уже десятками. Генералу Гордону разбило голову горшком из мортиры,—едва отлежался. Петру спалило лицо и брови и он ходил, облепленный пластырями. Половина войска мучилась кровавым поносом. И лишь когда сожжен был весь порох, поломано оружие, солдаты и стрельцы износилась до лохмотьев, когда в лагерь приехал Лев Кириллович с письмом от старой царицы и со слезами умолял не тянуть больше денег, ибо казна и без того пуста,—только тогда Петр угомонился, и короли приказали войскам итти по слободам.

В народе много говорили про потешные походы: «Конечно, такие великие деньги не стали бы забивать на простую забаву. Тут чей-то умысел. Петр молод еще, глуп,—чему его научат, то и делает... Но не даром стрельцы, вернувшись ко дворам, матерятся с досады. Кто-то, видно, на этом раззорении хочет поживиться...»

12

Жилось худо, скучно. При Софье была еще кое-какая узда, теперь сильные и сильненькие душу вытряхивали из серого человека. Было неправое правление от судей и мздоимство великое и кража государственная. Много народу бежало в леса воровать. Иные уходили от проклятой жизни в дремучую глушь, на северные реки, чтоб не тянуть на горбе кучу воевод, помещиков, дьяков и подьячих, целовальников и губных старост, кровожаждущих без закона и жалости. Там, на севере, жили в забвении, кормясь от реки и от леса. Корчевали поляны, сеяли ячмень. Избы ставили из вековых сосен, на столбах, обширные, далеко друг от друга,—мужицкие хоромы. Из навсегда по-

кинутых мест приносили в это уединение только сказки, былины, да задумчивые песни. Верили в домового и лешего. Молиться ходили к суровым старцам-раскольникам, причащавшим мукой с брусникой. «В мире антихрист,—говорили им старцы,—одни те спасутся, кто убежал от царя и патриарха...»

Но случалось, что и до дремучей глуши, до этого последнего края добирались слуги антихристовы, посланные искать неповинующихся и лающих. Тогда мужики с бабами и детьми, кинув дома и скот, собирались во дворе у старца или в церкви и стреляли по солдатам, а не было из чего стрелять—просто лаялись и не повиновались и, чтоб не даться в руки, сжигались в избе или в церкви с бешеными криками и вопленным пением...

Люди легкие, бежавшие от нуды и неволи в леса промышлять воровством, подавались понемногу туда, где теплее и сытнее,—на Волгу и Дон. Но и там еще пахло русским духом, залетали царские указы и воинствовали православные попы, и многие вооруженными шайками уходили еще далее—в Дагестан, в Кабарду, за Терек или просились под турецкого султана к татарам в Крым. На привильном юге не в сумеречного домового—верили больше в кривую саблю и в доброго коня.

Немила, неудобна была русская земля—хуже всякой горькой неволи,—за тысячу лет исхоженная лаптями, с досадой ковыряемая сохой, покрытая пеплом раззоренных деревень, непомянутыми могилами. Бездолье, дичь.

13

— Батя, что такое? Звон не тот...

— Как не тот звон?

— Ой, батя, не тот... Нынче звонят унывно, а это... Батя, как бы чего не случилось, не уйти ли...

— Постой ты, дура...

Бровкин Иван Артемьев (Ивашкой-то люди забыли когда и звали) стоял на паперти стародавней церквенки, на Мясницкой. Новый бараний полушубок, крытый клюквенным сукном, топорщился на нем, новые валенки—прямо с колодки, новый шерстяной шарф обмотан так, что голова задиралась. Дул пронзительный ветер, сек лицо. По черной улице с шорохом гнало снежную крупу, забивало в мерзлые колени. Много народу стояло у лавок, слушали: по всем церквам начался звон в малые колокола, нестройный, неладный,—лупили кое-как, будто плясовую—спьяну.

Санька Бровкина (ей шел восемнадцатый год), хорошо одетая, красивая, сытая, заневестившаяся,—опять потянула отца за рукав—уходить: в Москве бывала редко, а когда бывала—билось очень сердце,—боялась, как бы не задавили, не повалили, не обманули. Сегодня с отцом приехали покупать пуху на перину,—приданое... Свахи так и крутились вокруг Бровкинова двора, но Иван Артемьев, чем далее шло,

тем забирал выше. Сын Алешка был уже старшим бомбардиром и у царя на виду. Волковский управитель ездил к Бровкиным в гости на новый богатый двор. Иван Артемьев брал у Волкова в аренду луга и пашню. Промышлял и лесом. Недавно поставил мельницу. Скотина его ходила отдельным стадом. Живность возил в Преображенское к царскому столу. Вся деревня кланялась ему в пояс, все ему были должны, и он кому спускал, а кому и не спускал,—шесть мужиков работали у него по кабальным записям.

— Ну, чего же ждем-та...—сказала Санька.

В это время к паперти подошел рыжебородый поп Филька (за десять лет поп раздобыл так, что ряса на меху чуть не лопалась) Он толкал в спину хилого дьячка с большим унылым носом:

— Иди, кутейник проклятый, иди, Вельзевул...

У дьячка в застывшей руке звенели ключи. Споткнулся, ухватился за замок, стал отмыкать церковные двери. Филька пихал в него кулаком:

— Ишь, руки дрожат,—пьяница прогорклый... С вечера ведь, с вечера, с вечера (бил в сутулый дьячков загорбок) сказано тебе было: иди, звони, звони... Через тебя я опять отвечай...

Дьячок просунулся в приоткрытую половинку железных дверей и полез на колоколенку. Филька остался на паперти. Иван Артемьев обеими руками в новых кожаных рукавицах снял шапку, степенно поклонился:

— В роде как праздник, что ли, сегодня? Мы с дочерью сомневаемся... Скажи, батюшка, сделай милость...

Филька прищурился вдоль улицы на ветер с крупой, мотавший его бороду, проговорил громко, чтобы многие слышали:

— Пришествие антихриста.

Иван Артемьев так и сел на новые валенки. Санька схватилась за груди, тут же закрестилась, побледнела, только и поняла, что страшно. От Мясницких ворот валила толпа, чего-то кричали. Слышался свист, дикий хохот. Стоявший народ глядел молча. Лавки закрывались. Откуда-то поползли рваные нищие, трясушие, по пояс обнаженные, безносые... Седой длинношей юродивый, гремя цепями и замками на груди, топтался, вопил: Навуходоносор, Навуходоносор!

Душа ушла в валенки у Ивана Артемьича. Санька, тихо, шопотом айкая, привалилась к церковному решетчатому окошечку под неугасимой лампадой. Девка была чересчур трепетная.

И вот, увидели... Растянувшись по всей улице, медленно ехали телеги на свиньях,—по шести штук,—сани на коровах, обмазанных дегтем, обваленных перьями; низенькие одноколки на козлах, на собаках. В санях, телегах, тележках сидели люди в лыковых шляпах, в шубах из мочальных кулей, в соломенных сапогах, в мышинных рукавицах. На иных были кафтаны из пестрых лоскутов, с кошачьими хвостами и лапами.

Щелкали кнуты, свиньи визжали, собаки лаяли, наряженные люди мяукали, блеяли,—красномордые, все дочиста пьяные. Посреди поезда ехала на пегих клячах с банными вениками на шеях золотая царская карета. Сквозь стекла было видно,—впереди сидел молодой поп Битка, Петров собутыльник... Он спал, уронив голову. На заднем месте развалились двое: бритый большеносый мужчина в дорогой шубе и в колпаке с павлиньими перьями и рядом кругленькая, низенькая, жирненькая женщина, накрашенная, насурмленная, увешанная серьгами, соболями, в руках штоф, обвязанный лентами. Это были—Яков Тургенев, новый царский шут—из Софьиных бывших стольников, променявший опалу на колпак, и баба Шушера, дьячкова вдова. Третьего дня Тургенева с Шушерой повенчали и без отдыха возили по гостям.

За каретой шли оба короля—Ромодановский и Бутурлин—и между ними князь-папа «святейший кир Ианикита прешпурский», в жестяной митре, красной мантии и с двумя в крест сложенными трубками в руке. Далее кучей шли бояре и окольные из обоих королевских дворов. Узнавали Шереметьевых, Трубецких, Долгоруких, Зиновьева, Боборыкина... Страмоты такой от сотворения Москвы не было. В народе указывали на них, дивились, ахали, ужасались... А иные подходили поближе и с озорством кланялись боярам, низко снимая шапку...

За боярами везли на колесах корабль, вьюжный ветер покачивал его мачты. Впереди лошадей шел Петр в бомбардирском кафтане. Выпятив челюсть, ворочая круглыми глазами на людей, бил в барабан. Боялись ему и кланяться,—а ну как не велено? Юродивый, увидя его с барабаном, завопил опять: Навуходоносор!—но блаженного оттерли в толпу, спрятали. На корабле стояли одетые голландскими матросами Лефорт, Гордон, усатый Памбург, Тиммерман и нововозведенные полковники Вейде, Менгден, Граге, Брюс, Левингстон, Сальм, Шлипенбах... Они смеялись, посматривая сверху, дымили трубками, притоптывали на морозе.

Когда Петр поровнялся с церковкой, Иван Артемьич дернул неживую Саньку и повалился на колени... «Дура, кланяйся,—зашептал торопливо,—не моего, не твоего ума это дело...» Поп Филька раскрыл большой рот и басом захохотал,—царь даже обернулся на него,—хоча, поднял руки, повернулся спиной и так, с воздетыми руками, ушел в церковь...

Шествие миновало. Иван Артемьич поднялся с колен, глубоко надвинул шапку:

— Да,—сказал раздумчиво,—конешно... Да... Все-таки... Ай-ай... Ну, ладно.—И сердито Саньке:—Ну, будет тебе, очнись... Пойдем, пуху-то купим...

Дивились,—откуда у него, у дьявола, берется сила. Другой бы, и зреее его годами и силой, давно бы ноги протянул. В неделю уже раза два непременно привозили его пьяного из Немецкой слободы.

Просопит часа четыре, очухается и только и глядит, какую бы ему еще выдумать новую забаву.

На святках придумал ездить с князь-папой, обоими королями, генералами и ближними боярами (этих взял опять-таки строгим указом) по знатным дворам. Все ряженные, в машкерах. Святошным главой назначен был московский дворянин, исполненный всяких пакостей, сутяга, злой ругатель,—Василий Соковнин. Дали ему звание «пророка», рядился он капуцином с прорехой на голом заду. Что происходило на тех святках, нельзя описать и великой книгой, — окончательное посягательство и поругание знатных домов, особенно княжеских и старых бояр. Вламывались со свистом и бешеными криками человек с сотню, в руках домры, дудки, литавры. У богобоязненного хозяина волосы вставали дыбом, когда глядел на скачки, на прыжки, на осклабленные эти хари. Царя узнавали по росту, по платью голландского шкипера, — суконные штаны пузырями до колен, шерстяные чулки, деревянные туфли, круглая, в роде турецкой, шапка. Лицо либо платком обвязано, либо прилеплен длинный нос.

Музыка, топот, хохот. Вся кумпания, не разбирая места, кидалась к столам, требовали капусты, печеных яиц, колбас, водки с перцем, девок-плясиц... Дом ходил ходуном, в табачном дыму, в чаду пили до изумления, а хозяин пил вдвое,—если не мог—вливали силой...

Что ни родовитее хозяин—страннее придумывали над ним шутки. Князя Белотельского за строптивость раздели нагишом и голым его гузном били куриные яйца в лохани. Боборыкина—в смех над тучностью его—протаскивали сквозь стулья, где невозможно и худому пролезть. Князю Волконскому свечу забили в проход и, зажгя, пели вокруг его ермосы, покуда все не повалились от смеха. Мазали сажей и смолой, ставили кверху ногами. Дворянина Ивана Акакиевича Мясного надували мехом в задний проход, отчего он вскоре и помер...

Святочная сия потеха происходила такая трудная, что многие к тем дням приуговорялись, как бы к смерти...

Только весной вздохнули полегче... Петра понесло в Архангельск. Опять в этот год приезжали голландские купцы Ван Лейден и Генрих Пельтенбург. Скупали они товаров против прошлогоднего вдвое: у казны—икру паюсную, мороженую лососину, разные меха на пятьдесят тысяч гульденов, рыбий клей, шелк сырец и попрежнему—деготь, пеньку, холст, поташ... У ремесленников брали ценимые в европейских странах изделия из русской кожи и точеной кости. Лев Кириллович, купивший у иноземца Марселиса тульский оружейный завод, навязывал голландцам разное чеканное оружие, но ломил такие цены, что они уклонились.

К весне нагружены были шесть кораблей. Ждали только, когда пройдут льды в северном море. Неожиданно Лефорт (по просьбе голландцев) намекнул Петру, что хорошо бы прогуляться в Архангельск—взглянуть на настоящие морские суда... И уже на другой день полетели по вологодскому тракту конные подставы и урядники с грамо-

тами к воєводам. Петр тронулся все с той же кумпаніей, — князь-папа Ианикит, оба короля, Лефорт, поп Битка, бояре обоих королей, но, кроме того, взяли людей и деловых, — думного дьяка Винууса, Бориса Голицына, Троекурова, Федора Матвеевича Апраксина, шурина покойного царя Федора, и полсотни солдат под начальством удалого Алексашки Меньшикова.

Ехали лошадами до Вологды, где за город навстречу вышло духовенство и купечество. Но Петр торопил, и в тот же день сели в семь карбасов и поплыли по Сухоне до Устюга Великого, а оттуда Северною Двиною на Архангельск.

Впервые Петр видел такие просторы полноводных рек, такую мощь беспредельных лесов. Земля раздвигалась перед взором, — не было ей края. Хмурыми грядками плыли облака. Караваны птиц снимались перед карбасами. Синие волны били в борта, полным ветром надувались паруса, скрипели мачты. В прибрежных монастырях звонили во сретенье. А из лесов, таясь за чащебами, недремлющие глаза раскольщиков следили за антихристовыми ладьями.

15

На столе, покрытом ковром, оплывали две свечи. Капли смолы ползли по свежевостроганным бревенчатым стенам. На чистых половицах мокрые следы, — из угла в угол, к окну, к кровати. Башмаки с налипшей грязью валялись — один посреди комнаты, другой под столом. За окошками в беззвездных полусумерках белой ночи шумел незнакомый влажный ветер, плескались волны о близкий берег.

Петр сидел на кровати. Подштанники его по колено были мокры, голые ступни стояли косолапо. Опираясь локтями о колена, прижав маленький подбородок к кулакам, он невидяще глядел на окошко. За перегородкой, перегоняя друг друга, храпели оба короля. Во всем доме, наспех к приезду царя поставленном на Масеевом острове, спали в повалку. Петр угонял всех в этот день...

...Сегодня на рассвете подплыли к Архангельску. Почти все были на севере в первый раз. Стоя на палубах, глядели, как невиданная заря разливалась пышным заревом за слоистыми угрюмыми тучами... Поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, лучи распались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны. За поворотом Двины, куда, надрываясь на веслах, плыли карбасы, протянулось, будто крепость, с шестью башнями, раскатами и палисадом длинное здание, иноземный двор. Внутри четырехугольника — крепкие амбары, чистенькие дома под черепичными кровлями, на валах — единороги и мортиры. Вдоль берега тянулись причальные стенки на сваях, деревянные набережные, навесы над горами тюков, мешков и бочек. Свертки канатов. Бунты пиленого леса. У стенок стояло десятка два океанских кораблей да втрое больше — на якорях, на реке. Лесом поднимались огромные мачты с паутиной снастей, течением лениво покачивало вы-

сокие, украшенные резьбою кормовые части. Почти до воды свешивались полотнища флагов,—голландских, английских, гамбургских. На просмоленных бортах с широкой белой полосой в откинутае люки высовывались пушки...

На правом—восточном—берегу зазвонили колокола во сретенье. Там была все та же Русь,—колокольни да раскиданные, как от ленивой скуки, избенки, заборы, кучи навозу. У берега сотни лодок и паузки, груженные сырьем, прикрытые рогожами. Петр покосился на Лефорта (стояли рядом на корме). Лефорт, нарядный как всегда, постукивал тросточкой, под усиками—сладкая улыбочка, в припухших веках — улыбочка, на напудренной щеке — ямочка... Доволен, весел, счастлив... Петр засопел—до того вдруг захотелось дать в морду сердечному другу Францу... Даже бесстыжий Алексашка, сидевший на банке у ног Петра, качал головой, будто приговаривая: «Ай, ай, ай... здесь тебе не Кукуй-слобода...» Богатый и важный, грозный золотом и пушками, европейский берег с презрительным недоумением вот уже более столетия глядел на берег восточный, как господин на раба... «Вот где сила...»—тихо проговорил Алексашка.

От крутого борта ближайшего корабля отлетело облако дыма, прокатившийся грохот заглушил колокольный звон. Петр кинулся с кормы, отдавливая ноги гребцам, подбежал к трехфунтовой пушечке, вырвал у бомбардира фитиль, поджег запал. Выстрел хлопнул, но разве можно было сравнить с громом морского орудия? В ответ на царский салют все иноземные корабли окутались дымом. Казалось — берега затряслись... У Петра горели глаза, повторял: «Хорошо, хорошо...» Будто ожили его детские картинки... Когда дым уплыл, на левом берегу, на причальной стенке показались иностранцы,—махали шляпами... Ван Лейден и Пельтенбург... Петр сорвал треугольную шляпу, весело замахал в ответ, крикнул приветствие... Но сейчас же, видя напряженные лица Апраксина, Ромодановского, премудрого дьяка Виууса, насупился, сердито отвернулся...

...Сидя на кровати, глядя на серый полусвет за окошком, Петр грыз ноготь... В Кукуй-слободе были свои, ручные немцы... А здесь непонятно, кто и хозяин... И уж до того жалки показались домодельные карбасы, когда проплывали мимо высоких бортов кораблей... Стыдно! Все это почувствовали: и помрачневшие бояре, и любезные иноземцы на берегу, и капитаны, и выстроившиеся на шканцах матерые, обветренные океанами моряки... Смешно... Стыдно... Боярам (может быть даже и Лефорту, понимавшему, что должен был чувствовать Петр) хотелось одно лишь: уберечь достоинство... Бояре раздувались спесиво, хотя бы этим желая показать, что царю Великия, Малыя и Белья России не очень-то и любопытно глядеть на купеческие кораблишки... Будет надобность—свои заведет, дело не хитрое... А захочет, чтоб эти корабли в Белое море впредь не заходили, и ничего не поделаете,— море наше, а он всему владыка...

Приплыви Петр не на дрянных лодках—может быть, и он зарылся бы спесью. Но он хорошо помнил и снова видел гордое презре-

ние, прикрытое любезными улыбками, у всех этих людей с запада—от седобородого, с выбитыми зубами матроса до купца, разодетого в испанский бархат... На шканцах—ряды матросских глаз, чужие, не знающие страха, насмешливые... Высоко на корме, у фонаря—коренастый, коричневый, суровый человек в золотых галунах, в шляпе с черным страусовым пером, в черных чулках. В левой руке — подзорная труба, прижатая к бедру, правая опирается на трость... Это капитан, дравшийся с корсарами и пиратами всех морей, сказочный человек... Спокойно глядит сверху вниз на длинного нелепого юношу в неуклюжей лодке, на царя варваров... Так же он поглядывал сверху вниз где-нибудь на Мадагаскаре, на Филиппинских островах, приказав зарядить пушки картечью...

И Петр азиатской хитростью почувствовал, каким он должен появиться перед этими людьми, чем, единственным, взять верх над ними... Их нужно было удивить, чтобы такого они сроду не видывали, чтобы рассказывали дома про небывалого царя, которому плевать на то, что — царь... Бояре пусть надуваются, — это даже и лучше, — а он, Петр Алексеев,—подшкипер переяславского флота, и так и поведет себя: мы, мол, люди рабочие, бедны да умны, пришли к вам с поклоном от нашего убожества, — пожалуйста, научите, как топор в руках держать...

Он велел грести прямо к берегу. Первым выскочил в воду по колена, взлез на стенку, обнял Ван Лейдена и Пельтенбурга, остальным крепко жал руки, трепал по спинам. Путая немецкие и голландские слова, рассказывал про плаванье, со смехом указывал на карбасы, где еще стояли, как истуканы, бояре... «У вас, чай, таких лодчонок и во сне не видали». Чрезмерно восхищался многопушечными кораблями, притоптывал, хлопал себя по худым ляшкам: «Ах, нам бы хоть парочку таких...» Тут же ввернул, что немедля закладывает в Архангельске верфь: «Сам буду плотничать, бояр моих заставлю твозди вбивать... Тогда и спрашивай, когда сам все умеешь...»

И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки, почтенные купцы начинают изумляться: действительно, такого они еще не видывали... Сам напросился к ним на обед, подмигнул: «Хорошо угостите—и о делах не без выгоды поговорим...» Спрыгнул со стенки в карбас и поплыл на Масеев остров в только-что поставленные светлицы, где в страхе божием встретил его воевода Матвеев... Но с ним Петр говорил уже по-иному: через полчаса бешено вышиб его пинком за дверь: «Коли правда—на мачте повешу тебя на позор перед Европой...» (Еще в дороге на Матвеева был донос в вымогательстве с иноземцев...) Затем с Лефортом и Алексашкой пошел на парусе осматривать корабли... Вечером пировали на иноземном дворе. Петр так отплясывал с англичанками и ганноверками, что отлетели каблуки... Да, такого иноземцы видели в первый раз...

И вот — ночь без сна... Удивить-то он удивил, а что ж из того? Какой была, — сонной, нищей, непроторной, — такой и лежит Рос-

сия... Какой там стыд! Стыд у богатых, у сильных... А тут непонятно,— какими силами растолкать людей, продрать им глаза... Люди вы или за тысячу лет, истека слезами и кровью, отчаявшись в правде и счастье, подгнили, как дерево, склонившееся на мхи?

Чорт привел родиться царем в такой стране! Вспомнилось, как осенней ночью он кричал Алексашке, захлебываясь ледяным ветром,— «Лучше где-нибудь в Голландии подмастерьем быть, чем здесь царем...» А что сделано за эти годы?—ни дьявола: баловался! Васька Голицын каменные дома строил, хотя и бесславно, но ходил воевать, мир приговорил с Польшей... Будто ногтями схватывало сердце — так терзало раскаяние и злоба на своих, русских, и зависть к самодовольным купцам, — распустят вольные паруса, поплывут домой в дивные страны... А ты—в московское убожество... Указ, что ли, какой-нибудь дать страшный? Перевешать, перепороть... Но кого, кого? Враг невидим, неохватим, враг — повсюду, враг — в нем самом.

Петр стремительно отворил дверцу в соседнюю каморку:

— Франц! (Лефорт сейчас же соскочил с лавки, тараща припухшие глаза.) Спишь? Иди-ка...

Лефорт в одной сорочке присел к Петру на постель:

— Тебе плохо, Петер? Ты бы, может, поблевал...

— Нет, не то... Франц, хочу купить два корабля в Голландии...

— Что же, это хорошо...

— Да еще тут построить... Самим товары возить...

— Весьма хорошо...

— А еще что мне посоветуешь?

Лефорт изумленно взглянул ему в глаза и, как всегда, легче чем сам он, разобрался в путанице его торопливых мыслей. Улыбнулся:

— Подожди, штаны надену, принесу трубки... (Из каморки, одеваясь, он сказал странным голосом.) Я давно этого ждал, Петер... Ты в возрасте больших дел...

— Каких? — крикнул Петр.

— Герои римские, с коих и поныне берем пример... (Он вернулся, расправляя завитки парика. Петр следил за ним дышащими зрачками...) Герои полагали славу свою в войне...

— С кем? Опять в Крым лезть?

— Без Черного с Азовским морем тебе не быть, Петер... Давеча Пельтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще дань плотят крымскому хану... (Зрачки Петра метнулись, остановились, как булавки, на любезном друге...) И не быть тебе, Петер, без Балтийского моря... Не сам, — голландцы заставят... В десять раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товару, учини ты гавани в Балтийском море...

— Со шведами воевать? С ума сошел... Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть не может, а ты...

— Так ведь не завтра же, Петр... Ты спросил меня, отвечаю: замахивайся на большое, а по малому-то — только кулак отшибешь...

(Продолжение следует)

С третьей смены

Из цикла „Лицо профессии“

АЛЕКСАНДР МИНИХ

Рассвет, засветив огневую спираль,
Стирает потемки
И гонит со сцены
И печет гудку на ушко:
— Не пора ль
Вести по домам полуночную смену?
Рассвет пробивается в цех сквозь окно.
Здесь каждый зрачок
Напряжением сужен.
Нас держит работа,
Но ждут нас давно
Ночевка дневная
И утренний ужин.
Рассвет наблюдает,
Как звезды идут
На службу дневную свою в планетарий.
Гудок, наконец, раскачался,
И труд,
Как фартук, снимает с плечей пролетарий.
Станок остановлен,
Тоскуют тиски,—
Их утренней смене мы можем доверить.
И табельщик выдал с контрольной доски
Жетон.
И зевают беззубые двери.
И дремлющий город встает неживым,
И встречных прохожих дождешься не скоро.
Лишь пьяница медленный шагом кривым,
Как шахматный конь,
Подымается в гору.
Я ж трезв и умерен.
Со мною в родстве
Умерены зори и трезвы закаты.
И путь мой лежит, упираясь в рассвет,
На слух неживой
И на зренья покатый.
Шагами распутывать улиц клубки,
Кружащиеся с бестолковой прытью;

Впивать это утро,
Как пьют моряки
Седой и стремительный воздух отплыть;
Итти по камням,
Где снежинок возня,
Где воздух над крышами плавен и плотен,
Где кажется — тянется серый сквозняк
Из черных дверей
И пустых подворотен;
Промеривать зреньем уют тупиков,
Лежащих в тени
И в покое немудром,
Где климат проверен,
Где климат таков,
Что пахнет дремотой, пекарней и утром.
Навыорот день мой:
Из дома давно
Ушел на завод я, сквозь темень кочуя,
Но утро вернется
И стукнет в окно,
Домой возвращусь —
И в окно постучу я.
Республика сменой третьей горда
И в полночь завод созиданьем напряжен
И сладостно встретить
За ночью труда —
Ночевку дневную
И утренний ужин.

З и м а

КОНСТ. ЛИПСКЕРОВ

Взошла луна. Притих эфир.
Горит алмазами избушка.
Как-будто выдумала мир,
Младенца пестуя, хохлушка.

И кто-то встанет на крыльцо.
Взор вспыхнет льдинкою лучистой.
Сияньем розовым лицо
Дыхнет под шапкой серебристой.

И я забуду скучный сан
Ей-ей не юного поэта.
Пора! Полозьями саней
Ступень скрипучая задета.

Брыкнет бубенчиками путь,
Взбежит, похрустывая хрупко.
Забуду ль: жарко дышит грудь
В овчине терпкой полшубка?

И раз еще она мелькнет
Звонящим снегом, жгущим взором,
О, жизнь моя — скользящий взлет,
Разбег саней над косогором.

Электростанция в церкви

МИХ. ГЕРАСИМОВ

Вот церковь, вся плющом обвитая,
И дворик розоватых плит,
Всю весну сливками облитые
Там сливы чувственно цвели.

Прибой цветов кипел и пенился
И бил в церковную тюрьму.
Монашки в кельях—птицы-пленицы—
В кадилном плавали дыму.

Их лица желтые, прозрачные
И мертвенная синева,
Они лениво, словно жвачные,
Жевали дряхлые слова.

Когда в садах созрели яблоки
И дуб стал звонок, как металл,
Гудок бесстрашный ближней фабрики
Скуфы монашьи разметал.

Пришли упорные работники,
Христовых вымели невест,
На первом дружеском субботнике
Заржавленный сорвали крест.

Скребками выскребли всю ложь его
На все века и времена,
И дизели среди храма божьего
Застыли в ризах чугуна.

Но не молитвенными хрустами
Коленопреклоненных толп—
Они работают без усталы,
Накачивая светлый ток.

Взамен божественного пения,
Торжественного алтаря —
Динам могучее гудение
И небывалая заря.

Нимб не таинственно-магический,
Которого коснуться грех,
Свет не христов, а электрический
Отныне осеняет всех.

Над хатами и над селеньями
Сиянье миллионов лун.
Как братья, световыми звеньями
Мы слиты в трудовом пыли.



СЕМ. ЛИПКИН

С прогорклым, стремительным дымом
Мы весть узнаем о любимой,
И милым домашним животным
Ложится у ног паровоз.
Веселое стадо вагонов,
Обширное вытоптав лоно,
Пропитано салом добротным
И запахом девичьих слез.

Мы ищем любимых годами
И плотью, и тайными снами,
И в омуте сонном подушки.
Мы верим — она к нам придет.
Я вижу ее: спозаранку
На дальнем, глухом полустанке,
Толчет она масло в кадушке
Иль шерсть одиноко прядет.

Мне б только путем ненадежным
Скитаться по кочкам таежным,
Бродить по богатым станицам,
Чтобы однажды, как зверь,
Стуча в занесенное снегом
Окно и моля о ночлеге —
Увидеть...

Узнать...

И влюбиться,
Пока отворяется дверь.



Люди и факты

1. М. ГРИШИН-НИКОЛАЕВ. О боевых моментах социалистического преобразования деревни.—2. ДАН. ФИБИХ. Киноварь на золоте.—3. ПАВЕЛ КОФАНОВ.—Трое из партгорода.

О БОЕВЫХ МОМЕНТАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНИ М. Гришин-Николаев

«Надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену» (Ленин. «Очередные задачи сов. власти»).

«Звеном» для первого периода наша Ленин считал смычку с крестьянством через торговлю. В основе смычки города с деревней, пока строительство социализма не вошло в новый этап, лежал товарообмен. Уже в последние два года все сильнее и отчетливее обнаруживалось, что старые формы смычки недостаточны, что назревает что-то новое, что должно лечь в основу тех «правильных взаимоотношений» с крестьянством, которым Владимир Ильич придавал решающее для дела построения социализма значение, установление которых считал «самым коренным, самым существенным вопросом».

Осталое крестьянское распыленное сельское хозяйство все больше и больше проявляло свою непригодность, свою неспособность удовлетворять растущим запросам индустрии, городов, социализма. Все острее чувствовались затруднения в снабжении города и промышленности продуктами сельского хозяйства. Развитие производительных сил сельского хозяйства сковывалось рамками мелкого и мельчайшего индивидуального хозяйства.

Реконструкция сельского хозяйства стала очередным требованием растущего социализма. Потребовалась новая форма смычки города и деревни—производительная.

Оппортунисты всех оттенков пытаются представить дело социалистического строительства в деревне, в частности ликвидацию кулака, как отход ВКП(б) от ленинской перспективы строительства социализма.

Трудно придумать что-нибудь более нелепое, чем эта попытка.

В практике социалистического строительства нет буквально ничего, что не являлось бы приложением ленинизма к условиям нашего времени. Только люди, которые не умеют связать в одно целое все высказывания Ленина о строительстве социализма, не умеют вследствие непонимания самых основ ленинизма, только такие люди могут сомневаться в этом.

Мы начали социалистическую революцию под непосредственным руководством Ленина в технически и экономически отсталой стране. Это прекрасно учитывал Ленин; и, вопреки меньшевикам, которые связывали самую возможность пролетарской революции в той или иной стране с таким высоким уровнем производительных сил этой страны, который будет при социализме, Вл. И., отводя, как материалист, определяющую роль развитию этих

сил, как диалектик, в свою очередь, ставил в зависимость от социалистической революции и самый уровень производительных сил. В статье против меньшевика Суханова Ленин писал: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков этот «определенный уровень культуры»), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы» (т. XVIII, ч. II, стр. 117). Эти слова надо бы крепко запомнить тем, кто, повторяя буквально наши противники в 1917 году, называет «бессмысленным экспериментом» переустройство сельского хозяйства, указывая на низкий технический и культурный уровень деревни, на недостаток тракторов и т. п.

Нашлись люди, которые дело представляют таким образом, что будто бы у Ленина был не один план строительства социализма, а несколько, люди, которые противопоставляют ленинскому кооперативному плану коллективизацию деревни, или задачу индустриализации и электрификации страны задаче поголовного кооперирования, или кооперирование задаче сломить и уничтожить кулачество. Все эти задачи были тесно увязаны у Ленина, и кооперативный план представляет только генеральную перспективу Владимира Ильича.

«Победу социализма над капитализмом, упрочение социализма можно считать обеспеченным лишь тогда, когда пролетарская государственная власть окончательно подавит всякое сопротивление эксплуататоров и, обеспечив себе совершенную устойчивость и полное подчинение, реорганизует всю промышленность на началах крупного коллективного производства и новейшей (на электрификации всего хозяйства основанной) технической базы. Только это даст возможность такой радикальной помощи технической и социальной, оказываемой

городом отсталой и распыленной деревне, чтобы эта помощь создала материальную основу для громадного повышения производительности земледельческого и вообще сельскохозяйственного труда, побуждая тем мелких земледельцев силой примера и их собственной выгоды переходить к крупному коллективному машиному земледелию» — так писал Ленин (собр. сочин., т. XX, ч. II, стр. 409). Реорганизация всей промышленности на основе электрификации ведет по Ленину к возможности создания основы для коллективного машинного земледелия.

В преодолении мелкого, распыленного крестьянского хозяйства — главной трудностью построения социализма в нашей стране.

Для того, чтобы сельское хозяйство сделать социалистическим, нужна материальная основа, соответствующий уровень производительных сил. В сельском хозяйстве Советского Союза имеются колоссальные возможности в смысле естественных данных, имеются рабочие руки, но материально-технических средств у нас всегда не хватало. Откуда их взять? По этому вопросу у Ленина находим ответ: «Если бы могли дать завтра 100 тыс. первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «я за коммунию» (т. е. за коммунизм). Но для того, чтобы это сделать, надо сначала победить международную буржуазию, надо заставить дать нам эти тракторы или же надо поднять нашу производительность настолько, чтобы мы сами могли их достать. Только так будет верно поставлен вопрос» (т. XVI, стр. 153).

Международная обстановка сложилась таким образом, что тракторы мы вынуждены «доставать сами».

Индустриализация страны тесно связана с социалистическим переустройством деревни. Дать трактор, удовлетворить потребности многомиллионных масс деревни в продуктах промышленности, поглотить огромное количество свободных рабочих рук, ко-

торов образуется в деревне в силу аграрного перенаселения,—все это без расширения промышленности в стране и без индустриализации самого сельского хозяйства невозможно. Задачу развития крупной индустрии Ленин ставил так высоко, что писал: «Мы знаем, что спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве,—этого еще мало,—не только хорошее состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления, этого еще мало,—нам необходима также тяжелая индустрия.

Тяжелая индустрия нуждается в государственных субсидиях. Если у нас не найдется этих субсидий, то мы как цивилизованное государство — я уже не говорю как социалистическое — погибни» (речь Ленина на IV конгрессе Коминтерна).

«Действительной и единственной базой для упрочения ресурсов, для создания социалистического общества является одна и только одна—это крупная промышленность» (том XVIII, ч. I, стр. 263).

И эту задачу развития крупной индустрии Ленин связывал всегда с реорганизацией земледелия. «Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие» (том XVIII, ч. I, стр. 293).

Крупная промышленность, «способная реорганизовать земледелие», должна быть по Ленину основана на электрификации страны. «Соответствующая уровню новейшей техники и способная реорганизовать земледелие крупная промышленность есть электрификация страны» (том XVIII, ч. I, стр. 293).

Из приведенных выдержек совершенно ясно, что индустриализация и электрификация страны и реконструкция сельского хозяйства, в частности коллективизация его, тесно связываются у Ленина в единое целое.

«При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве». Противоречит ли этот план задачам электри-

фикации, индустриализации и коллективизации сельского хозяйства? Конечно, нет. Увязка этих задач дана уже самим Лениным.

Нельзя кооперирование сводить исключительно к развитию снабженческих форм кооперации. Ленин кооперацию понимал глубже.

«Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно - потребительских коммун».

«Советы могут (и должны) теперь измерять свои успехи в деле социалистического строительства между прочим мерами, чрезвычайно ясными, простыми, практическими; в каком именно числе общин (коммун или селений, кварталов и т. п.) и насколько приближается развитие кооперативов к тому, чтобы охватить все население» (том XV, стр. 101—102). Совершенно ясно, что кооперирование населения мыслилось Лениным не только с потребительской, но и с производственной стороны.

«Строй цивилизованных кооператоров» по Ленину «есть строй социализма» при строго определенном условии, а именно «при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией» (том XVIII, ч. II, стр. 142—144). У Ленина речь, следовательно, идет о глубоких формах кооперированности, именно о таких, когда на средства производства существует общественная собственность; кроме того, Ленин подчеркивает связь такого кооперирования, тождественного социализму, с классовой победой пролетариата, т. е. классовой борьбой.

«В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве напa есть все, что нам нужно» (том XVIII, ч. II, стр. 130). Не нужно больших усилий, чтобы понять, что коллективизация сельского хозяйства есть существенная часть ленинского кооперативного плана. «Столбовую дорогу социалистического развития деревни составляет кооперативный план

Ленина, охватывающий все формы с.-х. кооперации, от низших (снабжение-бытовая) до высших (производственно-колхозная). Противопоставлять колхозы кооперации — значит издеваться над ленинизмом и расписываться в своем собственном невежестве» (Сталин. «Год великого перелома»).

Индустриализовать страну, электрифицируя ее, оказывать техническую и социальную помощь сельскому хозяйству, переводя его на рельсы коллективного машинного хозяйства, действуя примером, показом, кооперируя население возможно шире и глубже, сверху до низу — вот какова перспектива Ленина. Социализм — это сочетание, единство определенного уровня производительных сил, в известной части материально-технического уровня и коллективных общественных отношений. Вполне понятно, что строить социализм это значит, с одной стороны, поднимать уровень производительных сил (индустриализация, электрификация страны, механизация деревни и т. п.), с другой — кооперировать в глубоком смысле этого слова население. Осуществление ленинского кооперативного плана немислимо без индустриализации, электрификации страны и коллективизации сельского хозяйства. Всякое противопоставление этого плана задаче коллективизации сельского хозяйства или развертыванию и расширению индустрии или электрификации не выдерживает никакой критики.

Переустройство сельского хозяйства Ленин ставил в зависимость от помощи города деревне. Эта помощь должна быть «технической и социальной». Не только дать в деревню трактор, но и организовать бедноту и середняка для борьбы с кулаком в коллективы. Огромное значение придавал Вл. Ильич совхозам. Он говорил о необходимости действовать примером, показом. «Мы делаем только первые шаги к тому, чтобы совхозы стояли в тесной связи с крестьянским населением и с коммунистическими группами» (том XVI, стр. 432). «Лишь когда на опыте, близком для крестьян, будет доказано, что переход к товарищескому артельному

земледелию необходим и возможен, лишь тогда мы впервые в праве будем сказать, что в такой громадной крестьянской стране, как Россия по пути социалистического земледелия сделан серьезный шаг».

Работу по переустройству сельского хозяйства Ленин рассматривал, как ожесточенную классовую борьбу. «Пролетариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести следующую основную линию своей политики по отношению к крестьянству. Пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина-трудящегося от крестьянина-собственника, крестьянина-работника от крестьянина-торгаша, крестьянина-труженика от крестьянина-спекулянта. В этом разграничении — вся суть социализма» (том XVI, стр. 351—352). Перестраивать сельское хозяйство на социалистический лад по сути, согласно Ленину, — вести классовую борьбу. Как видим, самим Лениным дана увязка кооперативного плана и с классовой борьбой в деревне, с борьбой против кулака.

Так смотрел Ленин на строительство социализма вообще и в деревне в частности. Всякому, кто действительно вдумался в Ленина, должно быть ясно, чего стоят разговоры правых оппортунистов о том, что партия отошла от ленинских перспектив.

Не отступая ни на шаг от указаний Ленина, мы индустриализовали и электрифицировали страну, вопили материальные предпосылки для социалистического переустройства деревни, оказывая техническую и социальную помощь деревне, действуя, показом, примером, ведя классовую борьбу с кулаком.

За годы нэпа сделан огромный сдвиг, который не могут учесть ни троцкисты, ни правые. Непонимание ленинского плана плюс неумение учесть этот сдвиг обрекают оппортунистов на полную неспособность понять теперешний поворот партийной политики в деревне.

За эти годы мы осуществили 10-летний план электрификации, развивали нашу промышленность, подняли «нашу производительность настолько», что

в 1930 г. мы дадим 66 тысяч тракторов, а в 1931 г. — более 100.000. Отступив в начале напа, перегруппировавшись, мы наступали в течение нескольких лет. Согласно завету Ленина пролетариат оказывал деревне «техническую и социальную» помощь так, что эта «помощь создавала материальную основу» для высших форм труда. Оказывая помощь, пролетариат «побуждал тем мелких земледельцев силой примера их собственной выгоды переходить к крупному коллективному машинному земледелию».

За годы напа мы построили массу новых совхозов, действовали «силой примера», разъясняли, помогали, добились того, что крестьяне, сначала беднота, а потом и середняк, сами сплошной массой пошли в колхозы.

Правые считают, что партия несвоевременно и слишком быстро коллективизирует деревню, что партия отходит от Ленина и ошибается, ведя ожесточенную борьбу с кулачеством, объявив ликвидацию кулачества как класса, очередной задачей. Крупных изменений последнего времени, особенно в нашем социалистическом секторе и особенно в 1929 году, они ухитрились не заметить.

А изменения эти огромны.

Нам удалось добиться перелома в области поднятия производительности труда. «Перелом этот выразился в развертывании творческой инициативы и могучего трудового подъема миллионов масс рабочего класса на фронте социалистического строительства» (Сталин. «Год великого перелома»).

В связи с этим достижением стоит колоссальный рост нашей индустрии. Капитальные вложения в нашу крупную промышленность в 1928 г. составляли свыше 1 миллиарда 600 млн. р.; из них около миллиарда 300 миллионов было вложено в тяжелую промышленность, на производство средств производства. В 1929 г. эти вложения составляют свыше 3 миллиардов 400 млн.; при этом свыше 2 миллиардов 500 млн. из них идет на тяжелую промышленность.

Валовая продукция крупной промышленности за прошлый год дала рост

на 23 проц., при этом тяжелая промышленность по валовой продукции дала рост на 30 проц.; в 1929 — 30 хоз. году валовая продукция крупной промышленности должна дать рост на 32 проц., при чем тяжелая индустрия должна вырасти по величине продукции на 46 проц.

Особенное внимание было направлено на развитие производства средств производства и металлургии. А как известно, преобразующая роль индустрии в отношении сельского хозяйства сказывается именно с этой стороны, со стороны производства средств производства. Известно, что к весне наступающего 1930 г. мы будем иметь на полях более 60 тыс. тракторов, через год после этого — свыше 100 тыс. тракторов, а спустя еще два года — более 250.000. То, что считалось несколько лет назад «фантазией», мы имеем теперь возможность превратить с лихвой в действительность.

Вот где причина того, что середняк повернул в сторону «коммуни» (Сталин. «Год великого перелома»).

Колоссальные изменения произошли и в самой деревне.

В 1928 г. совхозы занимали	1.425 тыс. га
в 1929 г. " " "	1.816 " "
в 1930 г. посевн. пл. совхозов составит	3.280 " "

Товарная продукция зерновых у совхозов в 1928 году составляла более 6 миллионов центнеров.

В 1929 г. она составляла 8 миллионов центнеров, а в 1930 г. должна составить 18 миллионов центнеров.

Посевная площадь колхозов в 1928 г. составляла 1.390 тыс. гектаров, в 1929 г. — 4.262 тыс. гектаров, а в 1930 г. по первоначальным расчетам она составит 15 млн. га, в связи же с резким усилением роста коллективов — гораздо более.

В 1930 году посевная площадь всего обобщественного сектора должна составить 60—70 миллионов га.

Товарная продукция колхозов в 1928 году составляла около 3½ миллионов цент., в 1929 г. — 13 млн. цент., а в 1930 году должна составить по первоначальным расчетам около 49 млн. центнеров,

а вследствие усиления темпов коллективизации, которое имеет место в последнее время, она составит гораздо более.

Таким образом в 1930 г. товарная продукция зерновых совхозов и колхозов, т. е. в обобществленном секторе сельского хозяйства, составит большую часть товарной продукции (внедеревенский оборот) всего сельского хозяйства.

Изменилось коренным образом соотношение между обобществленным сектором и кулацким в сельском хозяйстве. В 1927 году кулак производил более 10 млн. тонн хлеба, а колхозы и совхозы всего лишь 1½ млн. тонн, т. е. почти на 9 млн. тонн меньше. В 1929 г. колхозы и совхозы производили 7 млн. тонн хлеба, т. е. на 3 млн. тонн меньше, чем кулак в 1927 году. А в 1930 году обобществленный сектор даст 15 млн. тонн, т. е. на 5 млн. тонн больше, чем кулак в 1927 году.

В 1927 году товарная часть (внедерев. оборот) хлеба, производившаяся в кулацких хозяйствах, равнялась 2 млн. тонн, а у совхозов и колхозов — 580 тыс. тонн. В 1929 г. колхозы и совхозы дали более 2 млн. тонн товарного хлеба, т. е. более, чем кулак в 1927 году. А в 1930 г. обобществленный сектор даст не меньше 7 млн. тонн товарного хлеба, т. е. еще больше, чем кулак в 1927 г.

Эти огромные изменения в экономике страны и сельского хозяйства, тесно связанные между собою, не могли не повлечь за собою соответствующих изменений в нашей политике в отношении кулака.

Середняк пошел в колхозы. Сельское хозяйство входит в этап сплошной массовой коллективизации. Приведенные цифры неопровержимо доказывают возможность замены индивидуального крестьянского хозяйства, являющегося главнейшим из последних источников капитализма в нашей стране, коллективным, социалистическим хозяйством. Создана реальная возможность немедленной ликвидации эксплуататора-кулака, закрытия важнейшего канала капиталистического накопления.

Здесь ответ правым оппортунистам, недовольным быстрым темпом кол-

лективизации и ликвидацией кулачества.

Созданы материальные и политические предпосылки для социалистического преобразования сельского хозяйства. Кулак стал исторически не нужен в сельском хозяйстве. Больше того, кулачество, как и подобает отжившему уходящему классу, оказывает упорное сопротивление коллективизации, социалистическому переустройству деревни, вступлению ее в новую историческую базу.

Кулак развивает бешеную борьбу против коллективизации. Он стреляет из обреза в коллективиста, он ведет клеветническую контрреволюционную агитацию. Он старается взорвать колхоз изнутри, пробравшись туда. Тысячами всевозможных способов кулак ведет эту борьбу. Кулак стал средоточием всех враждебных наступающему социализму в деревне сил. Кулак олицетворяет старый уходящий мир индивидуалистической деревни.

В районах, где возможна сплошная коллективизация, экономически и политически созрела необходимость немедленной ликвидации кулачества, как класса.

Ликвидация кулачества, как класса, — это всего лишь одна из сторон социалистического переустройства деревни. Именно боевая сторона, без которой немислима вообще революция.

Непосредственное строительство колхозов в массовом масштабе нельзя отделить от ликвидации кулачества. Одно невозможно без другого так же, как в свое время построение советской власти и организация социалистической промышленности были невозможны без ликвидации крупной буржуазии. Это две стороны диалектически единого процесса социалистической революции в деревне. «Социализм есть уничтожение классов» — говорил Ленин. Как мы знаем, Ленин видел суть построения социализма в классовой борьбе. Нужно чудовищно не понимать Вл. И., чтобы отрицать необходимость усиления борьбы с кулаком и необходимость ликвидации кулака на данном этапе этой борьбы.

Но в этих цифрах ответ и «левым» фразерам, троцкистам.

Как известно, троцкисты и так назыв. новая оппозиция в свое время требовали, чтобы партия повела форсированное наступление на кулачество. Смешно было вести такое наступление, когда 2 млн. тонн хлеба для города давали кулаки, когда колхозы и совхозы в товарной части хлеба занимали сравнительно малое место, когда не было достаточных предпосылок и материальных и политических для массовой коллективизации. «Наступление на кулачество есть серьезное дело. Его нельзя смешивать с декламацией против кулачества. Его нельзя также смешивать с политикой царпания с кулачеством, которое усиленно навязывала партии зиновьевско-троцкистская оппозиция. Наступать на кулачество это значит сломить кулачество и ликвидировать его, как класс. Вне этих целей наступление есть декламация, царпание, пустозвонство, все, что угодно, только не настоящее большевистское наступление» (Сталин. Речь на конференции аграрников-марксистов).

«Наступать на кулачество это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству, да ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться на ноги» (Сталин, та же речь). Вот ответ «левым» фразерам, которые и теперь упрекают партию в том, что она не повела решительного наступления на кулака «раньше», тем, которые (что еще хуже) считают, что партия теперь ведет троцкистскую политику. Теперь другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его, как класс, и заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов» (Сталин, та же речь).

Троцкисты не связывали наступление на кулака с ростом социалистического сектора в деревне потому, что вообще не верили в возможность крепкого союза пролетариата с середняком, не верили, что пролетариат поведет за собою середняцкие массы. Их раскула-

чивание и наступление на кулака но имеют ничего общего с ленинизмом. «Теперь раскулачивание проводится самими бедняцко-средняцкими массами, осуществляющими сплошную коллективизацию.

Теперь раскулачивание в районах сплошной коллективизации не есть уже простая административная мера.

Теперь раскулачивание уже представляет составную часть образования колхозов и совхозов» (Сталин, та же речь).

Именно с возможностью крепкого союза пролетариата и среднего крестьянства при опоре на бедноту, способностью пролетариата повести за собою крестьянские массы, с успехами рабочего класса по этому «коренному» вопросу русской революции связаны успехи коллективизации, а следовательно, ликвидация кулачества и необходимость ликвидации кулачества и раскулачивания. Этот подход к ликвидации кулачества, исторически закономерный, вполне соответствующий ленинскому учению, ничего общего не имеет с троцкистским «раскулачиванием»...

Правые не могли понять ни необходимости быстрого темпа индустриализации, ни неизбежности ликвидации кулака в период сплошной коллективизации. Они делали ставку «на самотек». Строительство социализма в деревне им представлялось не как классовая борьба, а как мирное движение, которое захватит в конце концов и кулака. Тов. Бухарин, например, вообще не допускал когда бы то ни было какой-нибудь экспроприации кулака: «Нужно прямо сказать, что мы не претягиваем накопление у кулака и не стремимся организовать бедноту для повторной экспроприации кулака».

Этот противоречащий основам ленинской точки зрения взгляд на борьбу за социализм разбит жизнью вдребезги. Внутренне противоречия деревни развернулись со всей силой, так как борьба за социализм в деревне невозможна без ожесточенной классовой борьбы. Это понятно, ибо суть борьбы за социализм в борьбе классов. Это борьба обострилась не толь-

ко потому, что сильно вырос кулак, но главным образом вследствие быстрого роста обобщественного сектора сельского хозяйства, т. е. социалистического. Предпосылки для социализма в деревне назрели, отсюда вполне закономерно вытекает обострение классовой борьбы вообще и в частности ликвидация кулачества, как класса, ибо «социализм есть уничтожение классов».

Но без боя ни один класс не уходит из истории. Кулак — заклятый враг социализма. Для того, чтобы уничтожить кулака, потребовалась большая и терпеливая работа в деревне.

И задача заключалась в том, чтобы, развивая социалистическое строительство в деревне, вытесняя кулака экономически, «ограничивать эксплуататорские тенденции кулачества» (XVI конференция ВКП(б) и организационными мерами. Но решительный момент наступил, когда созданы были предпосылки для сплошной коллективизации, когда мы получили возможность заменить кулацкое хозяйство обобщественным. Кулак стал помехой этой сплошной коллективизации и экономически и политически. Без отобрания средств производства от кулака «немыслима никакая серьезная, а тем более сплошная коллективизация» (Сталин). С этого момента уже не может быть речи об ограничении кулачества, потребовалось его уничтожить, как класс, т. е. лишить его всего, что составляет эксплуататорскую сущность кулака, лишить средств производства, которые являются основой кулачества, как класса. Скачок в развитии обобщественного сектора сельского хозяйства (переход к сплошной коллективизации) связан с коренной переменой тактики партии в отношении кулачества. Не «вытеснение капиталистических элементов» и «ограничение», а ликвидация кулачества, как класса.

Некоторые думают, что, отбирая средства производства у кулака, мы повторяем 1918—19 годы. Это в корне неверно. Раскулачивание 1918 г. было связано с дележом кулацких средств производства между индивидуальными

хозяйствами. Средства производства, конфискуемые у кулака теперь, идут в полное распоряжение сплошных коллективизированных районов и обобществляются. Сама организация коллективного хозяйства в районах сплошной коллективизации экономически связана с ликвидацией кулачества. Средства производства, взятые у кулака, значительно увеличивают базу коллективного хозяйства, дают возможность расширить его. Кулацкие хозяйства экономически помешали бы сплошной коллективизации, так как, например, землеустроение больших коллективных хозяйств встретило бы помеху в наличии кулацких хозяйств и т. п. Само собою разумеется, кулак политически явился бы серьезным препятствием в деле образования новых участков социалистического сельского хозяйства. Коренная разница между раскулачиванием 1918 года и раскулачиванием теперь заключается в том, что теперешнее раскулачивание связано с образованием обобщественного хозяйства, а раскулачивание 1918 г. — с наличием индивидуального хозяйства.

Мало лишить средств производства кулака. Кулак местами охотно пошел бы в колхоз, чтобы взрывать его изнутри. Поэтому о допущении кулака в колхоз не может быть речи. Больше того, вполне последовательно кулаков, уже пробравшихся в колхозы, изгонять оттуда. Само собой разумеется, что нельзя допускать существования целых объединений кулаков под маркой колхозов, так называемых лжеколхозов. Пребывание кулака в районе прежнего расположения его хозяйства политически недопустимо; поэтому раскулачивание не останавливается на перечисленных выше мерах, а предусматривает и выселение кулака из районов.

Без тяжелой и сложной борьбы ликвидация кулачества пройти не может. Всякие разговоры правых о необходимости ослабить органы диктатуры пролетариата в деревне, сельсоветы, а тем более о ликвидации их, о передаче их функций советам коллективных хозяйств в районах сплошной коллективизации ли-

шены всяких оснований и попросту контрреволюционны. Как раз там, где ликвидируется кулачество, как класс, где классовая борьба, следовательно, особенно обострена, сельсовет должен быть максимально усилен, а не ослаблен. Это — районы особого обострения классовой борьбы и максимальных темпов социалистического строительства в деревне; в связи с этим сумма задач органов диктатуры пролетариата там возросла. Болтовня правых объективно играет контрреволюционную роль, на руку ликвидируемому классу. Социализм не знает классов и государственной власти в прямом смысле, но классовая борьба обостряется, и органы диктатуры пролетариата получают особую силу именно в период решающих схваток за социализм.

На ряду с правыми теориями о необходимости ослабления классовой борьбы в деревне у нас распространены и левые фразы о том, что классовую борьбу в самих колхозах надо продолжать в прежних формах.

Колхоз — это социалистическая форма хозяйства. В колхозах все основные средства производства обобществлены. Следовательно, не может быть речи о т а к о й ж е классовой борьбе в колхозах. В колхозах во весь рост стоит задача переделки собственности индивидуалистической, крестьянской и даже кулацкой психологии, задача борьбы с проявлениями этой психологии; в этом смысле остается классовая борьба в колхозах. Борьба эта долгая и сложная, но это уже не та форма классовой борьбы, которую ведет пролетариат, перестраивая на социалистический лад сельское хозяйство. «Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе» (Ленин). Как видим, по Ленину классовая борьба внутри колхо-

зов ведется уже на другой основе, а следовательно, и должна иметь другие формы.

В связи с ликвидацией кулачества, как капиталистического класса, в последнее время, как известно, часто ставится вопрос о возможности или невозможности ликвидации нэпа. Поговаривают о том, что партия будто бы «нарушила» принципы нэпа и собирается немедленно произвести экспроприацию городской буржуазии, ликвидировать торговлю и т. п. Нет сомнения, что вопрос о нэпе должен теперь стать по-новому. Но о «нарушении» в смысле измены принципам ленинизма речи быть не должно.

Путаница, которая вносится в этот вопрос, обычно исходит от тех, кто понимает нэп или как исключительное отступление или как неограниченную свободу капитализма. Уж не раз подчеркивалось, что нэп — отступление только на первом этапе. «Мы сейчас отступаем назад, — говорил Ленин при введении нэпа, — но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед». Конечно, нэп — «всерьез и надолго», но, конечно, «не навсегда», как говорил тот же Ленин. Нэп в настоящее время на этапе быстрого наступления на капитализм. Но никто не собирается «нарушать» его. Нельзя понимать нэп как такую политику, которая исключает регулирование капитализма организационными мерами. Наоборот, нэп, как подчеркивал Ленин, есть допущение капитализма на определенных условиях, ограничивающих его. Таким образом, организационные меры против кулака, как раньше в период «ограничения эксплуататорских тенденций», так и теперь, в период ликвидации кулачества, как класса, ни в коем случае не противоречат сущности новой экономической политики. Новая экономическая политика предполагает рост социалистического сектора, вытеснение капитализма экономически, а следовательно, и соответствующие обусловленные ростом социалистического сектора организационные меры против капитализма. Никакого «нарушения»

наша усмотреть нельзя в эксплуатации кулачества, т. к. она вытекает целиком из успехов социалистического строительства. Организационная мера экспроприации против капиталистического класса кулаков, конечно, не есть ограничительная мера; в отношении кулачества новая экономическая политика преодолевается, поскольку кулачество, как капиталистический класс, не ограничивается, а лишь поддается, и сохраняется, поскольку раскулачивание, как оргмера, обязательно связана, как составная часть, с ростом социалистического сектора в сельском хозяйстве, с сплошной коллективизацией. Совершенно никаких оснований нет для механического продолжения мероприятий против кулачества на городскую буржуазию. С другой стороны, совершенно ясно, что, поскольку пэп будет приводить к победам социализма, постольку он выполнит свое назначение, будет отмирать; но на то он и «не навсегда», на то он и «единственно правильная политика пролетариата». Так, например, организация коллективного хозяйства в деревне в массовом масштабе не может не отразиться на формах обмена города с деревней. Само собою разумеется, что в отношениях государственных и кооперативных органов с колхозами для торговли в старом смысле этого слова места, по крайней мере по существу, не остается. Здесь уже открывается дорога к тому «социалистическому продуктообмену», о котором говорил в свое время Вл. Ильич.

Но есть и другая сторона процесса социалистического переустройства деревни на теперешнем его этапе—это чисто созидательная (конечно, в действительности неотделимая от первой). Колхозы создаются для того, чтобы в конце концов добиться резкого повышения производительности в сельском хоз-ве. От успеха организации дела в самих колхозах зависит конечная цель социалистического переустройства. Только при условии такой организации коллективного хоз-ва, которая поведет к возможности преодоления всех главнейших затруднений страны, свя-

занных с низкой производительностью в индивидуальном сельском хоз-ве, только при этом условии коллективизация деревни оправдывает себя. Уже организованные колхозы сейчас входят в полосу испытаний, экзамена. Первым боевым экзаменом в наступающем году для колхозов является посевная кампания. Провести эту работу такими методами, которые бы стояли выше, чем методы, применявшиеся в индивидуальных хозяйствах,—это большая, новая и трудная задача. Организация семенного фонда на началах обобществления—вот то новое, что вводится сейчас в массовом масштабе в сельское хоз-во, как первое следствие коллективной организации его. Именно на это устремлено внимание в настоящий момент.

С одной стороны, текущая очередная задача посевной кампании, а с другой стороны—затруднения организационного периода, как такового. Коллективизованный же только вчера крестьянин еще полон навыков и психологии собственника-индивидуалиста; все это ведет к тому, что без руководящего участия пролетариата в жизни самих колхозов в настоящий момент дело обойтись не может; без помощи города развитие уже созданных коллективных хозяйств затруднено и невозможно. Здесь необходимо руководство рабочего класса. Вот почему как в деле организации колхозов, так и в организации труда в самих колхозах, в выполнении ими первого испытания, в посевкампании уже участвуют тысячи пролетариев, уехавших в ударном порядке в деревню. Как никогда, деревня испытывает нужду и в культурных и в политических силах. Пролетариат устанавливает новые, производственные формы смычки с деревней, оставаясь и здесь гегемоном руководителем. Борьбу за социализм в деревне Ленин связывал с «массовым», «крестовым» походом рабочих во все концы громадной страны.

«Начав коммунистическую революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя слабости, пороки, унаследованные от общества эксплуататоров и мироедов, от обще-

ства грязной корысти и личной наживы немногих при нищете многих. Но рабочий класс может победить и, наоборот, неминуемо победит в конце концов старый мир, его пороки и его слабости, если против врага будут выдвигаемы новые и новые, все более многочисленные, все более закаленные в трудностях борьбы отряды рабочих» (Ленин).

Мы еще далеко не достигли такого положения, когда в колхозах будут в достаточном количестве сложные и усовершенствованные машины: тракторы и т. п. В значительном числе случаев колхозам в текущем году придется работать теми средствами труда, какими велась работа в индивидуальном хозяйстве. Это не должно смущать, потому что простое сложение этих простых средств труда все же должно дать повышение производительности труда. Все дело в том, чтобы суметь организовать и использовать эти средства соответствующим образом.

Однако, нельзя забывать, что не только окончательное построение социализма в деревне невозможно без соответствующего материально-технического уровня, но и дальнейшее расширение сплошной коллективизации, а следовательно, и распространение ликвидации кулачества на другие районы в значительной степени зависит от количества тракторов и др. с.-х. машин и орудий, от срока, в который город полагает их деревне. Задержки в выработке с.-х. машин, в особенности тракторов, частей к ним, невыполнение плановых заданий и т. п. несомненно губительно отражаются на социалистическом наступлении в деревне.

Словом, задача «технической и социальной» помощи деревне (кстати, осуществимой в той или иной форме, посредственно или непосредственно буквально на всех участках социалистического строительства), в период сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, как класса, стала боевой.

2. КИНОВАРЬ НА ЗОЛОТЕ

Даниил Фибих

Деревянная сказка

О хохломской окраске впервые услышал я в Нижнем, в губпромкредсоюзе. Мое невежество простительно. Мало кто у нас слышал вообще про село Хохлому, про тамошних мастеров, про чудесный, пылающий, как хвост жарптицы, спектр хохломских красок. Зато прекрасно знает их заграница, оценившая, полюбившая и усиленно требующая изделия сомоновского кустаря. Господа из Сан-Франциско, из Чикаго, из Лондона и Берлина, ядкие на раритеты, на очаровательно-наивный варваризм славянской экзотики, охотно украшают строгий деловой свой стол точеным из дерева ковшом или витязем на коне, любясь узорчатой и фантастической их раскраской. Изделия семеновских кустарей составляют не столь уж незначительную

часть нашего экспорта. Хохлома, наравне с Палехом, — имя, звенящее валютой.

В нехитром и кислом городишке Семенове, пройдя пустынные, заросшие уездной травой улочки, мимо классической герани и кисейных занавесок, аляповатых мальв за изгородью палисадника, зашли мы на «экспортную базу». На чистом, уютном дворике под навесами взгромоздились друг на дружку ящики с черным, странным тут клеймом «Made in Russia», корзины, кули, плетеные из лыка кошачьи. Тесная лесенка, скрипя каждой ступенью, карабкалась наверх, в комнату заведующего складом.

Тут было загромождено, цветисто и наивно-празднично, как в лавке диккенсовского игрушечного мастера Калеба. И так же вкусно пахло лаком, деревом и блестящей, свежей краской. На

полках, вдоль стен, на подоконниках, на столах, грудями на некрашеном полу стоял, сверкая темным золотом и киноварью, узорчатый и нарядный экспортный товар. Здесь ковши всяких размеров, стояковые, торцовые, плашковые, высокие их ручки превращены искусным мастером то в парус ладьи Садко — богатого гостя, то в фантастического орла, то в «вещих птиц», Алконоста и Сирина; резные и полированные жбаны, поставки, громадные братины, ендовы, шкатулки, ларцы, круглые коробки и коробочки, пудреницы, ложки, подносы, письменные приборы и нивесть что еще. Все это резное, фигурное, прихотливое... Часть еще не окрашена. Это «белье», — девственно белеет с полок точеная липовая и осиновая древесина. Часть отполирована, крыта лаком цвета темной, переспелой вишни, которую так вкусно наджевывает сладкоешка — лесная щучуга.

Но более всего тут хохломской окраски. Багрянцем, смуглым золотом, чернью и темной зеленью сверкает, переливается, дробится в узорах легкий, звонкий и веселый товар. Возьмите в руки этот ковш, — почти чувственное наслаждение от невесомости его, бархатистой гладкости его расписных стенок, затейливой фигурной ручки. Вглянитесь на узор — он всегда индивидуален, всегда иной, непохожий на прежние. Это не машинный штамп, не стандарт. Это — живое, художественное творчество человека. Очарованием полузабытой языческой сказки о Змее-Горыныче и жар-птице веют изделия простого, неграмотного пьянчужки-кустаря.

Через века, через поколения бережно донес он это архаичное очарование до наших электрифицированных дней.

При мне кустарь принес три больших — 35 см. в диаметре — деревянных чашки. Бережно развернул бумагу темными, жесткими пальцами. Сказочно заиграла затейливым и пыльным узором внутренность чашки. Заведущий — тихий человек в сплюснутой серенькой кепке, беспрерывно покашливающий, — строго рассматривал товар. Кустарь был почитителен, сух и невы-

сок, в сером пиджачке, стоял, опустив крупные кисти рук. Сивая сквозная борода его закрывала грудь.

— Вот как бы здесь... — опасливо сказал он. — Выпукнет здесь и рвотинка образуется.

Заведущий со всех сторон рассматривал чашку, поглаживал, выщупывал, изучая, как врач.

— А помнишь, — вот у тебя тогда... Ты приносил...

— Это облупа, Афанасий Федорыч. Облупа. С этим уж ничего не поделаешь.

Заведущий молча отложил чашку на стол, рядом с пачкой толстых американских журналов: «The American Hebrew», «Art in Trade», «The American Home».

Там, на глянцевиной меловой бумаге, среди цветистых реклам, изображающих изящные автомобили последних марок и смуглых золотокудрых мисс с теннисной ракеткой, были фотографии и статьи о семеновских кустарях, о несравненной, единственной в мире хохломской окраске.

Наобум

Семеновское промыслово-кредитное красивое товарищество объединяет 450 кустарей и по характеру своему является универсальным.

— Почему универсальным? А вот почему, — объяснили мне. — Мы объединяем резьбу и полировку по дереву, хохломскую окраску, производство спортивных игр — крокетов, кегельбанов, булав, выделяем также и игрушки. Сбытом обеспечены вполне. Поставляем и на местный, внутрисоюзный рынок и за границу...

Кустарь-«бельевщик» привозит из окрестных сел и деревень и одает товариществу «белье» — выточенный из дерева, но неокрашенный товар. Товарищество отдает «белье» отдельным кустарям «лачилиам» (от слова «лак», «покрывать лаком») или же на свой лачильный заводик для раскраски. Продукция, предназначенная для экспорта, подвергается особой хохломской окраске.

Сама Хохлома в лесах, в волчьей глуши, за полсотней километров не-

пролазной, скифской дороги. Там доживают свои годы знаменитые мастера: Красильников, Бедин, Распопин, Педагова, передающие унаследованные от отцов тайны своего ремесла ученикам. А здесь, в Семенове, работает больше молодежь. Работает по способу и по манере художников из Хохломы.

Теперь Семеновское товарищество хочет слиться с богатым, крупным Земёнковским бельевым товариществом. В объединенном товариществе будет 1.300 кустарей.

— Наши жутари согласны объединиться, — рассказывали мне, — но в Земёнкове настроение неважное. Причина какая, говорите? А вот какая. Плохо там была проведена подготовительная работа. Есть там член правления, работает в промысловой кооперации 22 года. Он сильную агитацию повел. «Я, говорит, родил это товарищество и не дам похоронить его». Кулачок. Ну, на него нажали, поговорили по душам. Было у нас специальное совещание в рике. Так он тогда какой ход сделал! «Я, говорит, ни за объединение и ни против. Мое дело сторона...» Много еще бузы будет... Все же полагаем, что объединимся.

— Ну, а что практически это даст?

— Много. Во-первых, приблизит окраску к бельевым товариществам. Даст возможность устроить в товариществах лачильные заводы. Ну, и, конечно, экономия в расходах, более чепкая работа.

С апреля Семеновское товарищество приняло от Госторга функции по экспорту. Сейчас оно связано с Кустэкспортом, сдает туда всю свою экспортную продукцию, идущую на рынки Америки, Франции, Германии, Англии, Австрии и в страны востока — Монголию, Персию, Западный Китай.

С Нижгубпромкредсоюзом заключили договор на 400.000 предметов. На 1 октября не только выполнили всю программу, а даже и превысили ее процентов на 10—15.

Хуже обстоит с экспортным товаром. Здесь часто нет системы, точного учета, обстоятельного знакомства с заграничным рынком, его требованиями

и капризами. Люди работают впотьмах, ощупью. Выкидывают на заграничный рынок новый вид изделий на-авось, на удачу. Гадают:

— Понравится?.. Не понравится?..

Заграница требует:

— Давайте хохломскую окраску. Давайте побольше.

В Семенове говорили веско:

— Спрос на хохломскую окраску неограниченный. По резьбе и полировке, правда, у нас есть конкуренты: Сергиев-Посад и Палех. А хохломская окраска — только у нас. Единственная в мире.

Богатый заморский покупатель требует всякий товар, раскрашенный хохломским узором, — ковши и поставки, клубошницы и братины, столы, табуреты, подносы, коробки, рафинадницы, чашки, банки, чайницы, — до пятисот видов и наименований. На складе заведующий показал мне деревянные, расцвеченные красками ложки всяких сортов — с ягодой, тонкие кленовые, полубаски:

— 12.000 отправили за границу.

— Нет еще определенного ассортимента, — говорили в Нижнем, в губпромкредсоюзе. — Правда, теперь как-будто намечается. Не знаем, каков спрос и на что именно. В результате получается так, что одни изделия лежат мертвым грузом, другие — ничего, расходятся... Вот начали теперь мы делать деревянные сундуки. Посмотрим, заинтересуются ли там...

И случается: летит из Америки телеграмма представителя Кустэкспорта:

— Ковши стояжовые, размера такого-то, пользуются спросом. Только ковши надо разделить на два отделения: для гитар и для пепла. Сбоку сделать подставку для коробки спичек. А ручку проверлить: там пройдет провод для электрической лампочки.

— Вот делаем теперь такие, — показывают мне неузнаваемо изменившийся, «рационализированный» ковш. Вообще особенно охоч до изделий семеновского кустаря дядя Сам. Америка — главный потребитель.

Эти истинно кустарные методы торговли, хаотичность, работа ощупью, наобум то и дело приводят к заторам.

Нагонят за границу изделий одного сорта столько, что получается пробыка. Особенно отличались в этом отношении «дикие артели», борьбу с которыми ведет промысловая кооперация («Долго мы сватали артели с промкооперацией, ставили даже вопрос перед высшими организациями»). Обрадовавшись спросу, артели начинали усиленно выдвигать один сорт. Зашибали деньги, выжимая вместо обычных 40—60 рублей в месяц 170, гнались за количеством в ущерб качеству.

— Халтурили, одним словом, ребята!..

Недоброкачественность работы быстро сказывалась. Еще вагоны с экспортным грузом не добрались до границы, а полировка уже просела. Товар испорчен. Брак!.. Иностранный рынок отказывался принимать.

И, однако, несмотря на все, семеновский кустарь уверенно шагает по Европе, перемахивает в Америку. Широко шагает!..

— В прошлом году отправили за границу товару на 80.000 рублей. В этом, 1929/30 году, сделаем одной только хохломской окраски на 200.000.

Солидные цифры, неправда ли? Особенно, если вспомнить, что в старое время, в тринадцатом году, всех токарных и резных изделий по дереву экспортировалось из России всего на 58.000 руб.

«В дворцах работаем!»

Низенькая комнатка полна мягкой стружки. Нога путается в этих древесных, курчавых волнах. На столе, как разозленные змеи, шипят примусы — в сине-розовом их пламени лежат, раскаляются железные прутья. Трое быстроглазых, смешливых девчат-комсомолок и паренек — все в синей шпозодежде, — сидя в стружке, быстро и ловко обертывают бумагой блестящие нарядные ковши, поставки, коробочки и прячут их в высокие и емкие кошолки. Это — упаковочная. Отсюда хохломские изделия направляются в Кустэкспорт. Примуса злобно шипят, гудят, кругом горы стружки, лыковые короба, солома, сухое дерево.

Довольно искры, чтобы вся комната вспыхнула, как порох, превратилась в огненную пещеру, из которой не так-то легко выскочить через узкую тесную щель двери. Но никто, кажется, об этом и не думает.

— Вот что нас затрудняет.

В горсти Рошина, председателя товарищества, зажат прут, снятый с примуса. Прут заканчивается штампом: «Made in Russia». Этим клеймом отмечают экспортный товар. Способ клеймения примитивный, медлительный, — долго приходится ждать, пока раскалится на примусе железо. А тем временем бегут минуты, работа стоит.

Потом мы идем с Рошиным через луг, за которым в зелено-ржавой вянувшей листве топятся крыши села Хвостикова. Там живут лачилы.

Царственная осень лежит кругом. Усталая и ясная улыбка пышного увядания разлита в холодном, косом блеске солянца, в высоких и прохладных травах, которые бьют по ногам, в золотой филиграни дальних березок, в сапфировой пустоте неба, в ветре, пахнущем солодом и вином. Стадо гусей, ковыляющих нам навстречу, вежливо оворачивает с узкой тропинки. Они косолапо мнут траву оранжевыми своими перепонками и провожают нас настоянным тихим гоготаньем.

Рошин смахивает на большевика из стандартных современных романов. Он высок, крепок, сдержан и спокоен. Говорит у него медлительный, чуть ленивый, движения уверенно-неторопливые, и на бритом, красивом лице, профрезанном энергичными складками вдоль щек, таясь где-то в глубине зрачков, в уголках рта, часто теплится едва приметная искорка юмора. Особенно, когда он разговаривается с кустарями. Чувствуется, знает их прекрасно, видит насквозь их нехитрые уловки, неуклюжую деревенскую хитрость, попытку обмануть в том или ином вопросе. Он любит поговорить с ними запросто, пошутить, он мягок, но за этой мягкостью сквозит твердая воля, единая целеустремленность.

Я говорю:

— А все-таки, видно, вас здесь любят!

Рошин молча вышагивает длинными неутомимыми ногами, ветер шипит в прорезиненных полах его малинтоша. Потом Рошин улыбается, видно, польщенный.

— Совсем особый подход нужен к ним. Ну, у меня есть опыт. На Выжее несколько лет работал. По профсоюзной линии. Сами знаете, в рабочей среде, все время общение с массой...

Приближаясь к селу, он говорит:

— Вот увидите сами, в каких условиях работают кустары. Наверно, в Америке думают, — в дворцах живем, выделяем эти изделия. Посмотрели бы, в каких хибарках, лачугах... Не повернуться...

Зашли в одну избу. Из полутемных сеней, вспугнутые нашим неожиданным приходом, прыгнули в горницу две девушки.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Рошин, согнувшись чуть ли не пополам, чтобы не расшибить лоб о при толку, и перешагивая высокий порог. — Никак, помешали?

Молодые голоса полетели навстречу охотно и весело:

— Здравствуйте, Николай Сергеевич!

Девчата переглядывались, хотели сдержаться и не могли, брызгали смехом и весельем, полусмущенными зорами, — и те, что выскочили из сеней, и их товарки.

— Чего же это вы? — улыбался Рошин, чуть ли не упирившийся макушкой в потолок избенки, стоя и оглядываясь на оживленные молодые лица. Работницы прыскали, фыркали, кусали губы, но так и не сказали, чем мы смутили их. Сидели они кто на полу, кто на низеньких табуретках, человек восемь; перед ними на скамейках рядами уставились поставки, ковшки, корбочки. Все — полуфабрикат, в разных стадиях выработки. Одни — желтые, темно-палевые, другие — серебряные, третьи — с неоконченной раскраской. Страшно было повернуться в этой тесноте: как бы не наступить на чью-нибудь вытянутую ногу или на поставок, не треснуться затылком о низкие полати, где, парадно выстроившись, горя и блистая овежей краской, обсы-

хали уже готовые изделия. И в этой лачуге, в духоте, в убожестве, рождается хохломская расцветка!..

Девушка в клетчатой шотландской юбке, черненькая, коренастая, с пухлыми малиновыми губами, по просьбе Рошина, посвятила нас в тайны производства.

Прежде всего «белье» валят — покрывают валой, городецкой глиной. Поставок или стоячковый ковш из белого становится смуглым, приобретает темно-желтый загар метиса. Смазанный сырым маслом поставок ставится в печь сохнуть. Печь — обычная, крестьянская, где варят щи и пекут хлебы, заюпченая, прожорливая, широкобокая уродина, рассеиваясь чуть ли не на половину избы. После сушки олифят. Четыре раза смазывают поставок олифой. Потом лудят. Состав для этого приготавливают сами — олово с алюминием.

На голых половицах, вытянув босые ноги, сидит парень. У него зеленоватые болезненные щеки и серебряные ладони. Он обмакивает тряпку в металлургический сухой порошок, проворно натирает им поставок внутри и снаружи, ставит уже готовый рядом с собою и берется за следующий. Поставок изменил свой оттенок, превращается в серебряный. Теперь начинается сама раскраска.

Девушка в шотландской юбке обмакивает листочку в черепок, где разведена черная, маслянисто-блестящая, жидкая сажа. По серебряному полю пробежал кривой штрих, — тонкий, уверенный мазок. Другой, третий... Вот уже лепесток какого-то стилизованного цветка. Мы только что отвернулись на несколько секунд, — Рошин, улыбаясь, перекинулся словами с дальними девчатами, — а уж целый узор из фантастических листков, лепестков, завитушек распустился на поставке. Художница работает быстро, умело, — виден не только навык и сноровка, но определенный талант, вольный взмах творческой мысли. Пухлые губы сжаты упрямо, черный угол подстриженных волос, свалившихся вниз, наконец закрыл глаза. Еще минута, две — и поставок уже весь разузoren.

За соседней табуреткой на низеньких скамеечках уселись две девушки; одна — сосредоточенная, в ситцевом платочке, который по-крестьянски завязан под подбородком. Другая — голубоглазая, улыбаясь, с мягкими ямками на щеках. В черепках перед ними огнисто алеет киноварь и изумрудом светится зеленая краска. Это, кажется, весь спектр хохломской окраски, два-три цвета всего: сажа, киноварь, зелень. Не считая золота, которое получается после естественным, химическим путем.

Тонкие кисточки обмакиваются в черепушки с краской, осторожно плывут по завиткам, отмеченным черной мезгой. Поставок всплывает там алым, там зеленым, загорается. Узор становится неожиданно рельефным, выделяется красочным извливом...

Наконец, раскраска закончена. Не менее шести раз после того поставок лачат, покрывают особым лаком, и снова ставят в печь. На закалку.

И когда вполне готовый фабрикат вынут из горячего зева печи, — неожиданное превращение. Незагрешенные, покрытые полудой места под влиянием жара из серебряных превратились в золотые.

Пока мы наблюдали, в дверь пролез Иван Дмитрич, хозяин избы, за двадцать рублей в месяц сдающий ее этим девчатам «под производство». Он мутно поглядел на всех и уселся на корточки, сползая спиной вдоль печи. Иван Дмитрич, лачила, нынче здорово выпил, с горя ли, с радости — неизвестно, и поэтому целый день надоедал Родину, болтаясь в его кабинете, в правлении. Диалог между ними был примерно такой:

— Николай Сергеич, давай петь.

— Иди, иди домой, Иван Дмитрич. Выспись, тогда поговорим.

— Не хочешь петь со мной? Брезгуешь?.. Так, значит...

Пауза.

— Ты скажи, почему мне четыре копейки за пенал?

— Вот выспись, тогда и потолкуем.

— Чего тогда толковать, ты сейчас скажи.

— Иди, в самом деле, Иван Дмитрич, домой. Вот на общем собрании говорили, что в правление ходят пьяные.

— Нет, ты возьми мой пенал. Ты слушай мою декларацию. Мне — четыре копейки, а полировщику пятнадцать?..

Долго с пьяным упорством приставал Иван Дмитрич, ломался и кочевряжился.

Он притащился следом за нами. Сидел у печи, подняв колени, задорно выставив бороду темно-рыжего густого волоса. Черный картуз его был надринут на переносицу. Ладони упирались в грязные половицы. Озорные хмельные бесенята плясали в мутноватых глазках. Загозистый, задиристый, казалось, ждал он только какой-нибудь зацепки, чтобы опять ввязаться в разговор.

— Я хотел сказать тебе, Николай Сергеич, — начал он неуверенно, — видно, уж самому совестно становилось: — Потому четыре копейки за пенал...

Родин стоял спиной, не обращая внимания. Иван Дмитрич замолчал, сопнул, шевельнул усами и сумрачно сказал, обращаясь к девчатам:

— К первому опростайте квартиру.

Девчата дружно захохотали. Обхватывая колени переплетенными пальцами, Иван Дмитрич добавил веско:

— Потому Наташке негде работать.

Смешливая, с ямочками, откликнулась, раскрашивая киноварью жарптицу на ручье ковша:

— Мы уйдем, когда тетя Маша скажет.

— Не тетя Маша избу ставила.

— Плотники.

— Не тетя Маша плотникам деньги платила, а товарищ Кузьмин, Иван Дмитрич... К первому непременно опростайте.

Родин, со смешинкой в глазах, заинтересовался:

— Наташку себе завел?

— А что? Наши не хуже ваших.

— Пооди, я на свидания с ней ходишь?

— Чать, я не таракан. Жлвой человек.

Изаба зазвенела девичьим хохотом. Был он так неудержим, шел от души,

что даже сумрачный, нахохлившийся Иван Дмитрич не выдержал, ухмыльнулся в обвисший ус и, обмякнув, пояснил, чтоб про него, в самом деле, не подумали зазорное:

— Дочь это моя, Наташка...

Потом заглянули мы к самому Ивану Дмитричу, жившему рядом. Почерневшая избенка его пошатнулась, скобочилась — подпертое кольями тяжесть беспутной русской жизни, тяжкого похмелья, черной нищеты. Перекосившаяся дверь, божница в углу с закоптелыми ликами в венчиках из пыльных бумажных розанов, выбка, висящая посреди избы на упругом кривом суку, где спал обсыпанный золотухой младенец, расписные деревянные блюда, подсыхающие на печи... Девочка лет шестнадцати, миловидная и бледная, молча вскинула на нас ресницы и опять принялась раскрашивать большую чашку «травкой» и «листочками». Видно — Наташка.

Здесь не аристократическая, изощренная роспись «первого сорта», посылаемая за границу. Здесь — «третий сорт», тот скромный, непритворливый узор, тот украшает миллионы деревянных ложек, чашек и блюд, идущих в крестьянское хозяйство.

В другой избе тоже работало над раскраской «белья» несколько девушек и женщин. Тот же метод работы, то же распределение отдельных процессов производства, тот же запас красок и свежей олифы.

— А где у тебя готовый товар?

Хозяин избы Юзиков повел нас в полутемные сени, к высоким, доверху полным коробам, пригнанным к стене, плетеной из ивняка.

— А это что?

Рощин с интересом рассматривал плащковый ковшик:

— Смотри, целый вид!.. Дом, дорога, леса.

Юзиков усмехнулся конфузливо:

— Это я попробовал.

И стал рыться в коробе:

— Вот еще. Море и карась плывет...

Или вот...

— Важно! — одобрил председатель, вертя ковш перед глазами.

— Если скажете, буду делать...

Хороши были глаза этого белокурого, смиренного парня, улыбавшегося с горделивым смущением: голубые, задумчиво прислушивающиеся, устремленные куда-то в себя глаза поэта или фантаста.

— Надо будет послать за границу. Для образца, — решил Рощин.

Потом он мне говорил:

— Каждая из этих девчат рублей по ста зарабатывает. Верный заработок.

* * *

«— В Америке, поди, думают, во дворцах живем...»

В этом звучали горечь, национальная усмешка над своим убожеством и — странное дело! — нотка какой-то гордости, самодовольства. Вот, дескать, хоть работаем в условиях, от которых зачесался любой иностранный рабочий, а все же в тесноте, в клетушках, в этих полуразваливающихся каморках, согнувшись над табуреткой, над глиняной черепушкой с краской, делаем товар всему свету на удивление!

Хохломская окраска — продукт непосредственного народного творчества. Мастер, как из самой Хохломы, так и работающий по методам хохломских искусников, остается вне влияния и руководства квалифицированного художника-специалиста.

Был, например, в Семенове единственный художник, руководящий хохломской окраской, вносящий новые мотивы в орнамент, модернизирующий старинный узор, да нет теперь и его. Уехал в Москву. Учиться.

— Мало мастеров, — говорят на местах. — Даже не можем выполнять всех заказов.

Правда, есть в Семенове школа инструкторов по промысловой кооперации с художественным уклоном, выпускающая, между прочим, специалистов по хохломской окраске. Но пока что практической пользы от школы как-будто мало.

Что же нужно для расцвета промысла хохломской окраски?

1. Новые кадры кустарей-раскрасчиков. Подготовка смены. Ряд новых мастеров. Этого можно достигнуть при

помощи «подсадки» к старым кустарям учеников, которые бы приглядывались, присматривались к их работе, перенимали метод и тайны этого мастерства.

2. Надежные руководители, опытные художники, знатоки своего дела. Не один, как это было, а многие. Руководя всей работой, они должны освежать древние приемы мастерства новым содержанием, конечно, не в ущерб тому здоровому народному духу, который составляет главную прелесть Хохломы. Должны улучшать технику росписи и задавать тон всему производству.

3. Художественные мастерские. Пора, наконец, хохломских мастеров, снабжающих советское государство иностранной валютой, поставить в нормальные, гигиенические, просто человеческие условия работы. Из нищенских курных избенок, откуда в любой момент может выкинуть на улицу пьяный самодур, хозяин помещения, артель должна перейти в просторную, полную света и воздуха советскую мастерскую.

Слишком ценен для государства семеновский кустарь, и поэтому он смело, по праву, может требовать от советской страны большего, чем до сих пор, внимания к себе.

Но и то, и другое, и третье прежде всего упирается в вопрос о соответствующих средствах. Нужны ассигновки, субсидии, дотации. Нужны капитальные вложения в хохломский промысел. Конечно, не Семеновскому товариществу думать об этом, а тем, кто выше, кто богаче и непосредственно заинтересован в развитии нашего товарообмена с заграницей. Хотя бы Кустэкспорту.

На обещания Кустэкспорт не купится. Устами своего представителя, побывавшего в Семенове, клянется:

— Конечно, конечно, нужны капитальные вложения! Мы сделаем все, что можем. Даем вам 25.000.

Уехал представитель из Семенова. Время идет. Обещанных денег не видно. Начинаются переписка, запросы, напоминания, отношения. Скрипит, тархтит ржавая бюрократическая ма-

шина. Наконец, Семенов прямо телефонирует в Москву, в Кустэкспорт:

— Обещали деньги? Скоро получим?

— Да мы вам, дорогие товарищи, давно послали.

Запрашивают тогда семеновцы Нижний:

— Прислали вам из Кустэкспорта 25.000, которые нам были обещаны?

— Прислали. Только...

— Что?

— Не 25.000, а 15.000. Кроме того, эти деньги не для вас, а на сумочное производство.

И Роцин, рассказывающий об этом, безнадежно машет рукой.

— Писали-писали, говорили-говорили, — нет ничего. Ищи там, разбирайся, где конец, где начало, кто прав, кто виноват.

* * *

Дня через два, трясясь, как мешки, в плетеной корзине брички по ухабистой и вязкой лесной дорожке, ехали мы с Роциным к токарям. Бричка култыхалась, прыгала, проваливаясь в глубоких колеях. Ступица колеса, шипя, взрывала размокшую землю. Ледащая, мутная лошадежка поровила итти шалом. Сыростью, желчным покоем и тленом дышал лес. Сосны с голыми рогатыми и стройными стволами уступали место ельнику, мохнотому, разлалому, гостеприимно разбросавшему в стороны свои широкие зеленые рукава. Оквозь прорези поределого, с осыпавшейся жухлой лиственной кустарника открывались полянки, прогалины в тусклом золоте, ржави и светлой меди дальних березок и осины. Потом снова ельник, сосняк, темная вещая хвоя... В рытвинах сумрачно шоблескивала вода, осыпанная бурым, мокрым, облетелым листом. Мягкими грудями лежал он на неприятной сырой земле, дыша чуть уловимым спиртным запахом своего гниения, восо летел в мгlistом воздухе, кружась и трепеща.

Я вбирал в себя краски осени — пестрое золото мертвеющей листвы, смешанное с прочной, грубой зеленью хвои, подчеркнутое тушью стволов и голых озябших сучьев, расцветенное

киноварью боярышника, пламеневшего, как неопалимая купина, предсмертной, закатной красотой. Я тонул в стихийном и беспорядочном обилии природного узора, составленного из листьев и веток. Эти краски, этот орнамент были странно знакомы.

И показалось, — увидел я первооснову, секрет мастерства художников из Хохломы, тот исток, из которого оно шло...

Впереди у нас леса, позади — болота...

Рощин повторяет:

— Непочатый тут угол работы.

В Нижнем говорят мне:

— Край Мельникова-Печерского.

Леса. Болота. Мхи. Дороги через топи, мощенные осклизлыми бревнами, которые ходят, как клавиши, под измученной, то и дело пристающей, дымящейся лошадежкой. Непролазные проселки. Потемневшие раскольничьи осьмишестичные кресты на перекрестках — «на раздорожьях беси живут», место нечистое, надо ставить крест. В лесах — волк, лиса, медведь, куница. Водится и рысь. Вам расскажут, что недавно вот одну убили в Юрасовской волости.

Глухой, темный, бедный край. Земля родит скупо, земли вообще мало — и потому мужик, летом работающий в поле, всю зиму сидит над всякими поделками из дерева. Кустарные промысла — тут не прихоть, не безделка, а важнейшая доходная часть крестьянского бюджета. Хохломская волость вся занята раскраской. В Хвостиковской — лачат и выделывают детскую игрушку. В деревнях Мериново, Сивцово и других — преимущественно тожаря по дереву, ложкари и тоже игрушки. Работают ложку еще в районе Городца.

Корпит над работой вся семья, от мала до велика, по 12—14 часов в сутки и производит товара на 60—70 копеек (ложкари). Методы производства самые примитивные — от дедов, от прадедов перешли, так и до сего времени остались. Что же говорить о культурной, политико-просветительной работе среди кустарей, разбро-

саных в лесах, за десятками непролазных километров?..

Много тут раскольников, староверов, кержаков. Сплошь и рядом бывает, что кооперированный кустарь, член какого-нибудь товарищества, исправно платящий членские взносы, вдруг решительно отказывается от соцстраха.

— Грех!

— Да ведь тебе же лучше, чудак-человек! Застрахуешься, — будешь в случае увечья или болезни получать пособие.

Мужик слушать не хочет.

— Грех это! Заболею я или останусь здоров, — на то божья воля. Против нее не пойдешь. Не нашего ума дело...

И отрубает:

— Можете выписывать из товарищества, а только страховаться не буду!

Дети кустаря, конечно, смотрят на мир другими глазами. Молодое поколение идет в комсомол, устраивает собрания и спектакли, выступает с докладами, организует политическо-общественные демонстрации и шествия. В Семеновском товариществе комсомольцев, например, человек тридцать. Процент довольно значительный.

Но идейные разногласия отцов и детей, преимущественно на религиозной почве, не всегда здесь заканчиваются победой молодого поколения. Прошлое давит, традиции живучи, велика еще психологическая и экономическая зависимость от отца, и часто парень, девушка, уступая воле стариков, ходят в церковь, постятся и говеют. Не смотря на билет ВЛКСМ.

Косный, дремучий быт... В школу инструкторов приходят бабы к заведующему:

— Сделайте божецкую милость, ослобоните моего мальчика.

— В чем дело? От чего освободить-то?

— Взяли его в класс, где игрушки из пальье-маше делают.

— Ну, так что же?

Баба бухается на колени, ползет к заведующему. Белесые ресницы ее мигают, дрожат, наполняются слезами:

— Уж ослобоните. Зазорно ведь для парня-то. Ни одна девка замуж за его не пойдет. Богом шрошу...

Пряничные терема

Кустарник и ельник отступали. Сорочка провожала нас хлопотливым своим стрекотанием. Впереди, на обрывистом берегу Керженца, в сыром тумане и осенней листве затолпились избы Меринова.

Роцин, горячий охотник, истоптавший леса уральские, ветлужские, нижегородские, только-что рассказывавший о медвежьих облавах, о приманке волка поросянком, весь охваченный охотничьей романтикой, пахнувшей морозом, порохом и свежей звериной кровью, вдруг прищурился и усмехнулся без едкости:

— Вон бедняк поехал.

К околице, лихо и размашисто выкидывая колени, подлетел резвый вороной конь, запряженный в дрожжи. С них соскочил садок, стал отпирать ворота.

— Я их всех бедняками называю. Придет ко мне, плачет, истерики закатывает, — с голоду, дескать, умирает. А, посмотришь, в месяц зарабатывает рублей полтораста. Народ!

Действительно, жили в Меринове на первый взгляд неплохо. Это — не подпертая колымаги, перекосившаяся лачуга Ивана Дмитрича. Дома в два этажа, с ясными окнами, с колончатыми не-деревенскими крылечками, с хитрой резьбой балюсин и наличничков.

— Сразу видно, токарь живет, — показал Роцин, — вон как разукрасил.

Новенький двухэтажный домик — игрушка цвета бисквитного торта, и резьба наличничков такая же кружевная, затейливая, как узоры на торте, сделанные из крема и сахара. Хозяин был на пойме. Сын, широколицый добродушный малый, что-то прожевывая салыным ртом на ходу, повел в мастерскую.

Изба разделена на две части. В одной за низкой изгородью поскрипывало, по-стариковски хряхтело большое, с зубьями, горизонтально положенное деревянное колесо, вертясь каруселью. Лошадь с мордой, обвязан-

ной мешком, — что голова не закружилась, — ходила, вращая колесо. В этом бесконечном кружении, топтаньи на одном месте было что-то унизительное, каторжное. Но слепая лошадь, не видящая рабского колеса, людей, бревенчатых стен, шла мерным шагом деревенских проселков. Сколько десятков километров отстаивала она вот так, не выходя из этой избы!

— Американская техника! — иронически покосился Роцин.

Колесо цеплялось за зубья деревянной шестерни. От шестерни через стену шел вал в соседнее помещение. Лошадь брела, вращались шестерни, вертелся за стеной токарный вал: мастерская работала.

— Лет сорок нашей токарной. Еще дед ставил, — со скромным самодовольством сказал малый. — Хорошо слажено. Плохой мастер сделает — здесь точат, а у соседей изба дрожит.

Тесное, низенькое, душное помещение, где работал парень в кепке, — брат малого, — наполнено было древесиной стружкой, в которую нога уходила по колено, и целой системой больших вертикальных колес, передач, деревянных валов. Все это по какой-то ассоциации напоминало средневековые инквизицию, колесование и, однако, работало как нельзя лучше.

Малый всадил в медный наперсток вала наспех обтесанный липовый чурбан, двинул колесо, давая лошади за стеной знак итти. Шурша, стремительно завертелся чурбан. Токарь приложил лезвие стамески. Разом глубокий шрам отделил кусок чурбака, нужный для крокетного шара. Колеса скрипели. Стамеска сдирала ленты дерева. Вместо сварачивающиеся стружки, как серпантин, взлетали из-под стамески в наклонившееся лицо, опутывали руки и жилистую шею, повисали в лохматых пепельных волосах и валялись к ногам. Все шло как-то само собою. Весело было смотреть на эту спорую, вкусную работу! Токарь лишь менял стамески, брал то одну, то другую из набора, лежащего под рукой. Грубый кусок древесины на глазах чудодейственно превращался в

шар, закручивался, делался ровным и гладким. Вот он уже еле держится, связанный с чурбаком лишь несколькими миллиметрами древесины. Токарь берет лоскут наждачной бумаги, горстью кладет на вращающийся, точно планета, шар, — он шипит, округлая поверхность окончательно отшлифована. Потом лезвие стамески разрезает древесную глуховину. Пожалуйте! Слово кость, гладкий и белый, лежит на ладони готовый крокетный шар.

Вся обточка заняла минуты три-четыре, не больше.

— В день сотню шаров сделаю!..

За полный крокетный набор — шары, молотки — кустарь получает тринадцать. Товарищество продает такой набор за пять рублей с копейками (точной цифры не помню). Но пока крокетный шар докатится до потребителя, по пути, как свежий ком, облипает он всякими накладными расходами.

Будучи в Ростове-на-Дону, Роцин увидел в магазине ЦРК семеновские крокетные наборы четырех- и пятирублевые. Здесь их продавали по пятнадцати, по семнадцати рублей.

— Вот это, можно сказать, накладочка!..

Любую вещь здесь точат. При мне в несколько минут так же вкусно и чисто выточили куклу-Матрешку, одну из тех, что вкладываются друг в дружку.

— Вагины это, — сказал мне потом Роцин. — Тут вся деревня — Вагины... Вот приедут они к нам, сразу на триста-четыреста рублей «белья» сдадут.

В этой деревне до пятидесяти токарных станков. Все старые, испытанные, с двадцати-, с тридцатилетним стажем.

* * *

— Заглянем тут к приятелю моему. Обидится еще.

Дом у приятеля Роцина был такой же нарядный, щеголеватый, в два этажа, оттенка кремового пирожного. Посредине вход в виде ниши, подпертой по бокам колонками. Приятель сидел

в «земнице» — в мастерской — на полу и обтесывал что-то топориком. Вороток свернувшихся спиралью древесных лент покрывал его колени.

— Ах, едрит твою корень! — радостно закричал он, увидя Роцина. — Чего пропал?

Рыжий ялок бородежки, голова в желтых вахладных ломах, из-под коротких голубели озорные и смысленные глаза, черная рубаша, в дырья видны худые ребра и острый локоть, — прямо «комаринский мужик», о котором поется в песне. Такое же инвизиционное колесо заслонило всю боковую бревенчатую стену. Тут станок приводился в движение не конной, как у Вагиных, а человеческой, мускульной силой. Болтая с нами, комаринский мужик в то же время работал не переставая. Топор с размаху падал на чурбачок как раз около придерживавшего его большого пальца. Вот-вот начисто отхватит плоский желтый ноготь, — смотреть жутко. Выделявал комаринский мужик икрушечную швейную машину.

Роцин вертел одну такую в пальцах.

— Сколько их ломают ребятишки!

— А для чего ж мы и работаем? — живо обернулся комаринский мужик. — Иначе и работы для нас не будет. Тем и живем.

Снова стал мерно взлетать топорик. Белые сочные щепы отскакивали в стороны, как лягушки, падали на лавку, застревали в пыльных стружках.

— А это что у тебя?

— Солдат стал выделявать. Ну, красноармейцев... Этот еще не готов. Вот галифе у него тут будут. Руки приделаем. Прямо жених!..

— Что ж ты это частнику стал сдавать?

— Какому частнику? — встрепенулся комаринский мужик, настороженно протянул волосатое, заросшее до худых скул лицо. Даже на секунду отложил на лавку топор.

— Капуку.

— Да нешто это частник?

— А то кто ж? Частное акционерное общество «Капук». Из Ташкента.

— А я думал — государственное. Ну, организация — и организация.

Ой, хитрил комарицкий мужик!.. Уж очень прозрачны были васильковые, выцветшие глаза его.

— Когда ж на охоту, Николай Сергееч? — спросил, прощаясь с нами. — На тетеревей? А?..

Перебой

Бельвешик в поле, на работах, — убирает яровое. Надо свезти снопы, обмолотить хлеб, запастись на зиму и только тогда, покончив с неотложной работой, засесть за ложку, строгать баклушу, обрезать черенок.

А пока лачила сидит сложа руки. Лачила четвертый месяц не знает, как найти заработок, деньги, хлеб.

Эти перебои — явление ежегодное, обычное, но сейчас оно ощущается особенно остро, болезненно. Кризис!.. Происходит это и потому, что бельвешник еще не принимался за работу, а главная причина — уход лажжаря на лесоразработку. Нет сырья. Нет полуфабриката. Как на всяком производстве, разноробой в работе, неслаженность ее болезненно отзываются и на общем деле и на самих работниках.

И потому с утра до вечера в кабинете Рощина — толчея, кавардак, карты, бороды и бороденки, шали и платочки, безнадежное ожидание, недовольство, нищенское выпрашивание:

— Работы!

— Денег!

Приходят жустари, уныло толкуются, смотрят по-собачьему ждущими, тоскующими глазами. Все время человеческий круговорот, плещущий в коробочке кабинета, в сизом, прокуренном воздухе.

Молодуха, сухоощавая, в черном полушажке, глаза ситцевые, линючие.

— Провалился бы и союз ваш!

Рощин, помолчав:

— Что ж, проваливайся, если хочешь. А союз не ругай. Чего ж в мастерскую не идешь?

— Нет, я уж совсем отойду.

— Твое дело.

— Знаю, мое. Работы нет. Что в союзе, что без союза, одна сласть.

— Ты в бельвешов товариществе? С них и спрашивай, почему не дают тебе

работы. У нас красивое товарищество, сама знаешь.

Молодуха отмахивается безнадежно и раздраженно:

— Говорила, что толку-то!

— Вот вы все валите на союз, а чтоб улучшить свое положение, — не хотите. Мы сами хозяева и должны строить свое благополучие.

— Никак сила не берет строить. Тут на кусок не знаешь, как добыть.

Молодуха оправляет платок и садится на свободный стул.

Руки ее симметрично положены на колени, ноги в заскоружлых деревенских башмаках поставлены рядышком — сидит в прямоугольной позе египетской статуи. Видно, пришла она сюда в сущности не ругаться, не требовать, не просить, а просто так, от нечего делать. Сидит, зорко ловит все ситцевыми своими глазами и смеется:

— С Роциным по крайней мере покалякать можно. Только награды никто тебе, Рощин, не дает.

Окурок, от которого тянется вверх голубое дымное растение, шевелится в уголке рта Рощина. Искорка юмора вспыхивает в утомленных глазах и тухнет.

Неуверенно подходит к столу молодой, ледащий, невысокий лачила в стоптанных сапогах с низкими голенищами. Козырек надвинут на глаза так, что кустарь смотрит, подняв голову, и от этого выступающая челюсть, проросшая белесой щетинкой, кажется еще длиннее.

— Нет работы, Николай Сергееч. Ложек нет.

— Так ведь вам же давали.

— Тридцать тысяч на пятнадцать человек. Да и когда давали! Всем дали, а мне ничего!

— Как же так?

— Да уж вот... Дайте хоть скольконибудь.

— Подо что ж я тебе дам аванс? — Рощин прислоняется к спинке стула, сдвинув брови, смотрит в упор на лачилу. — Я тебе могу дать только под работу.

— Да работать нечего.

— Иди в общественную мастерскую

— Как он пойдет, — входит в комнату жена лачилы, все время в качестве резерва стоящая за порогом и только высывавшая в дверь худое носатое лицо, охваченное платком. Теперь настал момент выступить и ей.

— Он пойдет, а я что ж? Куда игла, туда и нитка. Вот пошли бы, а куда ребятешек деть? Пятеро ртов, мал-мала меньше.

Лачила переминается, вздыхает. На впалых заросших щеках его напряженно движутся желваки.

— Дайте хоть что-нибудь. На хлеб, — говорит он тихо и уныло, косясь исподлобья. Жена поддерживает:

— Есть нечего! Зимой ведь только на дрова и заработаешь, а летом голодуешь.

— Все говорят, что с голоду подыхают, — с сердцем отзывается Рошин, — а заработки, посмотришь, по полтора ста!

— Да какие же у нас полтора ста!

— Вот придет Юрьев, узнаем, почему тебе ложек нет.

Приходит Юрьев, долговязый, унылого вида, давно небрившийся парень. Он приносит личную карточку кустаря и длинным средним пальцем, подогнув остальные, начинает отщелкивать косячки счетов. В июле лачила заработал шестьдесят рублей, в августе — срок восемь, в сентябре, за несколько дней, — двенадцать.

— Как же ты говоришь, что с голоду подыхаешь? — исподлобья уставился Рошин. — Вот, зарабатываешь же.. Послушаешь — все голодные, всем есть нечего, а на улице пьяные ходят..

— Мы пьяные не ходим.

— Не вы, так другие.. Ну, выясним сегодня вечером твой вопрос. Заседание будет.

Лачила уходит, стараясь не трогать сапогами, баба плетется за ним, а на смену им к столу Рошина подступают новые. Но слова их все те же:

— Есть нечего!

— Денег!

...Кризис кустарного промысла. Перемой. Кормилица-ложка, из поколения в поколение питающая кустаря, нынче уходит от него. Впереди — безрабо-

тица, голод, нищенство, если только не подымеется, не расцветет вновь лужкарный промысел.

Как бьют баклуши

Бить баклуши — занятие; принято думать, только для бездельников, лентяев, лежебоков. Мариново заставило меня усомниться в правильности этого распространяемого мнения.

Но прежде о ложке. О той круглой крестьянской деревянной ложке, которая в каждой хате, за каждым солдатским голенищем, в каждой деревенской харчевне, которую до войны Семеновский уезд выбрасывал на всероссийский рынок в количестве двухсот миллионов ежегодно, а теперь вдвое меньше: 100—110 миллионов. Семеновский кустарь снабжал деревянной ложкой всю крестьянскую Россию. Главный поставщик. Только здесь и есть лужкарный промысел. Есть еще в Сибири, занесли выходы из семеновских же лесов, но там промысел этот развит незначительно.

Проблема крестьянской ложки не менее серьезная, чем многие проблемы наших дней.

— Лужкарный промысел падает, — таков общий голос работников промысловой кооперации.

Крестьянину скоро нечем будет есть кашу, хлебать щи. Снабдить деревню в достаточном количестве металлической ложкой мы пока еще не можем. Даже по пятилетке, как уверяли меня в Нижнем, — оставляю это на совести говоривших. Но там или иначе единодушное мнение людей сведующих:

— Деревянная ложка должна жить!

Причины падения лужкарного промысла?.. Их много. И основная, конечно, та, что кустарю сейчас экономически невыгодно работать ложку. Как бельевщику, так и лачиле-окрасчику. Работая несчитанные часы, — какой уж тут восьмичасовой день! — хороший, опытный кустарь сделает восемь-девять десятков ложек. Итого 70—80 копеек в день. Средний же заработок гораздо меньше. Гораздо выгоднее пойти на лесозаготовки. Тут и заработаешь больше и, кроме того, продовольствием

обеспечен: лесному работнику дается пшено, хлеб, сахар.

Кроме того, дорожает сырье. Чьи-то мудрые головы распорядились отводить делянки для лесозаготовок как раз вблизи деревень и сел, заселенных кустарями. Береза, осина, клен — породы, идущие на выделку ложек, — рубятся под корень, сводятся на дрова, а ложкарь вынужден ехать за пятнадцать-двадцать километров от своего дома в поисках нужной древесины. Одна амортизация и прожором лошади стоят, пожалуй, дороже того, что он зарабатывает.

Итак, низкая оплата труда, отдаленность лесосек, материальная необеспеченность — все это отталкивает ложкаря от своей специальности. Промысел хиреет. Ложкарь валом валит на лесозаготовки. Если токарь по дереву более или менее материально обеспечен, может ставить дом, похожий на пряничный теремок, то ложкарь, орудия производства которого только топор, ножик да пара крепких ловких рук, — по большей части бедняк, голытьба, пролетарий, часто даже не имеющий своего надела. Нижегородский край — потребляющий, своего хлеба нехватает, и это остро чувствуется при грошовом заработке ложкаря.

Ложкари разбросаны по деревням Семеновского района, группами по несколько семейств. Объединяют их товарищества Земешковское, Кондратьевское, Озерское, Елоховское, Пятницкое. Судя по официальным данным, число кооперированных кустарей увеличивается.

Низовая сеть ложкарного промысла на 1 октября 1928 года:

Артелей и товариществ — 14; членов артелей — 5.127.

На 1 августа 1929 г.: членов артелей — 6.959.

Паевых взносов — 157.804 руб.

Вкладов — 76.562.

Промысловая кооперация охватывает до 70 проц. всех кустарей-древообделочников Нижегородского края.

Сортов ложек много. Различаются они по величине, по форме самой ложки и черенка. Самый ходовой — «полубас-

кая», та, что в каждой крестьянской избе. Потом — «рабочая», которая в рабочих артелях, емкая, крупная, специально рассчитанная на то, чтобы побольше зачерпнуть из общего котла. Есть еще «межеумок», «сибирка», «тонкая кленовая», «носик» — самый дорогой сорт, с острым носиком, и, наконец, детские сорта.

Здесь тоже разделение труда: вырезает ложку муж, а шлифует ее, отделяет обычно жена.

...Мы бродили по Меринову. Ветхий дед в синей поскобленной рубахе, согнувшись около сарайчика, обтесывал топором баклушу. Голое коричневое темя его в венчике легких изжелта-белых прядей похоже было на краюху ржаного хлеба. Свежие маслянистые щепки падали на лапоть.

— Ложкарь! — живнул головой Рощин. — Ну, мы других посмотрим. Здесь их много.

Разыскали самого старого. Аверьян Дорофеев Вагин, чуть волоча ноги в многолетних растоптанных валенках, подшитых кожей, быстрой, бодрой еще походкой вышел из своей избытки. На мяснстом, грибообразном носу глубоко села железная дужка очков, скрепленных веревочкой, обхватывавшей голову. Подслеповатые блеклые глазки крохотко мигали поверх них. Усы, пышные, точно вата, сливались с такой же белой бородицей. Похож был этот добродушный патриарх, балагур и шутник, на святочного деда-Мороза.

«Мастерская» его тут же, в углу за выступом изгороди. Сверху, от дождя, положено несколько дощечек. Парень в белой распоясанной рубахе, наступив сапогом на березовое, приготовленное уже бревно, помог деду отпилить чурбак. Дед засел в своем кутке перед изрубленным пнем, несколькими ловкими, точными ударами топора выделывал из чурбака «баклушу» — грушеобразный кусок дерева, прообраз будущей ложки. Над языческими его сединами, над трогательными очагами, скрепленными веревочкой, вставляли чванные медово-желтые подсолнечники, свисавшие с высоких стеблей, и синяя свежесть неба.

— Много тебе лет, дед?

— Восьмой десяток доживаю. Женишься скоро, да вот не знаю, как баушку свою с плеч скачать. Все по кутжку ползает.

Кругом стояли токарь Вагин в глухом черном картузе, степенно нахлобученном, сын его, точивший крокетные шары, еще два-три мужика. Стояли, заложив тяжелые руки за спину, морщась и светясь улыбками, добродушно-довольными: вот какой у них в деревне дед, хороший и веселый!..

— Никак баушку не сваряжу. Жду, когда помрет. А то жених хоть куда!

— Для кого ложку работаешь?

— На волю.

— Что ж ты в товарищество не идешь?

— Стар уж. Да и какая теперь моя работа. Так, от горя-несчастья. Сидишь, сидишь, скушно станет, ну, и начнешь. Так-то, молодчики!

Топор тесал березу, откалывая разлетающиеся в стороны щепы. Потом дед положил топор рядом со своим валенком, взял долото на короткой ручке, похожее на мотыгу, и стал «теснить» — выдалбливать углубление ложки. Раскалывал:

— На выставке меня показывали. В Нижнем. В тыся восемьсот девяносто шестом году. Обгородили меня вот так на этой... как ее... на витрине. Чтобы щепы, значит, в проход не летела. Я сижу, работаю, а кругом народ стоит, глядит... Государь был, тоже смотрел.

— Бывший, — пояснил нам Вагин, пошевеливая темными пальцами заложённых назад рук.

— Ну, да, бывший. Николай.. Тогда я работник хоть куда был!

Дед мотнул клокоистой бородой на обступивших его.

— Это — молодежь, молокососы.. А я — коренник. Это уж все отростки от меня пошли. А я первый начал ложку делать, всю деревню соблазнил. Первый Вагин.

Кончив теснить, он стал обрезать, — прошлепая ножом по ложке, подравнивая и отделывая ее.

Поднялся, стряхивая древесный сор с жюлен ореховыми своими руками в сетке сизых, вздувшихся вен. Захватил несложный инструмент и той же,

почти молодой, быстрой, волочащейся поступью пошел обратно в избу шлифовать.

— Да-а, — протянул старший Вагин, — самый последний промысел. Сколько в руках перебивает.

Мужик в ярко-розовом, как ямарочная конфета, ситце поддерживал сишлым, застуженным голосом:

— Сидит вот так, сидит, — за день полтинник. Гиблое дело!

А дед уже просовывал бороду в подслеповатое, как и сам он, окошечко избы. Голый глянцевиный лоб его, изрезанный толстыми складками, блеснул на солнце.

— Готова ложка. Извольте.

* * *

Ожесточенная борьба идет вокруг этой деревянной ложки, вырезанной из березы старыми руками Аверьянов Дорофеевичей. Борются кооперация с частником. Каждый хочет сманить к себе кустаря. Каждый соблазняет ложкаря надбавкой, более дорогой ценой. «Кашук» — по-узбекски «ложка» — частная фирма из Ташкента, протянул длинную загибающую лапу до заоконного Семенова, открыл здесь свое отделение. Кроме «Кашука» борются за семеновскую ложку «Щепник», «Ложкосбыт» и другие частные фирмы. Этот спрос очень характерен. Выгодная, значит, статья дохода крестьянская ложка, если частник так ревностно и упорно хочет стать монопольным хозяином рынка. И действует в этом направлении не безуспешно.

— Никак частника не догонишь, — вздыхали в Семенове.

— Бывали моменты, мы семнадцать процентов накидываем, а он — двадцать. Мы — еще десять, а он сразу двадцать кладет. Разве утонишься за ним?.. Ну, и несет кустарь ложку, конечно, к нему.

Я попробовал уточнить:

— Выходит, бьет вас частник?

Меня поправили:

— Жмет, но не бьет. Жмет — это верно. Все-таки на семьдесят процентов кустарь сдает нам. Обычно сдают частнику необъединенные в кооперации кустари. А если цены одинаковые

и у нас и у частной фирмы, то даже и не-члены товарищества, не говоря уже о кооперированных кустарях, предпочитают сдавать товар нам. Ну, конечно, тут не обходится без тех либо иных мер воздействия.

Как бы там ни было, но пока что, как уже указывалось, промысел чахнет. Лесозаготовки отвлекают значительную часть ложжарей.

Теперь, кажется, обращено внимание на возрождение ложжарного промысла.

В Нижнем при Ярмаркоме было специальное совещание, посвященное этому вопросу. Решили процентов на шестьдесят-семьдесят увеличить за-

работок кустаря, повысив расценку сдаваемой им продукции. Решено снабжать их хлебом.

— Если забронировать за нами на год 1.000 тонн хлеба, — для всего промысла хватит, — говорили мне в Семесове.

Наконец, обращено внимание и на приближение лесных делянок непосредственно к кустарю. Лесхозам должны отводиться более отдаленные участки. Пусть там заготавливают дрова.

— Возбудили вопрос перед центром, — сказали в правлении товарищества. — Если только выйдет дело, — здорово пойдет к нам ложжарь.

3. ТРОЕ ИЗ ПАРТГОРОДА

Зарисовки

Павел Кофанов

I

Мы сидели с Юнченко на партсобрании, посвященном чистке.

Первым чистился Лихачев, печатник лет двадцати пяти, ныне работающий в жилищооперации. Его лицо не только обнаруживало волнение, это было бы понятно, — оно раскрывало всего человека, и человек этот оказывался в высочайшем напряжении.

Стали слушать биографию Лихачева и задавать ему перекрестные вопросы, — оказались и у него прорывы. Нащупали и у него слабость, и это заставило окаменевшее в напряжении лицо покрыться белыми и багровыми пятнами.

— Собак, говорю, давно держите?

— Собак?.. Да, собак имею.

— Давно?

— Точно не помню... Наверно, года три... Всегда их любил... Как квартиру получил, так и заимел... Детей же у меня нет.

— На вас тут имеется заявление.

Это допрашивал член комиссии. Продолжав с минуту, он добавил:

— Для члена партии, товарищ, дозволено зазорно возиться с собаками, когда у нас столько бесприворных.

Председатель улыбнулся, но сейчас же прикрыл улыбку ладонью, протяжно зевнул, а затем устоялся, не мигая, прямо на Лихачева:

— Хромаешь почему?

— В гражданскую. Под Краснодаром.

— Так. Как осуществляешь рабочую линию в жилищной политике?

— Не знаю. Работал по директиве... Известно, как партия приказывает.

— Ну, а вот квартир у нас нет, рабочие ютятся в конурках, а всякая сволота пролезает по кабинетам и перехватывает квартиры, — как ты?

Лихачев посмотрел в потолок, потом в зал, поднял было уверенный кулак и опять опустил. Дерзко устоялся на допрашивающего.

— Известно как.

— Ну?

— По шням. У меня, брат, не получишь. Я так и коллеги своей заявил.

Намек председателя на рюмочку вызвал смех в зале. Выступления рабочих подтвердили, что действительно парень «и в рот не берет».

— Что же, оставим товарища Лихачева?

Весь зал, четыреста с лишним человек, тихо, но уверенно и без всяких колебаний отчеканил:

— Оставить!

Еще прошло два человека. Одного охарактеризовали: «Тихий, тихий, мухи не обидит». Оказался псаломщиком. Еще работница Бромг. Услышали: латышка из Риги, на производстве с 14 лет. С мужем развелась, ребенок у нее. Она — женорганизатор.

— Что такое правый уклон?

— Это когда не надо у кулака брать хлеб и строить заводы.

И у этой лицо кипело предельной тревогой и предельным желанием ничего не утаивать и, если найдутся недочеты, очиститься от них. Женщины-работницы горой встали за свою женорганизаторшу:

— Она знает... Тоже, пристали!

— С волнения забыла.

— Ручаемся все за нее.

Бромг тоже оставили — единогласно.

— Баба хорошая, — вздохнул мой приятель.

Зал уже наполнился дымком, и дымок этот тянул из-под скамеек, к которым склонялись курящие. Председатель разъяснил задачи пятилетнего плана, разъяснил, почему в партии надо оставить только преданных, только активных и по-прежнему беспощадных к врагу.

II

Собственно, Юнченко не был моим близким другом. Сошлись же мы с ним и могли часами вместе проводить время потому, что жили в одном ЖАКТе, работали в одной культкомиссии.

Главным в Юнченке оставались его фантастические домыслы. Занимались они его и сейчас.

— Я вот так и вижу, — поминутно говорил он, дергая меня за плечо, я вот так и вижу, — стоит мне закрыть глаза, — понимаете, мысленно вижу население наше группирующимся по известным признакам...

— Тише, мешаешь слушать, — раздается сзади нас.

Но остановить моего чудаковатого приятеля было уже невозможно: он возбуждал меня своим жарким шепотом, отрывая от действительности и непосредственных представлений.

— Так и вижу эти признаки. Наблюдали вы надих людей, скажем, на пар-

тийных собраниях, на конференциях инженерно-технических сил, в комсомольском клубе, на закрытом спектакле, купленном только для кооперативных организаций или только для медицинских, судебных и др. работников? Наблюдали?

— Вы продолжайте, я вас понимаю, — полуобернулся я к нему.

И он, выштячивая вперед круглые голубеющие глаза, продолжал:

— Так вот... Если долго думать, если сосредоточиться, сразу увидишь эти отдельные группы, мало пока связанные друг с другом. У кооператоров свое лицо, своя мимика, своя манера одеваться. Медицинские работники имеют свои разряды и деления, за свою корпорацию во как держатся, попробуй-ка втиснуться на их вечер, на их собрание или митинг — так и выпрешь из всех своей отличностью. Про партийцев я уже не говорю. Они ласковы друг к другу и насторожены к беспартийным. В их глазах фанатизм и беспощадность. Так же отличен комсомол, пионерия и даже группы рабочих по профессии. Рабочие, впрочем, меньше...

— Что вы всем этим хотите сказать?

На нас опять шикнули. Но мы уже не слышали. Я уже стал проникать в бред Юнченки, хотя картины, им порожденные, сразу же затухали в сознании.

— Я вижу ряд городов, и у меня все это архитектурно оформляется. В центре каждой такой органической группы городов, комбината городов, я вижу партгород, конечно, как корпорацию людей? А вокруг по классовому признаку группируются города рабочих союзов, кооперативных и прочих организаций... Жизнь каждого города другому видна, да не совсем. Она — за тоненькой стеклянной перегородкой. А вот сейчас, на чистоте, эта перегородка снимается, и люди из партгорода отчетливо проходят перед нами.

III

Снова проходили люди. Высокн или сутуло низкие, со светлыми или мрачными лицами... Их спрашивали, они:

отвечали. У каждого находились в жизни мелочи, сучки и задоринки, их выявляли, к ним придирались. Крикливый голос из зала долго мучил партийца-армянина, стоявшего понуро у стола. Допрашивал армянин же:

— А пусть он скажет — торговец его тесть или член профсоюза? Кто по воскресеньям ездит к шурину-кустарю в гости? не было ли у него на квартире в прошлом году именин? И нельзя ли, товарищи президиум, спросить еще по-армянски? Можно? Так вот...

Потом почти все, бывшие в зале, привстали, все глаза, загораясь недружелюбием, смотрели на одного человека. Ага, человек этот снова произнес, уже второй раз, и как-будто подчеркивая каждое слово, каждый звук:

— Да, я был троцкистом, только настоящим и убежденным. Потом покаялся на все сто...

Недружелюбие усилилось. Молчали все, а слышно было, что негодуют. Поразило меня и то, что вот разбирается же наша масса так тонко в политических вопросах и партийных разногласиях. Впрочем, снова мои мысли изменили направление. Когда взглянул на костлявого высокого человека, заявившего о своем былом уклоне, подумалось, «что если в будущем будут партгорода, если сейчас условно принять их существование, — то это уже один из партгорода. Странный, сумбурный, до предела искренний человек. Настоящий — и именно оттуда».

IV

Он в самом деле выглядел странным, но подкупал искренностью.

— Тип сподвижника, — буркнул недовольно Юнченко. Я же не отрывал взгляда от человека, стоящего у стола коммюни и тихо, рынком, откашливающегося в руку.

Глядел он смело, почти весело, а лицо страдало. Рот почти складывался в добрую товарищескую улыбку, а складки у губ все-таки подергивались, и чем больше он говорил и чем основательнее засыпали его назойливыми вопросами, — тем больше сжимали

и очерчивались вымученные жилы на его висках.

Голос у него, впрочем, не сдавал. Как у всех высоких, худощавых, predisположенных к туберкулезу, тенор его вольно и красиво устремлялся вверх, подкупал трепетными переливами, будто урезонивал: «Что вы на меня смотрите, вы проникайте за человеческими словами». Косоворотка с расстегнутым воротником скоро пропотела на груди, куртка, наброшенная на плечи в накидку, казалось, жила самостоятельной жизнью, а руки, поднимаясь, ловко захватывали в воздухе горстями нужные и самые убедительные слова.

Помбух, сидящий впереди меня, крупно зевнул и сказал:

— Ну и спектакль. Не хотел бы я быть в партии.

Его допрашивали с «пристрастием и пыткой словесной» больше часа.

V

— Вы, товарищ Черенков, сознательным были троцкистом?

— Вполне сознательным!

— Агитацией занимались?

— Отчаянно. Ставил целью своей жизни борьбу с партией.

— Вы учились в Москве?

— В Свердловске. Был секретарем ячейки.

— Там тоже выступали?

— Говорю же вам: всюду, куда нужно было послать крепкого докладчика, посылали меня.

— Вы добровольно переехали к нам на юг?

— Нет, по заданию троцкистского центра.

— Здесь тоже вели агитацию?

— Вел.

— После раскаяния проявлялись уклоны в вашей практической работе?

— Типе, товарищи в зале. Товарищ Черенков на все ответит, а кого ответ не удовлетворит, может еще спросить или выступить в прениях. Товарищ, потише там со своим негодованием. Товарищи, что за выражения...

— Давайте, товарищ Черенков!

Стоит ли передавать его биографию? Да я и не запомнил всего. Обыкновенное жизнеописание обыкновенного человека, если ее рассматривать по частям. А соединял человек части воедино, смотрел при этом внутрь самого себя, и выходило, что жизнь его — поучительная жизнь и трогательная неожиданностью сочетанием этих самых обыкновенных частей. Красной чертой проходило через весь рассказ основное: много раз ошибался, но сам отходил от своих ошибок и, сталкиваясь с рабочими, проверял на них, как в зеркале, свои ошибки. И опять вгрызался зубами в книги, глазами — в людей, соединяя кусочки правды, сидящей в каждом, в одну огромную человеческую правду: она, эта найденная будто бы личным опытом главная жизненная правда, и есть содержание и форма партийной программы и тактики. Генеральной линии партии.

— Мне ведь похвастать особенным нечем, — спокойно говорил он. — Даже в гражданской войне не участвовал по той простой причине, что имею от роду 25 лет и, значит, в те годы был мальчишкой.

А стал рассказывать про детство и первые мытарства, почувствовались в его скупых, но верных словах и железнодорожная будка в лесу, где он после убийства отца бандитами служил с матерью — «двое за стрелочника», и работа чернорабочим по ремонту пути в Сибири, и пастушья годы на Украине.

Чужак в своем роде, — откровенный, упорный, раскрывающийся до отказа, — ни одной из сотен реплик он не пропустил. Каждую подхватывал и незаметно вставлял в свою исповедь, поворачивая ее к слушателям лицом ответа. Выходило даже так, что говорил не один, а все собравшиеся. Каждый или почти каждый мог бы подписаться под его словами. Может, потому и злились на него отдельные. Просто видели, что его ошибки — ошибки многих и что сейчас, очистившись в огне беспощадного самоанализа, человек ближе к заветам вождя, чем другие, из благополучных, застывших в своем благополучии и партийной непогрешимости.

— Работал в Туле на оружейных заводах?

— Работал. Я — слесарь...

— Может, снова на завод? Может, лучше было не давать учиться?

— Да ведь нам не давать учиться, что ишенице приказать не расти. Бесполезное дело!

— Можешь ты, товарищ Черенков, дать слово, что больше у тебя уклонов не будет?

— Нет, я знаю, что уклоны у меня будут.

— Почему же это?

— Потому что я партиец и человек, а не автомат, которого завели раз навсегда — и готово.

— Чудно ты крутишь. Есть у собрания вопросы к товарищу Черенкову?

Он опять отвечал на вопросы: как смотрит на кулака и на Бухарина, на пятилетку и китайские события. А я почти не слушал. Шумными водами протекали через сознание все его большие и малые слова, и я видел, как в глухом, дождливом лесу идут две фигуры: мать и мальчишка, закутанные в тряпье, с зеленым и красным фонарями, — идут встречать в полуверсте проходящий поезд. И, вероятно, не раз плакала ночами мать: «Так, Егорка, и умрем мы с тобой в лесу». Он же, вздрагивая, как и сейчас, плечами, обнадеживал: «Выберемся, мамка, из лесу, на свет, погоди немного. Выберемся!»

VI

Он кончил.

Судьи за столом сидели хмурые. Судьи в зале — четыреста человек рабочих от станка — настороженно молчали.

— Так что же, товарищи, оставим Черенкова в партии? Можно оставить такого в партии? — спросил председатель, кажется, единственный человек совсем спокойный.

Я невольно зажмурил глаза, хотел убежал куда-то, чтобы не слышать беспощадного ответа, — я воспринимал и сознавал только одно: что и у меня и у других отошли сейчас на задний план все повседневные дела, что мы, беспартийные, вращались сейчас в пар-

тию, конечно, некоторые только на короткий миг, почували свое органическое сродство с ней. Оказывается, она не отгорожена механически от каждого из нас, но живет и действует в каждом. Только в обычное время мы этого не ощущаем. Глубоко внутри каждого живет и происходит этот процесс. А теперь он прорвался наружу, и вот все мы чистимся, очищаемся от случайной накипи.

Объявили приговор. Что-то обрывалось в груди: я весь прямо трепетал. — Оставить в партии.

Человека на год прикрепляли к крупнейшему местному заводу.

VII

Я все не мог опомниться. Все смотрел на него и растерянно улыбался, видя, как и он улыбается. Мне было и жаль его и радостно за него.

Главное, поразило меня: он сел спокойно. Посматривал на всех ласково, дружески.

— А кого если вычистят, ставку у них сейчас же отнимают? — спросила машинистка Галя, обращаясь к помбуху.

— Мне говорили, что оклад шесть месяцев сохраняется.

Я перенесся мыслями ко всей интеллигенции. Не может быть, чтобы все мы только и думали, что об окладах и сытой жизни. Но отчего же у нас все так застойно и неподвижно? Вот человек, хоть и ошибался, но видно, что он верит в радость и идет вперед. А многие тысячи инженеров, писателей, врачей, куда они идут и в чем они ошибаются?

Ага, Малов! Директор крупнейшего металлургического завода! Ну, и денек, прости аллах, выдался. Ну, и денек!

VIII

Дело было не только в Малове. Не в Малове срывалось главное.

И партийные и беспартийные втянулись в чистку, не могли не втянуться в нее — так же, как не может не стремиться в баню давно немывшийся человек. Резкий поворот социалистического корабля влево: многим набил

пишки на лбу; другие растянулись на палубе и не могли подняться. И особенно много обнаружилось разложившихся. Время же, классовая стройка, битва с врагами за пределом советских необозримых пространств и на территории необозримых советских пространств требовали от людей чистоты и честности. Так была осознана необходимость открытой партчистки.

И знали советские люди: металлисты, сезонники, кооператоры, колхозники, инженеры, партагитаторы, швейники, горняки знали, что чистка началась повсеместно и зависит от активности всего организованного населения: Не один клуб типографии, железнодорожных мастерских, табачной фабрики чистит: все такие же клубы и красные уголки и цехи собрали сейчас миллионы людей по Союзу автономных республик, чтобы проверить, прощупать, определить — солдаты революции или балласт Черенковы, Маловы и прочие...

Негодование собрания против Малова натолкнуло меня на такую мысль. А что, если бы меня сейчас начали чистить? Что я? Каков, как боец и гражданин? Как близко подошел к задачам ответственного пятилетнего плана и как помогал их осуществить? За или против? Или я все под тюгами боляюсь, все нейтралитет держу, поинтеллигентски цепляюсь за жалкое, пустое в наших условиях слово: специалист?

IX

И я ошелел.

Белые-белые волосы. Значит, старик? Нет, по лицу, по осанке, по интонациям голоса — молодой. Может, тридцатилетний бюрократ из разложившихся? Нет, ему шестьдесят лет. Рабочий. Первейший токарь с сорокалетним стажем. Колеблется в чем-нибудь? Не умеет излагать мысли? Подкоплен недружелюбной зарядкой зала? Тоже нет. Во всем уверен. Все знает и предвидит. Говорит просто, но хорошо и убедительно. Почти доволен чисткой. Руки держит в карманах коротенького черного пиджачка, но плечи и локти и вся подвижная фигура

достаточно выражают все оттенки его речи. Это и есть Малов.

В партию вступил в 1902 году.

Мне показалось, что комиссия по чистке как-то уж очень милостиво к нему настроена. Председатель в такт его фразам постукивал кончиком карандаша по столу, члены комиссии почти повалились на стол и, видимо, отдыхали, уверенные, что с этим все ясно и париться не придется. Его биография, озаренная скитаниями по тюрьмам и ссылкам, двумя побегами и подпольной работой в крупнейших индустриальных городах России, усыпляла и укачивала на мягких волнах доверия.

Отбыл десять лет каторги.

Хорошо ли работает? Хороший ли токарь? Ему трудно хвалить себя, пусть металлисты скажут. В мирное время его товарищи по станку зарабатывали 7 руб. в сутки, он — 19. Сейчас пробовал на месяц в целях поощрения опять стать к станку — и что же: легко выполняет работу двоих квалифицированных токарей. Управление заводом? Пусть расскажут цифры. За два года руководства производительность поднята на 47 проц., себестоимость снижена на 16 проц. Отстроены два новых корпуса, число рабочих увеличено на 28 проц. Завод в этом году премирован ВСНХ как показательный.

Я недоумевал: ну все, все хорошо. А зал не принимает слов, отбрасывая их в сторону. Молчит, но в этом молчании зреет буря, лица стягиваются упорством, за которым — беспощадность и расправа.

Помбухгалтера дремал, подперев голову ладонями. Галя же почти вслух спросила у всех сразу:

— Говорят, у него личный автомобиль для развозов и корошенькая молодая жена: из актрис.

Юнченко почти так же громко ответил:

— Жены молодые — вещь не вредная. Что же касается автомобиля, то через десять лет каждый рабочий сумеет взять на выплату себе автомобиль вместо швейной машины

— Вопросов нет, товарищи? Будем Малова утверждать?

Тогда-то и поднялся неожиданный гам. Казалось бы, измороженные голодным ожиданием, сотни фигур должны были мечтать об окончании собрания. Вышло наоборот.

— Как так утверждать?

— Что это, зажим?

— Почему вопросов не даете сказать?

— Поверили, что красно говорит?

— И вас купил словами?

— Требуем слова, председатель, и чтоб без ограничения.

Трудно передать с точностью все выкрики и всю обстановку допроса Малова. Помню только, что все винтики собрания сошли с места. Человек двадцать рабочих стояли с возмущенными лицами и вытянутыми руками, некоторые пробирались вперед.

— Чем не интересный экземпляр? — восхищался мой приятель. — Ведь я же говорил, прямо типичнейший дядя из партгорода, которого мы сейчас, как жучка под микроскопом, рассматриваем в опромное увеличительное стекло... Только я б его, понимаете, я б его сохранил и пожалел. Напрасно они его так. Стоющий...

Попрежнему уверенно стоял Малов. Бритый, беловолосый, с молодыми пронзительными глазами.

И вот посыпались вопросы — злые, тяжелые и хлесткие, как плети:

— Пусть расскажет, как в шестнадцатом в Баку сорвал забастовку и выступал за войну до победного конца.

— Расскажи, как в восемнадцатом вместе с другими меньшевиками пошел на соглашение с хозяйственниками и предал нас?

— А помнишь, Малов, в девятнадцатом при Ленине, как ты разлагал рабочие ряды, отговаривая от организации красногвардейских повстанческих отрядов?

— Вспомни-ка, товарищ, великолепный директор, не ты ли в двадцать первом заявлял что большевики — враги народа и погубили Россию?

— А помнишь, как ты радовался, что наступил голод и разруха, и говорил: «Чем хуже, тем лучше»?

— И в двадцать восьмом, уже будучи в рядах нашей коммунистической партии, говорил: «Что мне рабочих!

Я одного инженера не променяю на сто рабочих?»

Сыпалась лавина: «Помнишь? Расскажи-ка? Забыл, небось? Не ты ли говорил? А кто продавал? Кто выгнал большую жену с ребенком на улицу в мороз и снег ночью?»

И человек из партгорода, привыкший повелевать и жить большими масштабами, болеть и радоваться за всю республику и думать о заводе прежде всего; человек — меньшевик с 1902 года, отбывший 10 лет каторги, голод, побои, скитания по ссылкам и в подполье, большевик с 1924 г., рабочий по психологии, взглядам на жизнь, убеждению, напористым методам работы; человек с белыми-белыми волосами, бритый, в коротенькой чистенькой курточке, человек вынул, наконец, руки из карманов.

Упорный, быстроглазый, умница он сникал, бледнел, желтел и на глазах у всех старел. Плечи обвисли: он, казалось, стал меньше ростом.

Он плакал. Уронив вымазанную в мазут вешку, — лично утром осматривал котлы, — топтался по ней и плакал. Лицо все так же оставалось открытым, только глаза тускнели от слез и переставали видеть. А его все бичевали, хлестали, стыдили. Ему напоминали его ошибки.

— Я бы его в два счета вычистил, — порывался вверх и вперед мой сосед слева. — Гнать таких надо, а не то что...

— Так что же, товарищи? Как решим с Маловым? — обратился к собранию нахмуренный председатель.

Встал замухрыжистый по виду рабочий. Источник, мало замечаемый в обычное время. Очень высоко поднял голову, откашлялся, почесал затылок, сказал:

— По-моему...

Он передохнул, и все затаили дыхание. Душно стало: показалось, как он решит, так и будет. Все смотрели на него.

— Я предлагаю, товарищи...

И опять поперхнулся, закашлялся, — видно, у него не шло с языка нужное слово. Я подумал: «Скорее бы казнил, — нельзя так мучить!»

— Я предлагаю... По-моему, как я есть рабочий, настоящий полуголодный пролетарий, и взвесил все, обсудил...

Оразу отчеканил, словно готовился перекричать многих, если ему начнут возражать:

— Оставим его, ребята. В партии. Вот што. И прошлем обратно к стаякву. Только и делов.

Все облегченно вздохнули.

Оставить. Послать на производство.

X

Вдохнул и я. Сам не знаю, почему. Мне-то какое дело в конце концов? Отвели место на галерке, на окраине воображаемого комбината городов, ну и сиди, созерцай. А вот созерцать-то и не хотелось на протяжении всего собрания.

У стола комиссии стоял ректор университета.

— Чистят-то с песочком.

— А ты как думал? Теперь уж не останутся случайные.

— Почему знать. Видишь, упор все еще на биографию делается.

Так и выходило. Человек как вышел, так и стал говорить: важный, лицо доской, глаза в массу; мол, не меня чистить надо, а я вас достоин всех чистить. Горделиво, со спесью, откинув назад маленькую головку, повествовал длинно и самодовольно обо всех своих революционных заслугах на протяжении 25 лет. Чего тут только не было, каких чудес он только не совершал, каких заслуг не имел! Во всем этом прежде всего он был уверен сам. Других даже не убеждал; само собой предполагалось из слов и взглядов, что все не только должны поверить этому, но уже знают и верят и вот-вот скажут: «Довольно!»

Важно повествовал человек, а комиссия хмурилась. Как по рописанию, без запинки, может быть, выучив дома наизусть, гнал он словесный поток в зал, а рабочие тяжелели в молчании и отводили безразличные глаза от его важнецкого взгляда. Регулярно, раз за разом, раскрывался и закрывался его дряблый рот, и щеки поспевали за этим ритмом, морщились и вновь раз-

глаживаясь желтыми вялыми листьями; но вот в самих зрачках, в какой-то главной, ответственной точке, без которой вообще нет человека, уже вздрагивало недоумение, потом его сменила робость и растерянность, а за ними пришел обыкновенный стадный испуг.

— Да, все решения партии знаю. Еще бы не знать!

— И это знаю. Правда, больничные кассы меньшевистское дело, но я в них работал 15 лет как большевик.

— Я никогда из директив не выходил и не выхожу.

— Прежде чем это сделать, я заглянул в решения партийных пленумов...

Но... комиссия зацепилась за факт освобождения человека из Ставропольской тюрьмы. Оставив в тюрьме всех шестьсот политических заключенных, денкинци освободили его и еще четырех. Это не то что показалось подозрительным, но просто выпадало из всей биографии его как партийца. Ни с чем не вязалось. Напоминало огромный вопросительный знак.

Старый рабочий. Старый член союза. Старый большевик.

— Кто все это может подтвердить?

— Да ведь... раз'ехались по разным сторонам. Многие умерли. Право, не знаю. Разве теперь свидетелей сыскать?

Человек путал следы, не знал содержаний последних пленумов, характера и значения правого уклона, роли колхозов в деревне.

— Вы ничего не читаете?

— Все читаю... Но разве запомнишь? Это какую надо иметь голову? Что требуется, достаю книжечку и заглядываю.

Лицо-доска вертелось справа налево, слева направо. Нос дергался вбок, будто уменьшаясь. Злые глазки озирались на собрание и членов комиссии с явно выраженным желанием: когда это все кончится? И чего пристали? Будто я один...

— Как вы считаете, нужны такие, как вы, партии? Или не нужны?

У меня от усталости прыгали перед глазами неожиданные видения. Я наблюдал почти вочию этого деревян-

ного человека в кабинетах отделов, в кооперации, на капитальном строительстве в деревне; и всюду жизнь текла мимо него, не задевая, а он, довольный своей маленькой хитростью, что вот надул всех и сытно устроился, сидел и ничем не интересовался.

— Говорят, вы закладываете за галстук?

— Брежут...

Он вскинул вверх голову и опять уверенно выболтнул: «Брежут, брежут». Кое-когда, и то не выходя из дому. А чтобы напиться и на улице вальяться — никогда этого со мной не было.

— Чего не было? — сорвался голос из зала, не дожидаясь разрешения президиума. — А кто пустил на ветер коммунхоз? Кто пропил весь губхимстеклосюз? Кто из ресторанов не выходил?

Впрочем, выступлений было немного. Как это ни странно, еще комиссия не посоветалась, не задала вопроса собранию, а уже гаркнуло напористо, непреклонно, категорически из четырехсот рабочих глоток:

— Таких нам не надо!

* * *

Мы тихо шли домой.

Три человека отчетливо вставали в моем воображении. Выйдя с очистительного собрания, двое из них в числе прочих больших тысяч прочитавшихся направились снова и уверенно в партгород. И я почти близко видел там, за стеклянной перегородкой, их деловые фигуры. Высокую, с непокрытой головой, нервную, и старика металлиста, седого-седого. Это были: Черенков и Малов. Они торопились снова работать, снова жить, — гореть, не сгорая. Зато третий долго метался на площади перед воротами партгорода. Даже трусливо подошел и, заглянул было в щелку. Погрозил и пообещал жаловаться. Но опять отошел и опять закружил на месте, чтобы затем с той же деревянной твердостью взгляда, какая отличала его и на собрании, зашагать в пивную.

За рубежом

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Очерки международной политики

С. Гальперин

Заслуги Двайт Морроу.—Святейший отец Второго Интернационала.—Между Сити, Москвой и Ватиканом.—Германия вступает в строй.—На лондонской конференции.—То, чего не предусмотрел Гардье.

Заслуги Двайт Морроу

Конец января ознаменовался разрывом дипломатических отношений между СССР и Мексикой. Поводом или, вернее сказать, предлогом для разрыва были устроенные коммунистами Соединенных Штатов демонстрации протеста против репрессий, применяемых мексиканским правительством по отношению к революционным рабочим и крестьянам Мексики. Мексиканские дипломаты не озаботились даже подысканием, сиречь погущкой, каких-либо подложных документов, доказывающих руку Москвы в этих демонстрациях.

Не требуется зато ни денежных средств, ни особой изобретательности, чтобы выявить руку САСШ в этом решении «независимого» мексиканского правительства. Достаточно только взять одно из приложений к обьемистому воскресному номеру «New-York Times» от 5 января. Мы находим там интересную статью под заглавием «Морроу оставляет преобразованную Мексику». В статье этой с восторгом рассказывается, как послу САСШ мистеру Двайт Морроу, ныне покинувшему этот пост для более высокой дипломатической карьеры, удалось в течение двух лет подчинить «революционное» правительство Мексиканской республики велениям американского капитала.

«В 1927 г., — повествует «New-York Times», — тринадцатилетняя распря

между нефтяными компаниями и мексиканским правительством снова перешла в острую фазу. Отношение между государственным департаментом (т. е. министерством ин. дел) САСШ и Мексикой зашли в тупик и серьезно обсуждался вопрос о разрыве дипломатических сношений. А этот разрыв легко мог бы повести к войне.

Эта распря осложнилась зловерным мексиканским законом, запрещающим иностранцам иметь недвижимые имущества в пограничной зоне шириной в 100 километров и в 50-километровой береговой полосе; конфискацией земли без справедливого вознаграждения; ограничением прав иностранцев в новых концессиях; наличием тысяч неоплаченных претензий американских граждан и, наконец, новым провалом попытки платить по внешним займам».

Факты изложены в американской газете довольно правильно: действительно, мексиканское правительство еще пыталось в 1927 г. соблюдать так называемую «революционную конституцию» 1917 г., обязывающую правительство защищать земли, вырванные крестьянами у помещиков, и не допускать эксплуатации рабочих масс американскими нефтяными королями.

К тому же в это время вспыхнул резкий конфликт между мексиканским правительством и католическим духовенством опять-таки на почве применения конституции 1917 г. Конституция эта носит резко выраженный ан-

тиклерикальный характер. Пункт 3 этой конституции воспрещает духовенству открывать народные школы; пункт 5 запрещает существование монашеских орденов; пункт 24 запрещает отправление религиозного культа вне стен церковных зданий, которые к тому же должны находиться под постоянным наблюдением гражданских властей; пункт 27 подтверждает произведенную уже ранее национализацию всех церковных имуществ; наконец, пункт 130 признает деятельность служителей культа профессией, занятие которой может быть разрешено лишь мексиканским гражданам с надлежащего утверждения властей, которые устанавливают и контролируют лиц, занимающихся этой «профессией».

На почве применения этих статей конституции, в частности в виду отказа католических священников регистрироваться у гражданских властей и закрытия священниками церквей, Мексика стала ареной серьезных волнений. На устраиваемые поповскими агитаторами демонстрации рабочие и крестьяне отвечали массовыми антиклерикальными демонстрациями, в результате которых пало немало число жертв.

Как признает и «New-York Times», мексиканская поповщина получала поддержку из Соединенных Штатов: «Американскими католиками и нефтяными дельцами оказывалось давление на Вашингтонское правительство с целью заставить его вмешаться в мексиканские дела». Отношения между обоими государствами обострились до крайности. «Секретные документы, большей частью подложные и имеющие целью доказать наличие заговоров одного правительства против другого, широко распространялись в ожидании заинтересованных покупателей».

В этот именно период и был назначен послом САСШ в Мексике Двэйт Морроу. Он был личным другом Кулиджа еще со школьной скамьи. Он получил инструкцию попытаться подчинить требованиям Соединенных Штатов Мексику без применения прямого насилия. С этой задачей Морроу прекрасно справился. Вместе с Кулиджем он справедливо полагал, что американ-

ские доллары обладают не меньшей силой убедительности, чем американские броненосцы и аэропланы.

Морроу учел также тот факт, что «революционное» правительство Мексики отнюдь не является революционным в пролетарском смысле этого слова. И конфискация помещичьей земли, и антиклерикальная политика, и широкое признание реформистских профсоюзом—все это отражало лишь национальные устремления мексиканской буржуазии, стремившейся устранить влияние иностранного капитала, являвшегося слишком могущественным для нее конкурентом. Ибо и помещики, и духовенство, и огромная часть капиталистов в очень большом проценте были иностранными эксплуататорами трудящихся Мексики, тогда как молодая мексиканская буржуазия считала эту эксплуатацию своей естественной национальной монополией.

Все старания Морроу и были направлены к тому, чтобы найти такие формы компромисса, которые давали бы удовлетворение по существу претензиям американского капитала, не задевая в то же время слишком болезненно самолюбия буржуазных мексиканских националистов. Его успехи в этом направлении были головокружительны. 29 октября 1927 г. он вручил мексиканскому президенту Кайесу свои верительные грамоты, а уже 17 ноября того же года, после интимного завтрака Морроу с Кайесом, верховный суд Мексики вынес решение, которое, по выражению «New-York Times», «вырывало жало» у закона о нефтяных концессиях, принятого в 1925 г. А в конце 1927 г. Кайес внес уже в парламент поправку к этому закону в соответствии с решением верховного суда. 3 января эта поправка была парламентом утверждена.

Следующим «подвигом» Морроу было разрешение религиозной проблемы. Его роль в этом отношении была настолько двусмысленна¹⁾, что американ-

¹⁾ В январском номере американского журнала «Foreign Office» подробно рассказывается, как Морроу устраивал свидания Кайеса с прелатом Бурке, одним из лидеров клерикалов.

ская газета считает необходимым защищать его от обвинения в «недопустимом вмешательстве в дела другого государства» на том основании, что его вмешательство было продиктовано дружескими чувствами по отношению к правительству, при котором он был аккредитован. Морроу удалось добиться от Ватикана согласия на регистрацию католических священников гражданскими властями Мексики, что давало формальное удовлетворение мексиканскому правительству. Но тем самым церковь становилась государственно признанным институтом, что пробивало брешь в антиклерикальной политике правительства. К тому же в силу нового соглашения духовенство получило возможность добиться изъятия церквей из ведения некоторых диссидентских попов (некто в роде «живой церкви»), выполнявших свои «духовные» функции без согласия Ватикана.

Не останавливаясь в подробностях на всей дальнейшей деятельности Морроу, укажем лишь, что он добился от вновь избранного президента Ортиц Рубио согласия на уплату иностранным помещикам компенсации за экспропрированную у них землю не бонами, как это было до тех пор, а наличными деньгами. И, наконец, ему удалось достигнуть и соглашения по вопросу об иностранных долгах Мексики вообще.

«New-York Times» очень откровенно, с чувством удовлетворенной «национальной гордости» подводит итоги деятельности Морроу: «Она восстановила международное доверие к Мексике, как к стране, пригодной для здорового и выгодного помещения капиталов. Американский капитал имеет теперь обеспеченный путь в эту страну».

Американский официоз стыдливо закрывает, впрочем, глаза еще на одну область успехов Морроу — на изменение позиции мексиканского правительства в рабочем и аграрном вопросах. Правительство Кайеса и его предшественника Обрегона, добившись власти в боях против помещиков и иностранных капиталистов (с их «духовными»

друзьями), в течение долгого времени вынуждено было предоставлять сравнительно широкие права рабочим и крестьянским организациям. Мексиканская Конфедерация Труда была главной опорой правительства. Но классовая борьба имеет свои собственные законы, не совпадающие с желаниями мексиканского правительства. На ряду с реформистскими профсоюзами появились чисто коммунистические организации, не желавшие проводить разницу между иностранным и национальным капиталами. Среди пеонов (крестьян-метисов) развилось также революционное движение бедняцких масс, ведших борьбу против кулаков и новых помещиков.

И Морроу и Кайес, конечно, не могли примириться с этими новыми явлениями в области рабочего и аграрного движения. После некоторых колебаний правительство решительно стало на путь репрессий: коммунистические организаторы рабочего движения испытывали на себе все обычные средства правительственных репрессий, применяемые во всех «доброрядочных» буржуазных странах, а ряд революционных вождей крестьянского движения был расстрелян. Мексика стала страной, вполне пригодной для помещения американских капиталов, стала вполне «ручной».

Согласование политики Мексики и САСШ в русском вопросе оказалось «посмертным» достижением Морроу. Его дело в Мексике могут продолжать рядовые дипломаты, перед ним же открывается более широкое поле деятельности во славу американского капитала. Сейчас он отстаивает интересы американского империализма на лондонской конференции.

Святейший отец Второго Интернационала

Усвоенный американской дипломатией определенно антисоветский курс политики, оказавшийся и в попытке помешать ликвидации конфликта на КВЖД и в разрыве дипломатических отношений между СССР и Мексикой, не подлежит сомнению. Но надо признать, что претендующий на лидерство в антисоветском блоке Гувер имеет не-

малое количество самых разнообразных конкурентов. На этом поприще соревнуют и нефтяные короли, и вестфальские металлопромышленники Германии, и жулики, обокравшие наши представительства за границей, и буржуазные «жрецы Фемиды», и рыцари Второго Интернационала, и наемные писаки парижской биржи, и «безработный» Джойнсон Хикс (ныне лорд Брентфорд), и архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, и сам «святейший отец» вселенской католической церкви, папа римский.

Социалистическому соревнованию пролетариев Советского Союза противопоставляется капиталистическое соревнование всех агентов мирового капитала, начиная с «святых отцов» и кончая скромными бюрократами из реформистских профсоюзов и «социалистических» партий. Все орудуют кто во что горазд, но всех объединяет чувство глубокой ненависти к трудящимся массам СССР, с успехом воздвигающим здание социализма в своей стране.

Когда заслуженный налетчик и богобоязненный экс-министр лорд Брентфорд созывает христианских попов всех церквей вкупе с еврейскими раввинами для проведения кампании протеста против «религиозных преследований» в Советском Союзе, — это в порядке вещей. Выступить откровенно в защиту кулаков и эмпманов неудобно даже в буржуазной Англии — любой английский рабочий, даже не имеющий никакой связи с компартией, сказал бы, что почтенный лорд попросту заботится о безопасности своих собственных классовых привилегий. Выдвигается поэтому идеологическое прикрытие — борьба против религиозных преследований. И с развязностью профессионального налетчика Джойнсон Хикс вопит о том, что со времен римских цезарей христианство не подвергалось еще таким преследованиям, как в Советском Союзе.

Князь церкви, архиепископ Кентерберийский, спешит на помощь своему светскому коллеге, лорду Брентфорду. Но первое место в этой свистопляске ему удастся сохранить не надолго.

Римский папа, еще не отказавшийся от претензий на звание наместника христового на земле, перехватывает инициативу и с высоты своего «святейшего престола» зовет народы всего мира к крестовому походу против советских безбожников. И по данному им сигналу уже размахивают мечом и кадилом польские жэндзы, немецкие и французские кардиналы, и даже какая-то Католическая лига в Голландии.

Но все это, как мы говорили, в порядке вещей. Нам приходится учитывать не тот факт, что консерваторы и духовенство всех толков обнаруживают свою вражду к социализму, — это вещь естественная, — а лишь то обстоятельство, что они выступили на путь широкой антисоветской кампании именно в тот момент, когда трудящиеся СССР выкорчевывают последние ростки капитализма в Советском Союзе.

Любопытно другое. Вместе с духовенством выступает и антиклерикальная (официально) французская буржуазия и антиклерикальная (тоже официально) социалистическая партия Франции. Злобные выпады «Temps» и базарные выкрики разных «Matin» против СССР составляют явление так сказать перманентное. Но за последние два месяца французская буржуазная печать побивает все рекорды самой гнусной клеветы по нашему адресу. При чем так называемые «левые» круги с социалистами во главе не выступают в этом отношении самым крайним реакционерам.

С полной невозмутимостью выслушивает французский суд целую фалагу Беседовских большого и малого масштаба, единодушно заявляющих, что Савелий Литвинов, подделавший на цели своего личного обогащения верселя берлинского торгпредства, оказал тем самым немалую услугу делу буржуазной цивилизации. Именем французской республики оправдал этот суд заведомого мошенника, показав тем самым, что с точки зрения французской юстиции СССР объявлен вне закона.

И в это же самое время социалистическая фракция парламента приглашает к себе Керенского и Зензинова, а

радикал-социалистическая фракция — Керенского и Милюкова, которые делают господам радикалам и членам французской секции Второго Интернационала доклады о «большевистских зверствах». Керенский зовет французскую демократию выступить на защиту попираемого русского жулачьи, и Ренодели и Бонкуры с энтузиазмом отвечают: всегда готовы.

Но и этого еще недостаточно. Бульварная парижская печать начинает бешеную кампанию против нашего полпредства, обвиняя его в похищении белогвардейского генерала Кутепова, который скрылся в неизвестном направлении, захватив, повидимому, немалую толику денег, принадлежащих так называемому Русскому воинскому союзу во Франции¹⁾. Эта выдумка была настолько глупа, что даже офицеры «Temps» первое время колебался принять в ней участие, но зато потом с удвоенной энергией взялся за разоблачение «происков ГПУ» во Франции. Старая французская поговорка «смешное убивает» больше не имеет силы во Франции: буржуазии не до смеха — надо мобилизовать все силы против победоносного социализма СССР.

В припрыжку за хозяевами плетется и социалистический «Poulaige». Его редактор Леон Блюм заявляет: «Если подтвердится, что полпредство причастно к похищению Кутепова (типично меньшевистская оговорочка), то бороться против разрыва с СССР (это Леон-то Блюм боролся против разрыва. С. Г.) больше не будет возможности. Полпредство будет снесено вихрем».

Это заявление поистине классическое. Члена Исполбюро Второго Интернационала Леона Блюма возмущает не наглая выдумка бульварной печати о похищении агентами полпредства белогвардейского генерала (на какого чорта нам нужна эта монархическая развалина!), носящая явный характер патравливания на СССР, — Леон Блюм эту возможность допускает, — нет, его возмущает, что белогвардейские гене-

ралы не находятся во Франции в достаточной безопасности. По существу Леон Блюм говорит своим «социалистическим» читателям: украли ли большевики Кутепова, еще неизвестно, но ждать от них этого можно, а потому вон их из Франции! Демократическая Франция не может иметь никакого дела с большевистскими злодеями.

Ничем эта позиция французских социалистов не отличается от протестов римского папы и Джойнсона Хикса, ничем, кроме большей доли незуитизма. И, как мы увидим ниже, ту же позицию занимают и лидеры социализма в других странах. Когда-то Каутского называли папой Второго Интернационала, теперь этот с позволения сказать интернационал имеет настоящего «духовного» главу — папу римского.

Между Сити, Москвой и Ватиканом

Английские социалисты находятся в более трудном положении, чем их французские коллеги. Они — не безответственная оппозиция, они — правящая партия Англии. Они должны стоять на страже государственных интересов Англии, охрану которых поручила им английская буржуазия. Силою вещей они вынуждены подходить к вопросам англо-советских отношений не только с точки зрения так называемых «большевистских зверств», но и с точки зрения застоя в английской промышленности и роста безработицы в Англии.

Образование «рабочего» правительства с особым министерством по борьбе с безработицей не сдвинуло эту проблему с мертвой точки. А между тем именно острота этого вопроса и привела рабочую партию Англии к власти. Неудача правительства Макдональда в деле борьбы с безработицей имеет для рабочей партии роковой характер, ибо лишает ее всякого престижа в рабочем классе.

Лорд-хранитель печати — таково официальное звание министра по борьбе с безработицей Томаса — подошел к своей задаче довольно своеобразно. Он решил, что выходом из положения может быть лишь рационализация английской промышленности, которая откроет для нее дорогу на внешний рынок.

¹⁾ По другой версии, «похищение» Кутепова организовано англ. охранкой с специальной целью свалить это дело на большевиков.

Необходимо иметь в виду, что английская промышленность без экспорта обходиться не может: внутренний рынок Англии не может поглотить всю продукцию английской промышленности, развивавшейся в условиях колониального могущества, обеспечивавшего ей и дешевое сырье и легкий сбыт продукции. Послевоенный кризис английской промышленности тем и обусловлен, что за время войны колонии и доминионы Англии создали свою собственную промышленность и тесно связались с мировым рынком, обходясь без помощи метрополии.

Выходом из кризиса в рамках буржуазного строя может быть поэтому либо сплочение Британской империи в единую экономическую систему, отгороженную от прочего мира таможенными рогатками, либо реорганизация английской промышленности, которая дала бы ей возможности бороться за завоевание мирового рынка путем дешевизны ее продукции.

Сторонниками первой точки зрения являются консерваторы, хотя в их рядах имеются по этому вопросу большие колебания. Официально эту платформу провозгласили газетные магнаты лорды Ротермир и Бивербрук, собирающиеся даже основать на ее основе самостоятельную «Объединенную Имперскую партию». Целый ряд консерваторов возражает, однако, против этой платформы, указывая, что политика таможенной изоляции Британской империи привела бы лишь к распаду империи, ибо некоторые доминионы (особенно Канада и Австралия) никогда бы не согласились стать на невыгодный для них путь экономической зависимости от метрополии.

Томас предпочел путь рационализации. На собрании манчестерской торговой палаты он выступил с обратившей на себя внимание всей английской печати речью, в которой на основании своих переговоров с банковскими кругами заявил, что «Сити глубоко заинтересовано в том, чтобы создать широкий здоровый базис для развития промышленности, и готово поддержать всякое предложение, которое, по его мнению, ведет к этой цели» («Economist» 18 января).

«Economist» рассматривает эту речь Томаса, как «открытое приглашение промышленности выступить с своими схемами реорганизации и вместе с тем намек на то, что финансовый капитал в целом готов поддержать промышленность в ее движении вперед».

Предложение Томаса встретило хороший прием со стороны английской буржуазии. Однако, часть деловых кругов проявила некоторый скептицизм по поводу спасительной роли банков в деле рационализации английской промышленности. Так, Руперт Бекетт, председатель манчестерского банковского института, указал, что особенности банковской системы в Англии менее благоприятны в этом отношении, чем в Германии. Уже сейчас в Англии соотношение между выданными кредитами и имеющимися вкладами превышает нормальные 50 проц. Кроме того, отношение основных капиталов к вкладам в Германии выше, чем в Англии, что создает для Германии более благоприятные условия для долгосрочного кредитования, чем для Англии. Журнал «Economist» также подчеркивает, что английские банки хорошо подготовлены лишь для кредитования торговли, нуждающейся в краткосрочных кредитах, и не имеют аппарата и опыта для операций долгосрочного кредита, необходимого для реорганизации промышленности.

Однако, основные возражения против проекта Томаса шли не по этой линии. Левый еженедельник «New Age» (от 16 января) поместил очень едкую статью против Томаса, указывающую, что проектируемая Томасом рационализация приведет не к сокращению безработицы, а к ее увеличению, по крайней мере в первые годы ее проведения, как об этом свидетельствует опыт всех капиталистических стран. И даже умеренно-консервативный «Observer» указал на необходимость широкой схемы общественных работ, необходимых для поглощения той массы безработных, которую неизменно породит осуществление рационализаторских планов Томаса.

Интересно отметить, что один из помощников Томаса по министерству без-

работницы сэр Освальд Мосли, выступая в парламенте, признал, что предстоящая рационализация английской промышленности создает опасность увеличения безработицы, а потому наряду с заботами о рационализации индустрии правительство разработает вопрос о предоставлении работы большому числу рабочих. Однако, никаких детальных планов речь Мосли не содержала. Сообщающий об этом либеральный еженедельник «New Statesman» (от 25 января) пишет: «Было бы неплохо, если бы правительство разделило ответственность между этими двумя министрами, возложив на Мосли обязанность подыскания работы для безработных, а на Томаса — руководство реорганизацией промышленности».

Любопытную статью по вопросу о безработице поместил в январском номере «Fornightly Review» известный публицист Авгур. По его мнению, безработица является сейчас узловым пунктом английской политики. Макдональд мог стать «национальным лидером» только потому, что рабочая партия больше всего критиковала другие партии за непринятие мер против этого зла, понижающего жизненный уровень страны. Тот факт, что «сотни тысяч людей живут на общественное подаяние, более опасен для Британской расы», — пишет Авгур, — чем если бы безработица вызвала революцию. У революционеров по крайней мере течет кровь в жилах, а не стерилизованная вода. Подсознательно народ чувствует опасность и ищет вождей, которые могли бы спасти его».

«Вожди» из рабочей партии оказались непригодными для роли «спасителей британской расы». Но они прекрасно отдают себе отчет в том, что в жилах английских рабочих течет не стерилизованная вода, а революционная пролетарская кровь. Не полагаясь на рационализаторские планы Томаса, они вынуждены искать других путей, которые хоть сколько-нибудь уменьшили бы лежащее на английском пролетариате бремя безработицы. И в поисках этих возможностей они вспоминают и о советском рынке.

На фоне завываний Джойнсонов Хиксов и дипломатических виляний Гендерсона неожиданным диссонансом прозвучало принятое палатой общин по предложению рабочей партии решение о необходимости форсировать торговые сношения с СССР и ускорить заключение торгового договора с Советским Союзом. А товарищ министра торговли Джиллет позволил даже себе высказать здравую мысль о том, что в результате пятилетки Советский Союз станет высоко индустриализованной страной, торговые сношения с которой открывают богатые перспективы для английского экспорта.

Было бы, однако, легкомысленно на основании заявления Джиллета и резолюции палаты общин оптимистически расценивать перспективы англо-советских отношений. Ибо британская рабочая партия заблудилась между трех сосен: она мечется между Сити, Москвой и Ватиканом. Один из членов кабинета Макдональда Артур Понсонби прямо признал в парламенте, что в Англии есть круги, добивающиеся войны с Советским Союзом. Вдохновителем этих кругов несомненно является Джойнсон Хикс и его твердолобая группа. Признание этого факта не помешало, однако, министру ип. дёл Гендерсону заявить в ответ на наскоки этой группы, что правительство Макдональда озабочено «преследованиями верующих» в СССР и запросило об этом у посла в Москве сэра Оуэна соответствующую информацию, на основе которой он, Гендерсон, может быть, сделает «дружеское представление» советскому правительству.

В комментариях это заявление не нуждается. Оно свидетельствует о том, что «рабочее» правительство Англии играет в руку тем кругам, которые, по признанию Понсонби, добиваются объявления войны Советскому Союзу. Это в одинаковой степени говорит и о «папифизме» Макдональда и о классовом характере его политики.

Германия вступает в строй

В наших прошлых обзорах мы не раз указывали, что принятие плана Юнга является гранью между завершением штреземановской политики выполне-

ния версальского договора и началом нового периода германской политики как внутренней, так и внешней. С точки зрения внутренней политики этот период характеризуется решительным курсом на установление диктатуры финансового капитала, с точки зрения внешней политики — тесным сближением между Германией и ее версальскими победителями. Штрezeмановская политика лавирования между западной и восточной ориентацией должна смениться решительным креном на запад, несмотря на все вопли Гугенберга против плана Юнга.

События последних двух месяцев полностью подтвердили нашу точку зрения. Прения в рейхстаге по вопросу о ратификации плана Юнга определили истинное положение вещей. Глава германских националистов Гугенберг посвятил заключительную часть своей речи против плана Юнга вопросу об опасности большевизации Европы. Он указал на то, что «коммунисты организуют вооруженное восстание в Германии», и призывал борьбу против плана Юнга соединить с борьбой против этой большевистской опасности.

Ни для кого в Германии и за ее пределами не тайна, что борьба против плана Юнга в устах Гугенберга и правых кругов германской буржуазии является чистой демагогией, но его призывы к борьбе против «большевизации Европы» имеют вполне реальное значение. С полным основанием указывал коммунистический депутат Штеккер, что «не подлежит сомнению, что, очутившись у власти, националист Гугенберг и фашист Гитлер так же осуществляют бы политику выполнения плана Юнга, как и нынешнее коалиционное правительство, в котором видную роль играют социал-демократы... План Юнга сплачивает западные державы в прочный блок для совместной борьбы против СССР. Об этом свидетельствует и заключение польско-германского репарационного соглашения. Как раз со времени второй гаагской конференции усилилась до крайней степени травля СССР».

События разворачиваются с исключительной быстротой. Несколько времени

тому назад левая вечерняя газета «Welt am Abend» опубликовала любопытные разоблачения о том, как Штрezeман за несколько недель до своей смерти жаловался на одном конфиденциальном совещании с журналистами на то, что антисоветские слои германской буржуазии (во главе их стоит известный вестфальский промышленник Рехберг) уже давно за спиной германского правительства ведут закулисные переговоры с видными политическими деятелями Франции и Англии о вхождении Германии в антисоветский блок.

От политики лавирования между западной и восточной ориентациями не осталось и следа, речь идет лишь о том, какое место должна получить Германия в антисоветском блоке и какой ценой ей должно быть за это заложено.

Под этим углом зрения большой интерес представляет сообщение газеты «Berlin am Morgen» о проекте министра финансов Мольденгауэра ввести в Германию нефтяную монополию под условием предоставления нефтяными трестами, претендующими на эту монополию, крупного займа Германии. Как и в аналогичном случае со спичечной монополией, мероприятие это будет означать закрытие германского рынка для советского экспорта нефти. По сообщению газеты, между «Стандард Ойл» и «Ройяль Деч» уже достигнуто соглашение по этому поводу.

Если принять во внимание, что все государства Европы, даже наиболее враждебные нам, как, напр., Франция, стремятся использовать советскую нефть, как орудие борьбы против монополии мировых нефтяных трестов, если вспомнить при этом, что мировые тресты стремятся не только искусственно вздувать цены на нефтепродукты, но и препятствовать возникновению в странах, не имеющих собственных источников нефти, самостоятельной нефтеперерабатывающей промышленности, то сообщение «Berlin am Morgen» может показаться почти невероятным.

Однако, прецедент со спичечной монополией и поднятая газетами шумиха о том, что будто бы именно склады

«Дероп» (германо-русское общество торговли нефтяными товарами) служат опорными базами для организации коммунистической пропаганды в Германии, заставляют отнестись к сообщению «Berlin am Morgen» с известным вниманием.

Во всяком случае тот факт, что введение нефтяной монополии англо-американских трестов послужило бы во вред экономическим интересам Германии, не может служить достаточным аргументом против сообщения «Berlin am Morgen». Ибо вся та кампания против советского экспорта, которая ведется сейчас значительной частью германской печати, тоже явно направлена в ущерб народному хозяйству Германии. Наш экспорт определяет сумму нашего импорта, и всякие рогатки на пути ввоза советских товаров в Германию могут привести лишь к уменьшению германского экспорта в СССР.

Наиболее презвые экономисты Германии понимают бессмысленность этой кампании против советского экспорта. В «Vossische Zeitung» редактор экономического отдела Левинсон (Морус) правильно указал, что подкладка этой кампании лежит в стремлении сорвать нашу пятилетку. Морус считает маловероятным, чтобы «подобными методами можно было заставить русских отказаться от пятилетия», и ставит перед руководителями германской экономики и политики вопрос: «Сумеют ли они отказаться от продолжения бессмысленной травли СССР и использовать пятилетку в интересах народного хозяйства Германии или же пятилетний план СССР будет развиваться вопреки их усилиям и не считаясь с интересами Германии?»

Но это здравое мнение тонет в море враждебных выпадов по нашему адресу, продиктованных классово ненавистью германской буржуазии к нашему социалистическому строительству.

На лондонской конференции

Первый месяц, протекший с открытия лондонской морской конференции, не привел еще ни к каким ощутительным результатам. Но кое-какие вы-

воды о перспективах конференции можно уже сделать.

Бывод первый: все державы по мотивам экономического характера не прочь ограничить размах безумно дорогого строительства морских судов. Но каждая из них в отдельности стремится провести это ограничение таким образом, чтобы оно относительно больше отразилось бы на боеспособности конкурирующих флотов, чем на ее собственном флоте. Американский меморандум ставит поэтому во главу угла немедленное полное уравнивание английского и американского флотов. В частности, американцы предлагают немедленно сократить число броненосцев с тем, чтобы уравнивать английский флот с американским не в 1924 г., как это предполагалось первоначально, а уже в 1931 г. «Пацифизм» Стимсона находит реальное основание в том, что сейчас Англия имеет на 2 крупных броненосца больше.

Англия соглашается в принципе на американское предложение, но зато направляет все свои стрелы против французского флота. Как известно, на лондонской конференции было принято т. н. французское компромиссное предложение о том, чтобы ограничение морских вооружений проводилось бы как по общему тоннажу флотов, так и по категориям, но с правом для каждой страны в пределах установленного общего тоннажа производить передвижку установленных пропорций по категориям, т. е. на 10—20 проц. строить суда одной категории вместо другой. Но тут возник спор между Англией и Францией как по вопросу о самой классификации судов по категориям, так и о пределах передвижки. Англия за передвижку, поскольку она позволяет ей увеличить строительство необходимых ей легких крейсеров за счет других категорий военных судов. Но она против предоставления возможности Франции расширить таким образом строительство своего подводного флота.

Англия за ограничения мощности авиоматов, так как последние облегчают возможность налета воздушного флота Франции на ее берега. Англия

принимает американское предложение о сокращении числа броненосцев, но требует, чтобы и Франция пошла на такую же «жертву» в отношении французского подводного флота. С французской стороны это требование Англии вызывает страшное озлобление. «Temps» (передовая от 10 февраля) язвит Англию, указывая, что принятое ею американское предложение о равенстве флотов «на деле означает превосходство Америки и ослабление английского флота». Но в то же время французский официоз подчеркивает, что «это соглашение касается лишь этих двух стран и не дает им никакого основания требовать каких-либо уступок от других стран».

Единственная «уступка», на которую пошла Франция, это признание недопустимости пользования подводными лодками против торговых судов. Но уступка эта чисто внешняя, поскольку разграничение между военными и торговыми судами во время войны будет на практике определяться лишь усмотрением воюющих сторон.

Что касается Японии, то она предпочитает пока отмалчиваться в ожидании того, как будет установлено разделение судов по категориям, чтобы выговорить запрашиваемую ею пропорцию 70 проц. сильнейшего флота провести по крайней мере в отношении наиболее важных для нее категорий судов.

Радикальную позицию занимает Италия, настаивающая на максимальном ограничении морских вооружений, но это объясняется попросту тем, что она стоит на последнем месте и угнаться не может даже за Францией по соображениям экономического характера.

Наиболее непримиримую и воинственную позицию занимает Франция. Ее программа предусматривает фактическое увеличение французского флота с 450 до 722 тыс. тонн. Проводит она, однако, эту программу под флагом стабильности французского флота, включая в его наличный состав не только строящиеся суда, но и те, относительно которых утверждена программа строительства. Правда ее про-

грамма не выходит за пределы установленной для нее в Вашингтоне пропорции 10:10:6, но на деле до сих пор она от этой пропорции отставала, сейчас же собирается этот пробел заполнить, при чем вдобавок она будет иметь перед другими государствами то преимущество, что ее флот будет в большей пропорции состоять из новых судов, чем флоты других держав.

Это позволяет нам сделать второй вывод о перспективах лондонской конференции. Никакого действительного разоружения она не даст. Если и будут проведены какие-либо ограничения, то лишь те, которые все государства все равно поставили бы перед собою сами, ибо пределом морского строительства каждого государства является его финансовые возможности.

То, чего не предусмотрел Тардьё

И все же 17 февраля в самый разгар лондонских переговоров триумфатор Тардьё оказался сраженным. Палата депутатов выразила его кабинету недоверие и вдобавок по вопросу финансового характера. Французская мелкая буржуазия иначе отнеслась к вопросу о финансовом благополучии Франции, чем авторы программы широкого строительства военного флота.

В тот момент, когда пишутся настоящие строки, еще нет подробных сведений об обстоятельствах, которые вызвали падение кабинета. Любители объяснять политические события, исходя из «роли личности в истории», не замедлили бы подчеркнуть тот факт, что падению кабинета способствовало заболевание Тардьё гриппом и неумелая парламентская тактика министра финансов Шерона, не сумевшего отстоять финансовую политику правительства в многофракционной французской палате.

Но само собой разумеется, что грипп Тардьё играл в данном случае роль двадцать пятого порядка. Несмотря на дифирамбы, которые пела Тардьё вся консервативная французская печать, его парламентское положение никогда не было прочным. Вотумы доверия его

правительству проходили большинством в 60—70 голосов. Достаточно было занимающей центральное положение в парламенте группе так называемой «радикальной, левой» по какому-либо вопросу подать голоса против правительства, чтобы его большинство превратилось в меньшинство.

Именно отказ Шерона пойти на снижение некоторых налогов и привел к падению министерства. Вопрос сам по себе казался мелким, но косвенно он был вотумом недоверия мелкобуржуазных масс великодержавным планам Тардьё. И неудивительно, что падение Тардьё произвело на конференции впечатление разорвавшейся бомбы. Как и Тардьё, участники конференции не предусмотрели, что французское крестьянство и мелкая городская буржуазия (о пролетариате не приходится, конечно, и говорить) воевать не хочет и не склонно облагать себя налогами во славу «великой Франции».

Есть еще одно обстоятельство, которое не предусмотрело правительство Тардьё. Это восстание в Индо-Китае. Всего лишь несколько месяцев тому назад—22 октября 1929 г.—генерал-губернатор Индо-Китая Пьер Паскье торжественно открыл первую сессию Большого Экономически-Финансового Совета Индо-Китая. Французская печать, захлебываясь, восхваляла либерализм французского правительства, которое по собственному почину призвало колониальное население к разрешению финансовых вопросов и в частности вопросов налоговой политики.

Французский еженедельник «Europe Nouvelle» с восторгом передавал речь Паскье, который рисовал перед французской буржуазией перспективы блестящего экономического будущего управляемой им колонии. 2 миллиона тонн угля и 3.000 тонн цинка было добыто в Индо-Китае в 1928 г. Целые толпы любителей легкого обогащения бросились в провинцию Лаос в поисках золота и олова. Рисовые плантации занимали в 1928 г. площадь в 2.300 миллионов гектаров. 24.700 километров шоссе и дорог, в том числе больше 1.000 асфальтированных. Широкая сеть

каналов в Кохингине и расширение железнодорожной сети. Вот картина, которую развернул Паскье перед жадными взорами французских буржуа (см. «Europe Nouvelle» от 7 декабря 1929 г.).

Но, странная вещь, туземное население Индо-Китая не оценило ни либерализма своего генерал-губернатора, ни того экономического расцвета, которым оно обязано французскому управлению. Европейскую цивилизацию оно восприняло по-своему: оно оценило лишь тот факт, что европейские рабочие и крестьянские массы активно борются против буржуазных носителей «экономического расцвета». Генерал-губернатор говорил также о развитии торговых и консульских сношений с Южным Китаем, но опять-таки аннамиты восприняли связь с Южным Китаем по-своему—они заимствовали отсюда идею революционной борьбы против европейских империалистов.

Революционное рабочее движение зародилось в Индо-Китае уже давно. Делегаты индокитайского пролетариата принимали участие в работах Коминтерна еще в 1921 г. Французское правительство расправлялось с ними самым жестоким образом, «по-колониальному», но как ни слабо было тогда это движение, задуть его французскому правительству не удалось. Рабочие и крестьяне Индо-Китая отдавали себе отчет в том, что и каменноугольные шахты, и рисовые плантации, и блестящие асфальтовые дороги являются результатом самой бесчеловечной эксплуатации их труда. Они хотели, чтобы Индо-Китай был золотым дном не для французских капиталистов, а для них самих.

Это стремление было, конечно, явно «преступным». Тюремное население росло быстрее общего населения колонии. Расстрелы революционеров и просто убийства их в тюрьмах вполне гармонировали с французским либерализмом». В системе французского управления колонией было, однако, слабое место: для поддержания порядка ему пришлось создать вооруженные силы из туземцев. Но туземные войска оказались ненадежными: вместе с

населением они восстали против французского владычества. Французские власти сперва старались свести картину восстания к частичному революционному выступлению, однако, от этой версии пришлось отказаться. Из официальных сообщений видно, что район восстания охватил ряд пунктов, расположенных на протяжении 200 километров от Тонкина.

Официоз «Temps» (от 14 февраля) пишет: «Было бы ошибкой думать, что туземный народ — будь то африканский или дальневосточный — может управляться методами, присущими нашим старым европейским демократиям... В колониях наряду с цивилизаторской миссией на нас лежит также функция опеки... Пропаганда Москвы среди малоразвитых народов становится все более настойчивой... Большевиизм льстит себя надеждой развязать мировую революцию, обращаясь к туземным массам и направляя их фанатизм против их естественных опекунов, т. е. против самой цивилизации».

«Пропаганда Москвы» стала снова излюбленной темой газеты, придя на смену «похищению» Кутелова. В ан-

тисоветской кампании приняли на этот раз самое активное участие и социалистические газеты. Хотя сами они должны признать, что туземцы оплачиваются в 6—7 раз меньше, чем белые (см. «Populaire» от 17 февраля), и хотя даже бывший генерал-губернатор Индо-Китая Варенн должен был признать, что «коммунистическая пропаганда облегчается скверным положением туземных солдат, страдающих от плохого питания и грубого обращения», тем не менее самым важным для «Populaire» является то обстоятельство, что «Москва с ее преступной пропагандой безусловно причастна к достойным сожаления событиям в нашей колонии».

Полемизировать с социалистами по этому вопросу не приходится. Следует лишь еще раз констатировать тот факт, что в вопросе об освобождении колониальных народов, также как и в вопросе о свержении капитализма в старых капиталистических государствах, они просто стоят «по ту сторону баррикады». Рабочие Франции и Индо-Китая применяют в свое время против «социалистических» колонизаторов не «оружие критики», а «критику оружием».

Из прошлого

СУЛЬБА НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО

(К сорокалетию со дня его смерти)

К. Чуковский

Он был по природе бродяга и с юности вел жизнь цыганскую.

Никакого дела никогда не доводил до конца и нигде на одном месте не засиживался.

Курса он никакого не кончил. Учился в семинарии, но ушел из последнего класса. Поступил в медико-хирургическую академию, но и отсюда ушел. Поступил на филологический, но и там не пробыл больше года. Так и остался недоучкой на всю жизнь — полусеминарист, полумедик.

И в литературе был такой же прохаживатель: кочевал из журнала в журнал, разрывая одну за другой все свои литературные связи, и скоро оказался одним из самых бесприютных писателей, какие только были на Руси.

Ни к какой редакции не умел прилепиться надолго, всюду был равно чужой и неприкаянный: и в «Вестнике Европы», и в «Ниве», и в «Будильнике», и в «Гражданине», и в «Искре». И как-будто нарочно старался разойтись со всеми писателями, которые были к нему расположены: с Некрасовым, с Тургеневым, с Толстым.

А когда он сделался учителем, ни в одной школе не мог он удержаться надолго и однажды даже чуть не попал за дезертирство под суд, так как гимназия, из которой он убежал среди учебного года, была военная, и его побег приравняли к побегу с военной службы. Ему грозила тяжелая судебная кара, но ничто не могло удержать его в городе, когда наступала весна.

Зимой он еще крепился кое-как, но стоило ему слышать журавлей, и цыганская кровь гнала его с места на место.

Денег у него никогда никаких не было. Он зарабатывал гораздо больше, чем принято думать, особенно в шестидесятых и семидесятых годах, но постоянно был нищим, так как у него не было никакого таланта к накоплению или сбережению имущества.

Не оттого ли он всегда так бесцеремонно относился к чужому, что и своего никогда не хранил?

Единственная вещь, остававшаяся при нем на всю жизнь, была гармоника, которую купил он в Париже и с которой никогда не разлучался.

Артистически играл он на этой гармонике — на бульварах, на улицах, во дворах, на пароходах, в вагонах — всюду, где собирался народ.

Кроме гармонике, на старости лет был у него крокодил, то-есть чучело средней руки крокодила, которое он и показывал публике. Одни говорили, что он купил это чучело за пятак у какого-то пьяницы, другие, что он отыскал его на мусорной куче, куда оно было выброшено заезжим зверинцем.

Впрочем, дело было не столько в самом крокодиле, сколько в тех стишках и прибаутках, которые выкрикивал Успенский, демонстрируя его перед публикой.

Так как при этом он играл на гармонике, а его дочь танцевала, зрители очень охотно бросали ему в шалку медяки.

Принято думать, что такие представления он давал только в старости, в восьмидесятых годах, но в том-то и дело, что, если всмотреться внимательно, к этим представлениям его тянуло всю жизнь, так как у него был подлинный темперамент площадного актера и тот театральный инстинкт, который часто бывает у бездомных людей, привязанных к публичности трактиров и улиц.

Вспомним, что еще в молодости он любил показывать какую-то необыкновенную лошадь, всю розовую, которую кормил он не сеном, не овсом, а говяжьей, — и, показывая ее, приговаривал:

— Поднесу ей водки, дам колбасы кусок, она у меня и сыта!

Вспомним также, что еще мальчиком он сплел себе необыкновенные лапти, длиною не меньше аршина, и разгуливал в них, как циркач, забавляя деревенскую улицу.

Тогда же по-циркового запрягал он в тележку барбосов и катался на них, как на тройке!

Очевидно, у него с детства была страсть выступать перед толпой в роли ее развлекателя, и мы не удивляемся, что вскоре после того, как он сделался известным беллетристом, он стал ездить по ярмаркам на той же своей розовой лошади и в качестве раешника показывать мужикам панораму, разъясняя ее прибаутками.

Нет сомнения, что, помимо литературного, у него был и сценический дар, но этот дар обнаружился у него так необычно, что многие чувствовали в его лицедействе какую-то обиду для русской словесности.

«Мне было стыдно и как-то неловко смотреть на такое шутовство известного писателя» — вспоминал впоследствии один тульский чиновник, видевший уличные выступления Успенского¹⁾.

Между тем эти выступления, как мы ниже увидим, были в самой тесной связи с его литературной работой. Он никогда не написал бы «Змеи», «Обо-

за» и других своих буффонадных вещей, если бы у него не было тяги именно к такой «балаганщине».

II

К вину он пристрастился еще в детстве. Тут сказалась горькая наследственность: все его ближайшие родственники тоже были беспросветные пьяницы. Мальчишкой он приставал к своей матери:

— Мамочка, одолжите веди!

Веди было условным названием водки, и мать охотно исполняла его просьбу.

Кроме того, говорят, он был человек с «сумасшедшинкой!» Тут сказалась еще худшая наследственность: отец его матери и братья его отца были душевнобольные. Сам он с детства страдал лунатизмом. Тургенев как-то, встревожившись в него, написал:

«Мне почему-то кажется, что он с ума сойдет».

А один его родственник вспоминал через несколько лет:

— Родные опасались за его рассудок.

Действительно, нельзя не признать, что многие его поступки безумны. Например, когда в медико-хирургической академии ему поручили препарировать руку какого-то трупа, он изрезал ее на куски, изломал выданные ему инструменты, разбросал их по палате и ушел.

И таким же безумным казалось его обращение с дочерью. Она была единственным существом, к которому он был привязан, а между тем он поступал с ней безжалостно: волочил за собою по ночлежным домом, заставлял петь и танцевать перед публикой и всячески стремился к тому, чтобы она стала такой же бродягой, как он.

Она хотела жить в семье, как все ее знакомые дети, но ее жалобы оскорбляли его, и он ненавидел всякого, кто хотел спасти ее от этой жизни.

Конечно, нетрудно понять, что он, обреченный на одиночество, без друзей, без уюта, без какой бы то ни было ласки, на старости пристрастился к ребенку, — но было что-то безумное в том, как он ревновал эту девочку даже к ее малолетним подругам, требуя, чтобы она любила его одного.

1) «Исторический Вестник». 1896, 12. Стр. 977.

III

Однако, все эти особенности его биографии не должны заслонять от нас его подлинного облика.

Ведь не в том же главная суть его жизни, что он был чуждак и бродяга, ведь было в нем нечто иное, поважнее розовых кобыл, но, к сожалению, об этом его биографы упорно молчат, и нам приходится чуть не лопатами разгребать скопившиеся вокруг него анекдоты и сплетни, чтобы увидеть его подлинный облик.

Этот подлинный облик удивительно непохож на ту маску, которую в течение стольких лет выдавали за его лицо.

Ибо, как мы видим теперь, центральная особенность его жизни и творчества заключается в том, что он был правдивый и, так сказать, стопроцентный нигилист шестидесятых годов, воплотивший в своей личности типичнейшие черты этой социальной формации. Потом эти черты попризабылись, но во времена его юности они до такой степени бросались в глаза, что Тургенев поизмывался у него кое-какие черты для героя «Отцов и детей», очевидно, считая его одним из наиболее характерных представителей этого типа.

Возьмем хотя бы его пресловутую грубость, о которой столько кричат вспоминаящие о нем обыватели. Если вы пристальнее взгляните в нее, вы сразу почувствуете в ней именно тот нигилистический стиль, который был почти обязательен для тогдашних «новых людей».

— Пислушайте, как вы могли выйти замуж за такое страшилище? — спросил он, например, одну малознакомую барыню, указывая пальцем на ее некрасивого мужа, и трудно не узнать в этой манере типичнейшего нигилиста шестидесятых годов.

А его разговоры с Толстым, которому он прямо заявил, что его считают глупцом и пигмеем!

Подобных грубостей насчитывают множество, но почему-то забывают при этом, что Николай Успенский бывал грубияном не только в таких мелочах. Почему-то умалчивают о других его «грубостях», имеющих глубоко об-

щественный смысл и требующих незаурядного гражданского мужества. Когда министр народного просвещения Головин, красовавшийся своим либерализмом, поручил ему как знатоку деревенского быта об'ехать несколько уездов Московской, Тульской и Орловской губерний и дать ему отчет о состоянии школьного дела в России, он представил министру такую записку, что тот счел ее за личное себе оскорбление.

— Кого вы мне рекомендовали! — кричал он своим приближенным.

Оказалось, в этой записке Николай Успенский без обиняков говорит, что крестьяне, разоренные реформами Александра II, так убоги и голодны, что надо раньше в корне перестроить их быт, а уж потом хлопотать о каких бы то ни было школах.

— Напрасно, полагают, — писал он министру, — что можно просвещать мужиков, у которых желудок набит лебедой и мякиной. Сперва надо накормить человека, а уж потом ему книжку подкладывать¹⁾.

Немудрено, что министр был крайне уязвлен такой дерзостью.

— Помилуйте, этот человек говорит, что я совсем не нужен для России.

Об этой «дерзости» Николая Успенского его биографы почему-то молчат, между тем она характеризует его лучше всяких крокодилов и розовых кляч. Ведь в то время Успенский был человеком подневольным, ведь в качестве уездного учителя он вполне зависел от министра, его карьера была в том, чтобы представить отчет, который угодил бы начальству, но никакие карьерные соображения не могли принудить его скрыть от Головина ту в высшей степени «грубую» мысль, что правительство разоряет крестьянские массы и что просвещение народа при этих условиях есть фикция.

¹⁾ Тезисы того отчета, который был представлен Николаем Успенским министру народного просв. А. В. Головнину, легли в основу его «Записок сельского хозяина». См. также девятую главу его повести «Издалька и вблизи». Текст отчета предоставлен мне Д. Г. Соколовым, которому и приношу свою признательность.

Таким образом, его знаменитая грубость приобретает совершенно другую окраску. В основе этой грубости оказывается то бестрепетное стремление к неприкрашенной правде, которое отличало лучших представителей шестидесятых годов.

В то время в нигилизме, как известно, намелились два течения, при чем правое сливалось зачастую с либеральным дворянством, а левое состояло из самых низовых разночинцев, так называемых бурых.

Правые отличались от «бурых» восторженным отношением к крестьянской реформе и горячими симпатиями к Герцену, который в то время восхвалял Александра II за предпринятое им «освобождение крестьян».

И драгоценно отметить, что Николай Успенский был «бурый», что он с самого начала относился к Герцену и к освобождению крестьян с тем нигилистическим «грубым» презрением, к которому в то же самое время лишь медленным и нелегким путем пришли в конце концов Чернышевский и Добролюбов.

Сохранилось замечательное письмо Николая Успенского, которое словно прожектором освещает его тогдашнюю «грубость». Это письмо до сих пор почему-то замалчивается, а между тем оно — один из самых важных документов, относящихся к его биографии.

В письме Николай Успенский рассказывает о своем столкновении с Василием Боткиным, который в то время уже находился на самом правом фланге либералов и, конечно, благоговел перед царем.

Это было в 1861 году. Герцен, временно разочаровавшись в Александре II, вдруг заявил в своем «Колоколе», что «народ правительством обманут», — и вот, прочитав заявление Герцена, Успенский пишет в Швейцарию поэту Константину Случевскому:

«Я давно предчувствовал это, поэтому и не интересовался манифестом и не читал новых положений. Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за [царя] Александра Николаевича. Боткин, когда я сказал... что манифест русский, ве-

роятно, вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузлым невеждой (я у него спросил, не болит ли у него желудок, — он сказал, что, точно, пищеварение трудно совершается), потом сказал: «Новые положения, недавно об'явленные правительством, — превосходны, и пусть ваш мужик околеет, если не воспользуется этими положениями». Наконец, он заключил: «А я давно говорил Герцену про [царя] Александра Николаевича: не ругай ты его, пожалуйста!»

«Да, как Герцену, так и Боткину пора-пора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказе об ужасах в России». Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Александра Ник[олаевича]. Да! По всей вероятности у этих людей мозг уже разлагается... а у Боткина первого. Это я знаю верно».

Вот какова была в то время «грубость» Николая Успенского,—это та самая грубость, которая роднила его с целой плеядой характернейших людей его эпохи, которая была свойственна и Ткачову, и Варфоломею Зайцеву, и Помяловскому, и великому множеству других нигилистов.

Николай Успенский, несмотря ни на какие чудачества, падения и слабости, был самым ранним и самым крайним выражением этого типа. Не забудем, что в то молчалинское время, когда низкопоклонство и десть были основами житейских отношений, грубость сама по себе стала своеобразной общественной доблестью. Именно как протест против организованной лжи, прикрывающей славословием язвы ненавистного строя, нигилисты и выработали в себе демонстративную грубость речей и поступков.

Были в Николае Успенском и другие черты, громко свидетельствующие о его принадлежности к правоверным нигилистам шестидесятых годов.

Он, например, в молодости очень любил медицину, увлекался физиологией, анатомией, химией — наиболее ценными в то время науками, и хотя

курса в медицинской академии не кончил, но на всю жизнь запасся познаниями в области этих наук. Его естественно-научное образование сказывалось до конца его дней — даже в его беллетристике. В повести «Издали и вблизи» некий химик читает целую лекцию о магнезин, ляписе, сероводороде и хлористом бари, а в очерке «Юрская формация» — буквально на каждой странице «вены», «артерии», «железы», «действие кислорода на кровь».

Очерки «Жгучий вопрос» и «Сельская аптека» (в первоначальной редакции) так изобилуют рассуждениями на медицинские темы, что кажется, будто они написаны медиком.

— Сплонхнология это учение о внутренностях, а синдесмология — учение о связках, — объясняет Николай Успенский в знаменитой коммуне Слепцова.

Вера в естественные науки была у него так велика, что даже на старости лет он мечтал написать для крестьян популярную книгу по химии, чтобы тем самым улучшить их быт.

— Наши мужички, — объяснял он, — даже понятия не имеют о кислороде!

И доказывал, что именно от этого деревенские дети умирают в таком огромном количестве.

Эта вера в естественные науки, которую он сохранил даже в то время, когда окончательно спустился на дно, — есть несомненное наследие шестидесятых годов, и вы только вслушайтесь, как по-базаровски отзывается он, например, о знаменитом романе Толстого.

Оказывается, что «Война и мир» для него не что иное, как иллюстрация к известной брошюре «нашего знаменитого физиолога Сеченова о задерживающих рефлексах и произвольных движениях»¹⁾.

Тут, в одной этой фразе и базаровское презрение к поэзии и базаровское преклонение перед «материей и силой».

Поэзии Николай Успенский вообще не жаловал, как и подобает человеку шестидесятых годов. Однажды он ошеломил

Тургенева заявлением, будто Пушкин только и делал в своих стихах, что кричал:

— На бой, на бой за святую Русь!

Тургенев был поражен таким кощунственным отношением к Пушкину и, справедливо считая эту фразу характерной для «новых людей», вложил ее в уста своего героя — Базарова — за долго до писаревских нападков на Пушкина.

Базаровская неприязнь к поэзии Пушкина сохранилась у Николая Успенского до конца его жизни.

Стариком, скитаясь по трактирам, он, как известно, рассказывал посетителям биографии знаменитых писателей, причем за биографию Пушкина брал самую дешевую плату, а дороже всех брал за биографию тех, кто был сослан в Сибирь или сидел в тюрьме.

IV

Но ярче всего о его нигилизме свидетельствуют его первые «Очерки народного быта», с которыми он выступил в литературе в конце пятидесятих годов. К сожалению, мы до сих пор не научились читать эти очерки и видим в них не то, что в них есть, а между тем в них буквально на каждой странице кричит о себе боевой разночинец шестидесятых годов, несущий новую, «глубокую», антидворянскую правду.

Эта антидворянская правда Николая Успенского может быть лучше всего понята, если мы сопоставим его очерки народного быта с тургеневскими, которые воплотили в себе высшую степень народолюбия, доступную либеральным дворянам.

В то время тургеневские «Записки охотника» уже приходили к концу. Дворянская беллетристика, посвященная изображению угнетенных крестьян, уже исчерпала свои темы и методы, и, таким образом, в лице Николая Успенского явилась как бы литературная смена Григоровичу, Тургеневу, Писемскому.

Разночинные читатели сразу почувствовали, что эта смена по существу своему враждебна тургеневщине, и полюбили ее.

¹⁾ Н. В. Успенский. «Из прошлого». М. 1889. Стр. 32 - 33.

Вспомним хотя бы тургеневского «Уездного лекаря». Это — сентиментальный рассказ об умирающей красавице-девушке, которая, желая хоть на смертном одре испытать недоступные ей радости брака, решила за несколько дней до кончины отдаться неказистому уездному лекарю.

Николай Успенский тоже изобразил уездного лекаря, но какая огромная разница! Он изобразил его отнюдь не для того, чтобы выставить героем амурной истории, а для того, чтобы показать, как омерзительна и вопиюще бессовестна постановка врачебного дела в России и как нуждается наша деревня в знающих и преданных врачах. Его очерк «Сельская аптека», жестоко искаженный цензурой, впервые поднял в русской беллетристике вопрос о медицинской помощи крестьянам и вообще неимущему люду.

Тургенев, изображая болезни и смерти деревенских людей, был восхищен их кротостью и мудрым терпением:

— Удивительно умирают русские люди!

А Николай Успенский предпочел вместо этого выступить с разоблачением тех свирепых условий, которые доводят крестьян до преждевременных болезней и смертей.

Самая литературная манера Николая Успенского была во многих отношениях антитургеневской.

Читатель шестидесятых годов не мог не почувствовать в «Записках охотника» некоего отпечатка салонной изысканности. Недаром в одном из своих очерков этот охотник советует не выезжать на охоту без фрака! Фрак, действительно, ощущается у него на многих страницах. Читателей разночинцев не могли не коробить беспрестанные реверансы субличного автора, все эти его поклоны и расшаркивания:

«Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей».

«Позвольте, любезный читатель, познать вас с этим господином».

Иногда в своих реверансах Тургенев доходил чуть ли не до стихотворного ритма:

Дайте мне руку, любезный читатель,
и поедимте вместе со мной.
Погода прекрасная, кротко сияет
майское небо...

Все эти фиоритуры Николаю Успенскому были совершенно несвойственны. Он прямо начинал свои очерки так:

«Жив еще старичок-то, — мой тятенька».

Или:

«Был сентябрь в исходе, вечерело; шел дождик».

И уже одно это отсутствие жеманных ужимок делало его своим человеком для той новой породы читателей, которая возникла в шестидесятых годах.

Другая типичная особенность его «Очерков народного быта» заключалась в том, что он нигде никогда не выставлял напоказ своих чувств. Нигилисты, как известно, были скупы на сердечные излияния, — вспомним хотя бы Добролюбова, — и Николай Успенский в этом отношении был еще скупее других. Он до такой степени изгонял из своих писаний всякое подобие лирики, что, когда однажды, описывая грустное событие, он вставил в очерк два слова о своей гнетущей тоске, в следующем издании очерка он поспешил вычеркнуть эти два слова, как бы совестясь своих автопризнаний¹⁾.

Такая сдержанность, как мы ниже увидим, впоследствии причинила ему немало незаслуженных обид.

Тургенев и здесь был антиподом Успенского: постоянно сообщал он читателям свои личные мысли и чувства по поводу изображаемых событий.

«Сладко стеснилась грудь» — говорил он в одном рассказе.

«Жалость несказанная стиснула мне сердце» — говорил он в другом.

И в третьем:

«Образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, а васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня».

Вся эта лирика в рассказах Успенского была упразднена совершенно.

И, конечно, Николай Успенский не был бы писателем шестидесятых годов,

¹⁾ Сравните «Сельскую аптеку» в издании «Рассказов» Н. В. Успенского 1861 года и 1864 года.

если бы в его очерках появилась хоть одна красивая или нарядная строчка, относящаяся к описаниям природы, которыми так щеголял Тургенев. Успенский, в полном согласии с разночинной эстетикой, изгнал из своих очерков всю тургеневскую пейзажную живопись, и в них ни слова не найдешь ни о невинной «небесной лазури», ни о «спокойной сияющей бездне», ни о «лучистых алмазах росы», ибо и здесь Николай Успенский проявил то плебейское пренебрежение ко всякой красивости, которое было свойственно всей плеяде беллетристов шестидесятых годов.

Не забудем, что он был предтечей этих писателей, что и Слепцов, и Решетников, и Левитов, и Глеб Успенский — все пришли после него и что значит те антитургеневские формы, которые он установил в литературе в конце пятидесятых годов, не навязаны ему со стороны, а органически спаяны с его биографией.

Замечательно, что подлинная его биография, — не та, в которой выдвинуты на первое место его чудачества, болезни и слабости, а другая, которая еще не написана, которая должна раньше всего изучить создавшие его бытовые условия, — эта биография до такой степени типична для всех писателей шестидесятых годов, что кажется как бы квинт-эссенцией их биографий.

У

Он родился в селе Ступине, Тульской губернии, в 1837 году.

Отец его, даром что поп, был человек непутёвый, балагур, непоседа, птицелов и лошажник и принадлежал к числу тех талантливых русских людей, которые охотно тратят себя на пустяки и ненужности, а от серьезного дела отлынивают. Главный у него был талант — к рукоделью. Шить ли брюки, починить ли часы — это он умел лучше всех. Птички клетки изготовлял превосходно. А к хозяйству был ленив и равнодушен. Все больше слонялся по ярмаркам да околачивался у соседних помещиков.

Такие люди очень приятны в гостях, но дома они хмуры и сварливы.

В те редкие часы, когда священник Василий Успенский возвращался в лоно семьи, он тотчас же заводил бесконечные ссоры со своей вечно беременной женой, и ссоры эти были так горячи, что требовалось вмешательство высших церковных властей, чтобы хоть на время утихомирить буяна.

К детям он тоже был суров и придирчив. А детей у него было много: Аня, Ваня, Саша, Маша, Лиза, Миша, Серафима и будущий писатель — Николка.

Накормить деликатесами такую орду нельзя, и потому основной едой всей семьи была гречневая каша и картошка. К младшим детям одежда переходила от старших, и пара сапог обычно была на двоих. Из ветхой отцовской шапки Николке скроили жилетку. А единственную клячу кормили в зимнее время так скудно, что ждали ее смерти со дня на день и удивлялись, почему она жива.

Хотя жизнь этих поповичей мало чем отличалась от жизни крестьянской, но с крестьянами они сходились неохотно и льнули главным образом к деревенской «аристократии» — к лавочникам, лакеям, кабатчикам, волостным писарям и кутейникам, то-есть к самому распутному и пошлому кругу, какой только мог выработаться в тогдашней деревне. «Жеребьячьа порода» в деревне обычно являлась с такими верхами или, вернее, подонками деревенского общества, и, конечно, Николка с самого раннего детства наслушался в этой растленной среде тех смердяковских речей, которые потом столь часто воспроизводил в своих книгах.

Правда, он, единственный из всей своей семьи, водился с простым хлеборобом и не брезгал полевыми работами, но, конечно, главное его общество было лакейское, — и не нужно скрывать от себя, что много уродливых черт внесла эта среда в его психику.

А когда на девятом году его отдали в тульскую бурсу, там, словно нарочно, были приняты все меры к тому, чтобы окончательно развратить и ополить этого одаренного мальчика. Учителя все до одного были взяточники и снисходили только к детям богатых родителей, а такую гольтыбду, как Николка, поролли чуть не изо дня в день.

В своих «Воспоминаниях» он рассказывает, что экзекуция вообще занимала первое место среди применяемых к нему педагогических мер. Палачами его были его же товарищи, которые смягчали удары в зависимости от получаемых взяток.

Словом, все виды житейских неправд и обид изведаль он в этой школе уже с девятилетнего возраста. Розга, водка, взяточничество, карты, низкопоклонство, наушничество, показная набожность и тайный разврат — таково было его воспитание в течение десяти с лишним лет. Мудрено ли, что единственное спасение было для него в тех шутовствах и чудачествах, которым он, как мы знаем, предавался с самого детства. Эти шутовства были как бы отдушиной для его блестящих талантов, которым здесь нельзя было найти никаких других применений.

Говорят, что в рассказе «Декалов» он изобразил свою собственную бурсацкую жизнь. Если это так, удивительно, что при такой системе воспитания ему вообще удалось сохранить человеческий облик.

Там же в Туле жил его дядя Иван, видный и зажиточный чиновник. У дяди был собственный выезд, дядя служил в казенной палате, дядя водился с именнейшими лицами в городе. Дядя принял Николку под свое покровительство, прикармливал его и, когда было надо, лечил. Однажды он даже подарил ему старую шинель с своего плеча. Но Николка взял мед, написал на шинели какое-то обидное слово и послал ее дяде обратно. Вот когда уже сказались в нем знаменитая его неучтивость.

У дяди был сын гимназист, по имени Глеб, впоследствии знаменитый писатель. Дядя запрещал Глебу водиться с бѣумытою бурсой, и Николка уже в те годы возненавидел своего счастливого брата за то, что его никогда не пороли и что на каждое утро ездил в гимназию на собственной лошади.

Эта ненависть к Глебу осталась у Николки на всю жизнь:

«Мы с ним братья, — конечно, двоюродные! — говорил он о Глебе позднее. — Два Лазаря. Только он — Лазарь богатый, а я — Лазарь бедный. Он — го-

рожанин, сын богатого палатского секретаря, а я — сельчанин, сын левита. Он в молодости катался, как сыр в масле, а я глодал сухую корку хлеба. Он вышел из школы со всякими дипломами, а я — недоучка!»¹⁾

Глеб со своей стороны платил ему такую же горячею ненавистью.

В 1856 году, вскоре после смерти царя Николая и окончания Крымской войны, когда тысячами из всех захолустных щелей ринулись в столицу разночинцы, он, захваченный этим потоком, тоже поспешил в Петербург, чтобы вместо опостылевших ему богословских наук изучать любимую им медицину.

Как он добрался до Питера, нам неизвестно. Кажется, от Тулы до Москвы шел пешком. Судя по его автобиографическому очерку «Брусиллов», он поселился в Питере в темной каморке, без мебели, с гнилым полом, из-под которого по ночам выбегали стада крыс и мышей и так визжали, что наводили на юношу ужас. Все это чрезвычайно типично для биографии «новых людей», ставших впоследствии «бурями».

Еще в семинарии он начал заниматься писательством. И теперь в Петербурге сочинил два рассказа, которые и появились в одном захудалом журнальчике. Рассказы были замечены. Он написал еще два и отдал их в лучший журнал — в «Современник» Некрасова, где работали тогда Чернышевский и Добролюбов. Некрасову они очень понравились, он отвел им в журнале самое почетное место, — и вот двадцатилетний еще безусый бурсак-недоучка стал одним из любимейших русских писателей.

Обычно тогдашняя критика почти не замечала новичков. Два-три удачных рассказа еще не давали писателю права на литературное имя. Но с Успенским случилось иначе, — не потому ли, что его первые очерки лучше из написанного им в течение всей его жизни? «Хорошее житье», «Поросенок», «Старуха» — это вершина его литературного творчества. Такова судьба почти

1) П. К. Мартыянов. «Дела и люди века». П., 1893. Стр. 238.

всех писателей его поколения. Почти все они начинали блестяще, но жизнь заглушала их таланты. Нищенская, угарная, пьяная жизнь не давала им возможности совершенствовать свой писательский дар. Эти ранние очерки двадцатилетнего автора понравились даже Толстому, который через несколько лет перепечатал один из них в своем журнале «Ясная Поляна». «Старуха» полюбилась Достоевскому, и он горячо расхвалил ее наравне с «Поросенком» в одной из позднейших статей. Сразу обнаружили в двадцатилетнем студенте самобытный, темпераментный, полнокровный талант. Правда, на первых порах его сочли было подражателем Даля, но вскоре разглядели, что Даль рядом с ним просто ряженный и что, пожалуй, он — достойный соперник первейшего новеллиста эпохи — автора «Записок охотника».

VI

Мы уже видели, как сильны в его творчестве антитургеневские (то-есть в сущности антидворянские) тенденции.

Хотя он и Тургенев наблюдали крестьянство в одних и тех же тульско-орловских местах, их наблюдения были так несхожи, словно они описывали совершенно различные страны, разделенные огромными далями.

Не даром критика на первых порах заявила, что Николай Успенский явился Колумбом новой неизвестной Америки. Так непохожа была страна, изображаемая им, на тургеневскую. Среди жителей этой страны не было ни Хорей, ни Калинычей. Ни про одного из них Успенский не мог повторить вслед за Тургеневым, будто лицо у него было кротко и ясно, как вечернее небо. Да и не станут они подносить друг другу пучки полевой землянки, которые у Тургенева подносили Хорю его задушевный приятель Калиныч. Да и нет у них никакой задушевности.

Напротив, здесь, в этой стране Николая Успенского, человек человеку мерзавец. Все здесь только и помышляют о том, «как бы дерябнуть где, да как бы обегорить кого, один под

другого подкапывает, один другого поддевает».

Здесь вся жизнь — как бы круговая порука мерзавцев, и в очерке «Хорошее житье» один из них, даже не подозревая, что он негодяй, самодовольно рассказывает, как в течение нескольких лет он развратил и разорил всю округу, при чем пресловутая крестьянская община всячески помогала ему, ибо она почти вся составлена из таких же негодяев, как и он.

Попробовал было Петрушка (в рассказе «Старуха») перечить одному из таких, тот украл триста рублей и сказал на Петрушку, и Петрушка погиб без вины, а с ним его мать и брат.

При таком засилии мерзавцев немудрено, что даже сельская аптека, предназначенная как-будто для блага крестьян, превращается в застенок, где мучают и калечат людей.

Там фельдшер, тупая скотина, как ни в чем не бывало долечивает лесника до гангрены и выжигает крестьянскому мальчику глаз.

Самое страшное — то, что они говорят о всяких негодяйских поступках как о самых обыкновенных вещах, не удивляясь и не протестуя, словно на свете и не бывает иных отношений, словно это — жизненная норма, нерушимая во веки веков. Именно нерушимая, так как сами жертвы этой жизни даже не надеются на лучшее, твердо зная, что лучшее — только в могиле.

— То-то придет время, все помрем! — утешают юни себя и других. — Вот уже где будет свобода-то! Никаких забот! Лежи себе ровно барин... «А что вы говорили насчет равенства, то оно будет в конце мира, не ранее...»

Других надежд на свободу и равенство никому из них питать не приходится.

Если же случайно, в виде сверхъестественной редкости, один из них сделает другому добро, хотя бы микроскопически малое, это в стране Николая Успенского кажется изумительным чудом. Таких чудес во всех двадцати пяти его первых рассказах всего только три: полунисяя торговка дарит старухе одну — должно быть черствую — булку, сын дьячка, уезжая в город,

дарит крестьянским ребятам своих чижей и синиц, да дворничиха в третьем рассказе дает соседке для ее голодающих внуков немного творогу и молока, — вот и все человеческое, что есть в этих книгах: три добрых дела на семьсот страниц! ¹⁾

И замечательно: в благодатной стране, изображаемой «Записками охотника», нет и в помине той лютой нужды, которая, свирепствует в книгах Николая Успенского. Тут она, как воздух, заполняет собой все щели. Ее даже не замечают, с ней не борются, потому что она — естественный фон, на котором происходят все события. Это — безнадежная, изматывающая душу, тягучая бедность, которую настоящему мог описать лишь испытавший ее на собственной шкуре Вздорожание селеди на две копейки для его героев — катастрофа, а обеденные тараканами крендели — самое пышное лакомство. Шесть с половиной целковых годового дохода в их быту — самая обыкновенная норма, а если их школьники не являются в школу, то потому, что собирают под окнами милостыню.

И сколько в очерках Николая Успенского чахнувших от голода детей, которых словно и не существует для «Записок охотника».

Потому-то в этих очерках люди так часто стремятся к еде. Кажется, до Николая Успенского ни у какого писателя еда не являлась таким могучим рычагом человеческих жизней. Только для него голод — не исключение, а правило, только у него целые сословия людей характеризуются потребляемой ими едой.

— Ведь подумаешь, братец мой, праздник-то; оттого-то он дорог, что еда — прекрасная... А уж как у этих попов жрут сладко!..

— Ну, у приказчиков лучше. У тех еда царская... в десять раз лучше поповской!.. Одно слово трескотня здорвая!

— Что ж им? Народ пшеничный!

Только для него, с детства жившего

под угрозой голода, тот, кто потребляет наиболее обильные яства, есть непрощаемый враг.

В рассказах и романах из народного быта, написанных до Николая Успенского, крестьяне, если и пьянствовали, то очень истоиво, в исключительных случаях, а у него — попробуйте, считайте, сколько ведер сивухи выпито в одном только рассказе — в «Хорошем житье», где вся деревня, весь народ — поголовно «как пойдет пьянствовать — держись шапка! Оттыкай бочки! Жёну пропить готов со всей утварью!»

В его книгах то и дело восклицают: — Шалишь, меня не споишь!

— Мне, Иван Тпхонович, господь бог дал такой ум, что я теперь с ведра не захмеляю!

Этого сивушного моря, заливавшего Антонов Горемык, не видели томные господские очи, жаждавшие сладких иллюзий о кротком и благообразном народе. Только тот, кто заодно с мужиками и сам утопал в этом море, мог выдвинуть в своих рассказах на первое место кабак и разоблачить его власть над деревней.

Странно ли после всего вышесказанного, что новый читатель, созданный эпохой шестидесятых годов, почувствовал в Успенском своего?

По ощущению этого читателя рассказы Успенского были в полной гармонии со статьями Добролюбова и Чернышевского, которые печатались тут же, на соседних страницах, в тех же книжках молодого «Современника». И там и здесь была та грубая и жесткая правда, которую пытался внести во все области жизни пришедший из низов разночинец.

Никому и в голову не приходило тогда, что скоро тем же самым читателям эти самые рассказы покажутся злонамеренной и чуть ли не черносотенной ложью, которую необходимо ненавидеть.

VII

В то время он уже пьянствовал так, что редко бывал в трезвом виде. Но ведь и пьянство не было его личной чертой, оно характеризовало всю груп-

¹⁾ См. рассказ «Странницы», «Декалов», «Старуха».

пу молодых разночинных писателей, которые возникли в те годы: и Щапова, и Соколова, и Воронова, и Левитова, и Помяловского, и Павла Якушкина. Не даром большинство из них принадлежало к «семинарской породе», — так что и в этом отношении жизнь Николая Успенского была не исключение, а правило. «Семинарская порода» в то время дала литературе множество своих представителей. Не даром «Современник» называли в шутку консисторией, ибо там от Чернышевского до Антоновича все главные сотрудники были питомцами бурсы. Так что Николай Успенский в этом отношении типический представитель своего поколения.

В 1861 году он при содействии Некрасова уехал за границу: во Флоренцию, в Рим, в Париж.

Там опять-таки очень реально сказались в нем плебей шестидесятых годов. Не мадонны поразили его в Риме, не древние базилики, не статуи, а безысходная нищета населения.

Когда Боткин хотел заразить его своими восторгами пред римским искусством, Успенский неучтиво ответил, что Рим кажется ему весьма неприятным, так как это город, «задыхающийся от лишений и бедности», и что никакие шедевры искусства не могут заслонить от него ни тощих лиц, ни дырявых сапог.

Боткин, миллионер и эстет, очень обиделся за римские древности.

Но в общем это путешествие было для Успенского настоящим праздником. В то время ему едва исполнилось двадцать четыре года. Высокого роста, очень здоровый, красивый и стройный, он, конечно, тотчас же нарядился во все заграничное, завел себе широкополую шляпу и стал беззаботным туристом фланировать по парижским бульварам, словно чувствуя, что это единственный просвет в его жизни. В Париже его охватила безумная страсть к покупке, свидетельствующая о полном неумении обращаться с деньгами — своими и чужими. — Как бы вознаграждая себя за свое скудное детство, он самым легкомысленным образом накупил себе кучу подарков — между

прочим, и ту панораму, которую впоследствии показывал крестьянам на ярмарках, и ту гармонику, на которой впоследствии играл в московских кабаках и притонах.

То было счастливейшее время его жизни. Главное, в свой талант он верил тогда очень крепко. Он верил, что все сделанное им до сих пор есть только проба пера и что теперь, вернувшись из Европы, он напишет нечто замечательное, такое, что закрепит навсегда его нынешнюю литературную славу.

Он давно уже носился с идеей какого-то монументального романа.

«Вы не знаете, — писал он из Парижа Случевскому, — какой у меня план для романа! Фу! где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы тридцать частей на этот сюжет».

Некрасов тоже верил тогда в его литературное будущее и, не скупясь, посылал ему деньги, чтобы он, набравшись новых впечатлений, со свежими силами принялся бы за писание романа, который был так нужен «Современнику».

В Париже, как мы знаем, Успенский неоднократно встречался с Тургеневым, который как раз в то время писал своих «Отцов и детей». Можно себе представить, с какой жадностью набросился Тургенев на приехавшего в Париж нигилиста. Ведь в Париже Тургеневу приходилось узнавать о нигилистах лишь из русских газет и журналов. Оторванность от той среды, которую он хотел описать, не могла не тормозить его творчества. И вот именно тогда, когда работа над романом была в самом разгаре, судьба послала ему за границу настоящего живого нигилиста, и, конечно, он широко использовал эту добычу.

Покуда Успенский проживал за границей, в Петербурге вышли в издании Некрасова два томика его сочинений — все, что было написано им до сих пор, — и эти книжки продавались нарасхват.

Критика встретила их похвалами, и Николай Успенский вернулся в Рос-

сию для новых триумфов, чувствуя себя на пороге нового, обширного и славного поприща.

Его, действительно, ожидали в России триумфы. Чернышевский написал о нем большую статью, где указывал, что появление его деревенских рассказов есть симптом огромных перемен, совершавшихся тогда в русском обществе. Журналы хвалили его юмор, его наблюдательность и называли «замечательным талантом».

Можно ли было сомневаться, что его «замечательный талант» только теперь начинает развертываться, что ему предстоит долгие и долгие годы влияния на русских читателей.

И вдруг он сорвался и полетел словно в яму, — безостановочно, покауда не очутился на дне. Вся его слава превратилась в позор, и та самая молодежь, которая встретила его с таким энтузиазмом, как одного из лучших своих представителей, теперь отвернулась от него, как от врага.

Добро бы он изменил своим верованиям. Но нет. Заграничная поездка еще сильнее утвердила его в ненависти к самодержавному строю. Он стал еще суровее обличать мироедов, разоряющих крестьянскую массу. Он до конца своих дней остался верен заветам шестидесятых годов, но никто уже не слушал его, ибо все единодушно решило, что его книги — ретроградная ложь.

Он сделался жертвой странного самообмана читателей. Читатели как бы ослепли на время к истинному содержанию его книг и, навязав ему тенденции, которых у него никогда не бывало, изгнали его из лучших журналов и предали его имя забвению.

Вскоре по приезде из Парижа он поссорился с Некрасовым из-за денег. Ссора с Некрасовым имела в его жизни роковое значение, но было бы большой ошибкой думать, что ею обусловлен коренной переворот его жизни, который произошел около этого времени.

Некрасов дал ему на заграничную поездку гораздо больше, чем ему по-

лагалось, а он требовал еще и еще считая, что Некрасов не додал ему, нескольких тысяч. Теперь мы знаем, что никаких прав на эти тысячи он не имел, но напрасно думают, что, если бы не денежная ссора, он попрежнему остался бы в журнале Некрасова. Нет, и без всяких ссор он был бы вскоре удален из «Современника» именно потому, что читатели второй половины шестидесятых годов подвергли его бойкоту. Некрасов несомненно учуял эту перемену в читательских вкусах и потому в ближайшие годы не сделал попытки примириться с Николаем Успенским.

Ведь Добролюбов в то же самое время задолжал Некрасову шесть с половиною тысяч, а Чернышевский больше тринадцати тысяч¹⁾, между тем ни о каком разрыве не могло быть и речи, потому что они были нужнейшими людьми в «Современнике», а с Николаем Успенским все равно надлежало расстаться, если не тогда, то позднее, ибо такова была воля читательских масс.

Разрыв с Некрасовым был для Успенского ужасным ударом. Его родные даже опасались, как бы он не сошел с ума. Он так и не начал писать тот роман, на который еще в Париже возлагал столько надежд и которому должен был позавидовать сам Александр Дюма. Его новые очерки, которые ему приходилось печатать уже у Краевского, во второстепенном журнале, стали короче, бледнее, неряшливее. Он запяньствовал еще сильнее, чем прежде, уехал в провинцию и вскоре сделался уездным учителем.

Новое издание его сочинений, вышедшее в 1863—64 годах, уже не имело никакого успеха. Критика даже не замечала его новых рассказов. Две-три его повести появились было в «Вестнике Европы», но тоже прошли незамеченными. Между тем его народолобие было выражено в них с чрезвычайной силой, особенно в повести «Старое по старому», где он разоблачал махинации земства, служившего—

¹⁾ В. Е. Максимов-Евгеньев. «Некрасов как человек, журналист и поэт». М. Л. 1928. Стр. 188

под прикрытием демократических лозунгов — не крестьянину, а барину, купцу и кулаку. В конце концов редакции толстых журналов стали возвращать ему рукописи. Ему пришлось печататься лишь на задворках, в мелких, грошовых журналах — в каком-то «Сиянии», в «Ремесленной газете», в «Будильнике».

Тогда-то и сказался в нем природный бродяга. Он окончательно порвал с оседлой жизнью и стал скитаться из города в город, из деревни в деревню, без пристанища, без денег, без цели. Тургенев попробовал было приютить его у себя, в своем Спасском, дал ему участок земли, где он мог бы построить избу и зажить не нуждаясь, но никакого уюта, никакой прикрепленности к месту он уже не выносил и при первой возможности уехал из Спасского.

В семидесятых годах он женился на дочери священника, своего дальнего родственника, которая страстно любила его, хотя ей было шестнадцать, а ему сорок три. Конечно, брак оказался несчастным, так как нельзя себе представить человека, менее способного к семейному быту. Говорят, он замучил молодую жену, заставляя ее кочевать из деревни в деревню; когда же однажды ему поручили нянчить двухнедельную дочь, он оставил ее в запертой комнате, а сам ушел в лес, и ее чуть не загрызли крысы.

Его тесть был выжига, кулак, сочевший церковную службу с аферами, и, конечно, через несколько дней после свадьбы Успенский объявил ему войну, которую и вел в течение нескольких лет с безумной яростью, с азартом, с напряжением всех своих умственных сил, то жалуясь на своего врага архиерею, то грозно обличая его перед паствой, то громя его в целом ряде сокрушительных писем.

Со стороны было больно смотреть, что столько таланта и пафоса тратится на мелкие дразги, но в том-то и было несчастье Николая Успенского, что, вырвавшись на несколько лет из растленной провинциальной сре-

ды, он на старости снова погрузился в нее.

Другие писатели той же «семинарской породы» — Чернышевский, Добролюбов, Елисеев, Антонович, Помяловский, Левитов, — оторвавшись от «духовного» быта и возненавидев его всеми силами, никогда уже не возвращались к нему, а Успенский, чуть только литература отвергла его, вернулся в родную топь и завяз в ней по самое горло. Это окончательно погубило его.

Вскоре от его недавней славы уже ничего не осталось. Для журнальной критики он словно умер, и если она порою вспоминала о нем, то почти всегда презрительно и бегло, как о ничтожном и давно отпетом писателе.

Податься ему было некуда. Жена его скончалась через несколько лет после свадьбы, он взял свою гармонику, взял малолетнюю дочь и — как уже было сказано мною в одной из моих недавних статей — «распухший, пьяный, лохматый, с седой бородой, пошел шататься по ночлежным домам, по трактирам, в арстантской овчинной бекеше... и у него появились друзья с воровскими кличками Мазепа, Левша, Костоправ и Шептун, и он сделался настоящим босяком: одна нога в калоше, борода нечесаная, колени трясутся, — ходит и выпрашивает рюмочку в долг, но ему не верят и гонят, и пьет он уже не водку, а спирт».

Тогда-то, окончательно заплеванный всеми, он начинает печатать в одном трактирном листке ругательные воспоминания о русских писателях, с которыми когда-то был близок, — о Некрасове, Толстом, Глебе Успенском, Слепцове, — и его собутыльник, пропойца Кондратьев, кричит ему: «Жарь их хошенько!»

Он и жарит их в четыре кнута, словно мстя им за то, что они знамениты и окружены ореолом, а он — в канаве, с разбухшими почками, презираемый даже трактирной сволочью. И вот через несколько месяцев, когда падать ему уже некуда, в газетах появляется заметка:

21 октября (1889 года) около одного из домов Смоленского рынка, где ютится бездомный московский люд, был найден труп какого-то старика. Горло оказалось перерезанным в двух местах. Около трупа были две большие лужи крови, и тут же дежал тупой перочинный ножик. Труп был одет в рубище. При обыске в карманах не оказалось ничего, кроме паспорта на имя бывшего учителя Николая Васильевича Успенского.

Как выяснилось потом, этот ножик он купил за четвертак на базаре. Присил у Кондратьева бритву, но тот сказал:

— Зарежешься и ножиком!»¹⁾

VIII

Ни к чему другому и не мог привести тот жестокий и несправедливый бойкот, которому в течение двадцати пяти лет подвергали читатели этого талантливого, смелого и правдивого автора.

Огромным должно было казаться его преступление русской молодежи той эпохи, если она могла причинить ему столько страданий и казнить его такою позорною казнью.

В чем же это преступление заключалось?

В том, что он будто бы оклеветал мужика, цинично осмеяв его идеалы и верования, и надругался над теми устоями деревенского быта, которыми надлежало тогда восхищаться.

Нужно ли говорить, что Успенский был в этом преступлении неповинен. Русскую деревню он любил ненасытной и взволнованной любовью. Прочтите его «Юрскую формацию», его «Записки сельского хозяина», — всюду, где он говорит о себе, вы почувствуете тревогу о несчастных, обокраденных крестьянах, боль от их темноты, бесправия. Он не льстил им, не молился на них, не сочинял легенд об их мудрости и какой-то гармоничной красоте,

он по своему обычаю говорил о них самую грубую правду, но это была правда любви, а не злобы.

Да, крестьяне очень часто у него и звери, и глупцы, и невежды. Да, они за бутылку сивухи прощают избившему их человеку все нанесенные им оскорбления. Да, они по своей сверхъестественной дикости не умеют сложить пять и восемь и принимают своего же соседа за шестиглавого змея.

Но разве мы не видим у того же Успенского, что это их беда, а не вина, что они раздавлены тысячелетней бедностью, что и барин, и поп, и становой, и приказчик высосали у них не только кровь, но и мозг, что ни единого проблеска свободы и правды никогда не проникало в их быт.

С прямолинейностью радикала шестидесятих годов он разоблачал в этих очерках и продажность деревенских властей, и ужасы рекрутчины, и жадность попов, и лицемерие чиновничьих забот о крестьянстве.

Уже тогда, в конце шестидесятих годов, когда расслоение деревни почти никем еще не ощущалось, он указал на все растущую власть кулака и на ту страдальческую участь, на которую он обрекает беднейшие массы крестьянства.

Тогда же он посвятил несколько горьких страниц и фабричным, что было в ту пору величайшей редкостью. Фабричные в его очерке «Страницы» работают на самоварном заводе, как каторжные, и лица у них почернели от меди, а заработной платы каждый из них получает по одному четвертаку в неделю, да и тот им выдают не всегда.

«— Это ваш пузан-то орудует! Оп всех рабочих словно мух затамил, а у самого тысячи ломятся...»

Нам теперь, через семьдесят лет, почти невозможно понять, почему в этих писаниях Николая Успенского остались никем не замечены его четко выраженные симпатии к бедняцким элементам деревни, почему никто не увидел, что именно в те годы, когда его подвергли бойкоту, эти симпатии выросли в нем и окрепли? Если в начале его литературной карьеры его

¹⁾ См. мои «Рассказы о Некрасове». М. 1936. Стр. 31-32.

позиция казалась порою неясной вследствие некоторых особенностей его литературного стиля, то в последующие годы, тотчас после разрыва с Некрасовым, радикализм его убеждений выражен им с максимальной рельефностью. А в последние годы его жизни чувства к народу дошли у него до такой размягченности, что где бы он ни встретил мужика, он снимал перед ним свой измызганный, рванный картуз и кланялся ему низким поклоном... И это не было аффектацией пьяницы. Вспомним, что в течение всей своей жизни он и году не мог прожить в городе — так тянуло его к мужику, — и даже в Париже, который очень полюбился ему, он смертельно тосковал по деревне. В одном парижском магазине он увидел картину из деревенской русской жизни с каким-то унылым мужиком на первом плане, и его страстно потянуло в русскую деревенскую жизнь. «Ах, Случевский! — писал он из Парижа в Швейцарию. — Вы напрасно это делаете, прокисая теперь в паршивом Вевее... Эти вещи хороши на два-три дня. Вы бы пролили много утешения в бедную губернию русскую, если бы вернулись в Россию и устроили театр для народа...»

Но при всем том он яснее всех увидел и громче всех прокричал в своих книгах, что старорусская деревня подлежит скорейшему уничтожению, что в интересах самих же крестьян весь этот патриархальный рабский быт со всеми его общинами и круговыми поручиками, со всей его «сермяжной корежиной» должен был немедленно выкорчеван, ибо все в нем позор и обида.

Но если в начале шестидесятых годов читатель-разночинец и сам разделял его чувства, то вскоре, примерно около 1863 года, этот читатель по целому ряду причин, о которых мною было говорено в другом месте, чем дальше, тем больше влюблялся в крестьянина, жаждал благоговеть перед ним и требовал от своих писателей, чтобы они возможно пламеннее восторжались этим новым кумиром. Нужно только вспомнить, что было пере-

жито этими самыми разночинцами в то время.

Праздничный период бури и натиска кончился, «началось тяжелое похмелье, и уже весной 1862 года, после знаменитых петербургских пожаров, оптимизм радикальной молодежи сменился тоскою и гневом». Свириное усмирение польских повстанцев, муравьевские виселицы, белый террор каразовских дней, разгром молодой интеллигенции, арест Чернышевского и главное, главное — та кабала, в которой оказались крестьяне после «великой реформы» Александра II — все это не могло не произвести самых резких перемен в мировоззрении молодой демократии.

Антоны снова стали сплошь «горемыками», и потому всякая голая правда о них снова стала казаться кощунством. Таким образом, хотя дворянское жаление Антонов закончилось, но началось дворянское покаяние перед ними, и «кающиеся дворяне» в огромном количестве стали просить у Антонов прощения за самое свое бытие. А разночинцы после краха нигилизма создали себе новую веру — народничество, основанную на сладчайшей иллюзии о каком-то непогрешимом народе, в недрах которого будто бы тайно сокрыта могучая революционная воля и который в созданной им общине имеет будто бы все предпосылки грядущего идеального строя, при чем, конечно, всякое нелестное слово об этом боготворимом народе воспринималось, как оскорбление святыни, и горе было тому храбрецу, кто осмелился бы пойти против общего благоговетного чувства к народу.

Таким храбрецом был Успенский. Но если в 1861 году его храбрость принесла ему хвалы и триумфы, то уже в 1864 году, после всех катастроф, постигших молодую радикальную партию, его хула на крестьян стала ощущаться как злобное добивание избитых.

Правда, в 1864 году народничество еще не успело сложиться в законченный символ веры, каким оно стало лишь в семидесятых годах, но народнические настроения уже начали овладевать передовой молодежью, что ве-

ликотепно почуял такой гениальный журналист, как Некрасов, создавший именно в ту пору свою первую крестьянскую поэму «Мороз красный нос», где воспел в монументальных стихах величавую, труженическую, гармонически-прекрасную жизнь великорусской деревни. Тогда же он принялся за созидание своей крестьянской Одиссеи «Кому на Руси жить хорошо», которая впоследствии стала поэтическим манифестом народничества».

Что же странного, что Николай Успенский, автор книги о дикости крестьянского быта, сразу стал для передовой молодежи одним из самых ненавистных писателей? ¹⁾.

IX

От этой ненависти, преследовавшей его в течение всей его жизни, он и после смерти не спасся.

До самого недавнего времени о нем печатали в журнальных статьях, как о чертвом и бездушном зубоскале, который поставил себе специальной целью высмеивать все, что имело отношение к народу.

Замечательно, что позднейшие прокуроры Николая Успенского осуждали его по преданию, даже не читая его книг. О нем раз навсегда установился готовый критический штамп, которым каждое новое поколение критиков клеймило его снова и снова. И за все эти сорок лет, прошедшие со дня его трагической смерти, никто так и не собрался переоценить его творчество. Один только Плеханов сказал о нем несколько сочувственных слов и заявил мимо-

ходом, что никакого издевательства над русским крестьянством в его писаниях нет, но хотя слова эти верны и вески, они были сказаны вскользь, по случайному поводу и не встретили тогда резонанса. Только теперь, когда мы освободились от предрассудков народничества, когда оно сделалось для нас древней историей, мы получаем возможность вернуть литературе этого большого писателя.

Но примет ли его литература? Не знаем. Одной из самых темных загадок является для нас то обстоятельство, что Николай Успенский и в советской литературе — отверженный. В прошлом году в ноябре исполнилось ровно сорок лет с того дня, как легковой извозчик рано утром увидел на Смоленском рынке его окровавленный труп, и было естественно ждать, что эта дата не пройдет незамеченной, что газеты, журналы, литературные организации почтут память этого литературного мученика, первого из русских пигилистов, пробившего путь для антидворянской беллетристики шестидесятых годов, но ожидания оказались напрасны. Никто не переиздал его книг, никто не заинтересовался ни его жизнью, ни его сочинениями, в газетах, насколько мы могли проследить, не появилось даже краткой заметки о сорокалети со дня его смерти. Так велико было пренебрежение к его памяти, что когда в прошлом году, в ноябре, мы вознамерились прочитать о нем лекцию в ленинградском «Доме Печати», эту лекцию пришлось отменить из-за отсутствия слушателей!

Между тем он—один из самых близких нашей эпохе писателей шестидесятых годов.

¹⁾ Эти строки я заимствую из моей статьи о Николае Успенском, напечатанной в «Звезде» 1929, 11.

Литература и искусство

1. АРК. ГЛАГОЛЕВ. Трагедия одного энтузиаста.— 2. Д. АРАНОВИЧ. Культурная революция, искусство и промышленность.

1. ТРАГЕДИЯ ОДНОГО ЭНТУЗИАСТА

(О романе Ивана Макарова «Стальные ребра»¹⁾)

Арк. Глаголев

Иван Макаров литературно еще весьма молод. «Стальные ребра» не свободны от обычных грехов литературной юности, напр., хотя бы по части композиции. Но и в этой области литературного мастерства у Макарова имеется ряд положительных качеств. Роман в целом свободен от примитивного описательства, столь часто встречающегося у ряда крестьянских писателей из молодежи. Ряд зарисовок человеческих фигур приобретает характер довольно ярких образов. Действие в романе, несмотря на композиционные дефекты, местами развивается напряженно. Отвлекаясь от этой технологической оценки, нужно сказать, что роман обнаруживает в Макарове не только задатки технико-писательского дарования; его роман и в смысле «содержательном» достаточно серьезен. От него веет большой искренностью, в нем имеется мысль, в нем выражена определенная психоидеология. Его поучительно детально проанализировать.

Дата написания романа—1927—28 гг., и фактический материал «Стальных ребер» во многом не отстает от этой даты, хотя и является своеобразно претворенным в произведении. Классовое

расслоение деревни, стремление передовых крестьянских слоев к общественному переустройству своей жизни, процесс ломки старой мужицкой мелкособственнической индивидуалистической психологии—основы «содержания» романа.¹

Центральным психоидеологическим и композиционным стержнем романа является образ главного действующего лица Филиппа Гуртова. В его лице мы имеем одного из передовых представителей тех крестьянских слоев, которые стоят на грани между середняком и бедняком, ближе к первому.

Вернувшись из германского плена, Филипп Гуртов встает во главе большевиков родной деревни—«степного села Анюткина». В момент действия, развертывающегося в «Стальных ребрах», мы застаем его секретарем сельской ячейки. Еще в плену он сильно ощутил бедность и мизерность родимой крестьянской жизни. Он был глубоко прельщен «залитой электрическим светом немецкой деревней». С этой поры он навсегда затаил в себе желание «брызнуть» такими же «яркими огнями» в «слепую анюткинскую темь». Пролетарская революция и рожденное ею великое социальное строительство укрепили и оживили эту потаенную мечту Гуртова о лучшей жизни, об электрических огнях. Он становится

¹⁾ Ив. Макаров. «Стальные ребра». Роман. Всеросс. о-во крестьянских писателей. Современная крестьянская литература. «Моск. Рабочий». М. 1930. Стр. 336. Ц. 2 р. 40к.

горячим энтузиастом строительства, он весь горит нетерпеливым желанием повернуть по-иному старый «хозяйственный порядок». И он «не был пустословом-мечтателем». Он успешно ремонтирует и устанавливает старую молотилку, «чудовищную американскую машину», наследство бывшего анюткинского помещика. «Успех с молотилкой окончательно утвердил помыслы Филиппа в возможности быстрой перестройки села». Воля к строительству растет у Гуртова буквально не по дням, а по часам, он «хочет бежать, скакать гигантскими прыжками к той общечеловеческой радости, когда даже самый грохот машин будет музыкальным и труд будет развлечением, а не окаянным ярмом». Преодолевая целый ряд препятствий, косность односельчан, сопротивление кулака и подкулачников, личный разлад с братом и другие объективные и субъективные преграды, Филипп осуществляет свои дальнейшие строительные проекты, строит общественную мельницу и закладывает электрическую станцию. Его давнишняя мечта была реализована, — электричество «огромными светлыми мечами», наконец, «вонзилось» в «темное небо» Анюткина. Однако, одновременно наступает и жизненный конец Филиппа Гуртова, он оказывается внутренне совершенно испеленным. Смерть Гуртова символизирует его внутренний разрыв. Новое Анюткино, электрифицированное и общественно преображенное, предстает перед Филиппом внутренне ему чуждым. Его индивидуальная мечта, реализовавшись и ставши достоянием всех, превращается в нечто ему чуждое, рождает для Гуртова какую-то новую, стороннюю ему силу. «Совершив все, что мог; и признав, что на его место в жизнь пришла какая-то иная сила, таящаяся во многих, он чувствовал себя уже посторонним, которому осталось сделать еще один-два шага. Он не жалел, не плакал и не вспоминал: его душевное состояние чем-то напоминало равнину, опустошенную страшным ураганом». «Творение» оказывается чуждым «творцу». Не радость строительной, творческой победы, а

уход от завоеванного был финальным завершением энтузиастического горения Гуртова.

Конечная судьба Гуртова предстает перед нами глубоко трагической.

И этот внутренний трагизм последнего этапа жизненного пути центрального героя романа Макарова далеко не случаен. Он вытекает из всей психологической идеологии Гуртова.

Филиппа Гуртова испепелил его индивидуализм. Его энтузиазм был во многом энтузиазмом одиночки, самовольно, неправомочно внутренне отделившимся от коллектива. Свои мечты, свои строительные преобразовательные проекты, по природе своей явившиеся глубоко коллективистическими, глубоко общественными, Гуртов рассматривал как свое единоличное творение. Свободный в значительной степени от физиологического, материально-экономического мужицкого частного-собственнического индивидуализма, Гуртов далеко не изжил индивидуалистических инстинктов в плане своего общественного поведения, в методах осуществления своих проектов, во взглядах на природу их. Отказываясь от принципа частной собственности в области материальных ценностей, утверждая таковой отказ в сфере морально-семейных отношений (Филипп, несмотря на ряд колебаний, все же осознает себя полноправным в своей любви и браке с Марьей, бывшей женой его «закадычного друга» и товарища по ячейке и строительству Федота, ушедшей от последнего против его желания к Гуртову), Филипп хочет сохранить какой-то «собственнический» «патент» на свои проекты, на свой энтузиазм, на свою строительную инициативу. Чем интенсивнее реализуется мечта Филиппа, чем сильнее его творчество делается достоянием всех, тем глубже в Филиппе вызревает большой внутренний конфликт, внутренняя драма.

«... Почему, когда все шарахались от его проекта, он был полон радостного устремления? А теперь, когда активность мужиков все более и более теснит его, — ах, как он хотел этой активности, — он вдруг стал испытывать

тоску... Ни за что в мире он не хотел допустить мысли, что тронутые с векового застоя анюткинцы и без него выполняют его проект. Он был непоколебимо уверен, что без него, без коленника, — конец всему делу». Мужичий индивидуализм, мужик-кореник, преодолеваемый сознанием Филиппа, еще крепко держится в его подсознании, настолько крепко, что, напр., общественную мельницу, созданную его инициативой, он иногда готов рассматривать как свою личную собственность. «Ведь если уйду, то все сразу заглохнет. Или мельницу возьму назад, Андрона (кулака. Арк. Г.) раздавлю и сам... Имею полное право... брату отдам. Сам, будто, и ни при чем. Мол, Васька свою часть требует...» Правда, «Филипп тут же упрекнул себя в том, что у него преступные мысли», но все же «чудовищные вопросы возникали один за другим помимо его воли».

Рост «душевных противоречий и терзаний» Филиппа, рост его внутреннего отдаления от передового деревенского коллектива прямо пропорционален росту строительной активности этого коллектива. Светлая, торжествующая радость первых этапов переустройства анюткинской жизни, когда Гуртов был «главнокомандующим», сменяется мрачным роковым сознанием полной потери этой «водительской» роли при открытии электростанции, осуществленном всем коллективом.

«Ведь они без меня обходятся, — горько усмехнулся Филипп. Вдруг сразу все его существо наполнилось отчаянным протестом против этого поступка Федота. Ему казалось, что Панюшкин обокрал его.

Этого не может быть... как так — без меня? Не может быть — без меня. Никто, кроме меня, не должен руководить постройкой. Я начал, я ночи не спал, терзался над синей тетрадью. Во мне созревали сладкие думы о ярких огнях в родном Анюткине».

С этой ярко-индивидуалистической идеологией Гуртов сходит с жизненной арены и со страниц романа Макарова.

Филипп не сумел слить себя с коллективом, не смог понять, что его меч-

та не принадлежит только ему одному, что его никто не мог «обокрасть», что его энтузиазм, его творческие дарования он не мог рассматривать только как свою частную собственность.

В этой развернутой перед нашими глазами внутренней трагедии Гуртова — основной смысл романа «Стальные ребра». Произведение Ивана Макарова наглядно демонстрирует, что вне тесного слияния с коллективом невозможно рождение нового человека, что одного личного энтузиазма, одной личной воли к строительству новой жизни недостаточно, нужно уметь сочетать ее с волей всего творящего коллектива. Творчество новой жизни должно быть свободно не только от личной материальной корысти, но и от духовного эгоизма.

Ив. Макаров обрисовывает жизненные пути своего главного героя чрезвычайно обстоятельно, с большой психологической углубленностью, он выразительно обрисовал его отношения к различным слоям обитателей Анюткина, художественно цельно вылепляя тот образ, общий характер которого мы выше схематически только что предположили.

Однако, в целях наиболее полного социологического осмысления романа Ивана Макарова необходимо поставить вопрос о том отношении, в каком психологическая центральная образная находка к общей психологической, организующей роман. В целях выяснения значения романа и, следовательно, в известной степени и творчества Ивана Макарова вообще (поскольку «Стальные ребра» в данный момент являются главной вещью Макарова) в нашей литературной современности необходимо поставить вопрос о характере авторской «призмы», сквозь которую подан, преломлен образ Гуртова, о характере тех дополнительных образов, с помощью которых наш романист корректирует психологическую своего главного героя, с помощью которых он дополняет свое повествование о современной деревенской действительности. Словом, достаточно ли объективно наш романист выявляет основные тенденции развития последней и, следовательно,

достаточно ли автор художественно объективен по отношению к центральному герою «Стальных ребер» или же требуются дополнительные коррективы со стороны читателя?

Автор, несомненно, в значительной степени относится к своему герою критически. Он угадывает его социальную природу, он понимает социальные корни его индивидуализма. Филипп Гуртов «никогда не жил в коллективе, где отношения одного к другому были бы гармоничны. Мужики, по-волчьему рычащие, когда посторонний приближается к их гнезду, беспшашные отхожники, учрежденцы в уездном городе, казавшиеся ему узкими чиновниками, — вот круг, в который попал он». Однако, автор в этой социальной характеристике забывает об одной могучей общественной силе, могшей весьма благотворно повлиять на Гуртова. Автор здесь как бы забывает, что Гуртов был партиец.

Партия в лице, напр., укомпарта, как повествует Макаров, была достаточно осведомлена о проектах Гуртова и об индивидуалистических тенденциях в его строительной «методологии» (в укомпарт посылались жалобы на индивидуалистические замашки Гуртова). Тем не менее — по Макарову — и укомпарт и анюткинская ячейка проявляют себя по отношению к Гуртову пассивно, неясно, неопределенно. Представитель укомпарта Ежов только «снижительно» улыбался и «со степенью большого комиссара» полулениво отмахивался от «грешков» Гуртова, от его «пустой затеи... заниматься игрушками... в проекты». Посланный укомпартом в Анюткино для инструктирования Куркин, несомненно, — «паренек дельный», но никакого активного воздействия на Гуртова, несмотря на многочисленные беседы с последним, оказать не смог. Этот милый юноша, собирающийся стать писателем, предстает перед нами весьма пассивным. Эта неопределенность в изображении отношений партии к Гуртову — суще-

ственный идеологический минус романа. В действительности партия или стремится перевоспитать, активно «лечить» Гуртовых или отсекает от себя, а не топчется на месте, как это имеет место в романе Макарова.

Далее. Чрезвычайно детально изображая Гуртова, весьма подробно повествуя о кулаке Андроне, о подкулачнике Егозе (образ этого последнего, — подлинного «егозы», хитрого, вертлявого мужика-собственника, всюду старающегося препятствовать строительству новой деревни, — получился у Макарова чрезвычайно художественно-выпуклым, живым и выразительным) и о других, автор уделяет значительно меньшее художественное внимание передовикам Анюткина. Образ истинного строителя, подлинного выразителя коллектива, партийца Федота, проходит по страницам романа весьма бледной тенью и не является субъектом художественного изображения Макарова.

Таким образом, приходится констатировать, что образ Филиппа Гуртова, его психоидеология в романе художественно корректируется не с надлежщей принципиальной четкостью и определенностью. Художественное противопоставление Гуртова в романе бледно. Это заставляет признать нас образ Филиппа Гуртова не только объектом изображения Макарова, но и некоей художественной силой, активно организующей психоидеологию романа в его целом, что принуждает читателя отнестись к «Стальным ребрам» критически.

«Стальные ребра» — это не только повесть о середняке, но в значительной степени и продукт творчества середняцкой, хотя и весьма передовой, крестьянской психоидеологии.

Трагедия энтузиаста индивидуалиста в «Стальных ребрах» в полной мере художественно не преодолена. Художественного показа того, как конкретно могла быть преодолена трагедия Гуртова, в романе не существует.

2. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИСКУССТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Д. Аранович

«Рост благосостояния и связанного с ним культурного уровня рабочего класса и массы среднего крестьянства вызывает потребность в таких сортах тканей, которые раньше не потреблялись широкими массами трудящихся, т. к. были рассчитаны на удовлетворение только ничтожной кучки привилегированных эксплуататоров».

«Правда» 21 сент. 1927 г. Передовая.

«Наша одежда, жилище, квартирная обстановка — все могло бы быть гораздо проще и вместе с тем красивее. Это происходит потому, что все предметы в прошлом изготовлялись определенным образом, и нынешние фабриканты идут погорелой дорогой». Генри Форд. «Моя жизнь, мои достижения», стр. 24.

Лозунг «Искусство в массы» выходит далеко за пределы широкого привлечения нового зрителя в музеи и выставки. Как бы ни развивались просветительные экскурсии, они будут захватывать как в отношении количественном, так и временном, лишь незначительную часть трудящихся. Для того, чтобы искусство приняло активное участие в культурной революции, оно должно расширить свою общественную функцию. Помимо пассивного объекта созерцания в музее по определенным дням и часам «от... и до...», искусство должно выйти к самой жизни, проникнуть в повседневный быт, в массовые предметы каждодневного личного потребления, в рядовую общественную, рабочую и жилую среду. Но может ли быть осуществлено подобное внедрение искусства в быт? Будет ли это искусство, связанное с «прозаическими» предметами повседневности, «подлинным» искусством? Имеются ли уже для художественного оформления массового быта соответствующие технические и исторические предпосылки? А если общие предпосылки имеются налицо, то в состоянии ли все-таки с ними мы справиться при наших ограниченных средствах и возможностях? Вот те вопросы, которые возникают при постановке искусства в плане проблемы культурной революции, и сильный ответ на которые составляет содержание настоящей статьи.

Прежде всего постараемся ответить на первый вопрос. Возможно ли вообще внедрение искусства в быт? Исто-

рия показывает, что это возможно. Быт господствующих классов эпохи художественного расцвета всегда отличался тем, что вся его обстановка вплоть до предметов личного потребления отличалась более или менее высоким качеством формы. В то же время оттого, что художники работали над тканями, изготовляли мебель или другие предметы повседневного потребления, они своего художественного достоинства не роняли... Яков Беллини (первая половина XV века) и Антонио Поллаюло (Флоренция, вторая половина XV века) давали эскизы для тканей. Боттичелли расписывал лари. Веррокки изготовлял знамена для турниров. В эпоху Кольбера ковры изготовлялись для французского двора под руководством выдающегося живописца Лебрена. Французский мебельщик Буль создал ряд произведений из черного дерева, меди и инкрустаций из олова, которые ценятся не менее «чистых» картин крупнейших мастеров живописи. Приведенные факты показывают, что о принципиальной невозможности внедрения искусства в быт речи быть не может. Больше того, приведенные факты говорят, что от приложения художественного творчества к предмету, не лишенному технической полезности, его эстетическая ценность несколько не уменьшается. Специфический признак художественного произведения, отличающий его от нехудожественных, заключается не в его непременно бесполезности (вульгаризованное понимание Канта), а в наличии в нем на-

меренной формы и в качественном уровне этой формы. Отсюда вывод: искусство высокого качества, внедренное в самые «прозаические» предметы повседневности, все же остается подлинным искусством¹⁾. Несравненно сложнее — дать краткую аргументацию ответа по второму вопросу. Возникли ли для художественного оформления массового быта соответствующие исторические и технические предпосылки? Социологические наблюдения над основными тенденциями развития современного искусства показывают, что эти предпосылки налицо. А если такие возможности исторически налицо, то в состоянии ли мы их использовать при наших материальных ресурсах? При чем последний вопрос имеет и принципиальное значение, ибо он вплотную соприкасается с проблемой размножения художественного произведения в смысле качественных последствий подобного раз-

1) См. ст. Маца в «Ежег. Ком. Ак. секции литературы и искусства». Л. 1929.

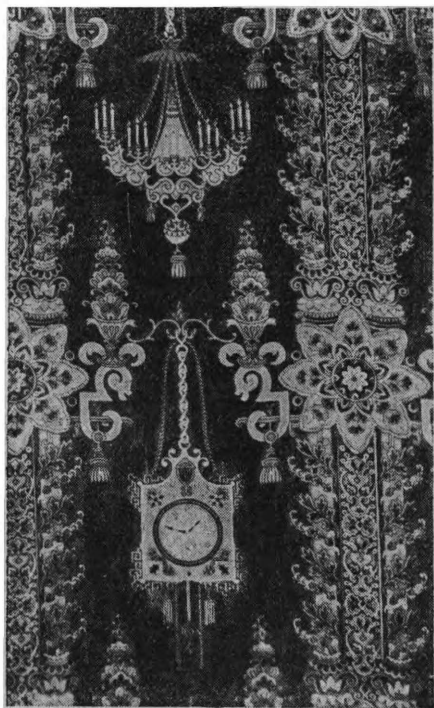
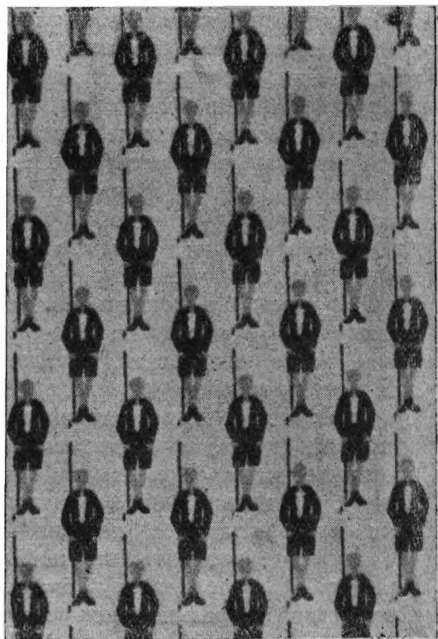


Рисунок бумажной ткани, выпускаемой для восточных народов с девяностых годов XIX ст. до настоящего дня (Ивановский трест).



Советская тематика в носильной ткани — пионер со знаменем. Рисунок Ивановского треста (1929 г.)

множения. Дело в том, что до сих пор жаждущие массового искусства вообще и в частности массового искусства в быту исходят из скептического утверждения неповторимости творческого акта и, следовательно, художественного произведения. Отсюда их приятие кустарного искусства и неприятие искусства репродукционного, представляющего собой не оригинал, а повторение его, воспроизведение машинным способом. Нужно признаться, что пока у нас копия действительно почти всегда заметно уступает оригиналу. Тем не менее, делаемые отсюда выводы неправильны, так как они лишены всякой исторической перспективы.

Независимо от всяких других возможных точек зрения, все развитие искусства последнего столетия следует характеризовать, как период, ведущий к демократизации его именно посредством размножения, подобно тому как четыреста пятьдесят лет тому назад началась радикальнейшая демократизация искусства (параллельно с новой идеологией!) посредством миллионов станков всей промышленности, изготавливающей предметы личного по-

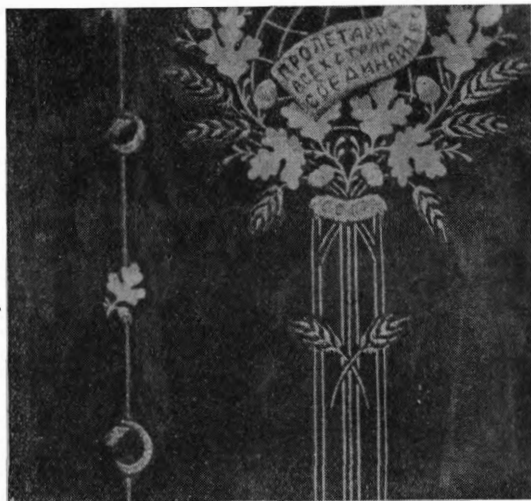
требления. В результате все возрастающей массовой потребности в размноженных художественных произведениях самых разнообразных видов, искусство на девять десятых переселяется из индивидуальных мастерских на фабрики и заводы. А с конца XIX в. искусство впервые в Западной Европе (но не впервые вообще: керамика в Греции!) выступает уже как своеобразная крупная промышленность. Нужно быть близоруким рутинером, чтобы только оплакивать, сожалеть о том, как много было утеряно высоких традиций и мастерства в связи с разрушением кустарной художественной промышленности. При чем не только потому, что наивно заниматься попытками остановить колесо истории. Просто нужно учитывать, что и формы перехода от кустарного к промышленному способу размножения художественных произведений не лишены своеобразной диалектики развития. И здесь временное состояние нельзя рассматривать, как конечное. Тот относительный упадок художественной культуры, который нельзя не констатировать в результате замены кустарной, ручной техники машинным способом производства, следует рассматривать только как стадию. Подобное временное состояние безусловно и вполне исправимо. Для этого необходимо лишь соответствующее уменьшение в постановке и разрешении очередных практических проблем размножения художественных произведений. Главнейшая из них—рациональное художественное проектирование в отраслях, производящих предметы личного потребления. Иначе говоря, культурная революция в быту немыслима без его нового оформления. Но внешний быт оформляется не намеренным украшательством, а невольно, всем тем, что нас окружает, что мы потребляем. Последнее же производится нашей промышленностью. И если мы хотим поставить вопрос о культурной революции в быту практически, мы должны привлечь на помощь всю нашу промышленность предметов личного потребления. Вот почему вопрос о художественном проектировании в промышленности предметов потребления непо-

средственно связан с последним из поставленных выше вопросов: в состоянии ли мы осуществить это проектирование при современном состоянии нашей промышленности и при тех материальных ресурсах, которыми мы располагаем в настоящее время? Вопрос этот очень сложен и здесь нужно быть очень осторожным, так как наша промышленность и без культурных задач имеет немало трудностей развития. Нужно учитывать, что наша промышленность предметов личного потребления сейчас не может «благотворительствовать», хотя бы по мотивам столь высоким, как культурная революция. В соответствии с этим мы и постараемся дать ответ на последний и наиболее существенный для нас вопрос.

Здесь прежде всего нам необходимо констатировать, что наша промышленность к счастью уже изжила тот период первоначального восстановления, когда совершенно не приходилось считаться с качеством продукции. Независимо от ряда других моментов, современное состояние развития нашей промышленности может быть характеризовано переходом в новую стадию, отличающуюся своей специфически качественной тенденцией. Последнее объясняется тем, что состояние первоначального возрождения, период восстановления количественного «во что бы то ни стало» в самом основном закончен. Приближение вплотную к вопросам качества обозначает собой вторичную, высшую ступень воссоздания народного хозяйства. Правда, количественное восстановление еще далеко не доведено до предела. Но это обозначает только, что диалектика развития не знает форм абсолютного завершения и обособления процессов. Обе стадии развития сейчас перекрещиваются, но именно проблема качества есть все-таки очередная проблема развития промышленности сегодняшнего дня.

Не приходится говорить, что в каждой области производства эта проблема имеет иную степень остроты. Кроме того, в каждой области она должна решаться по-своему, применительно к специфическим условиям дан-

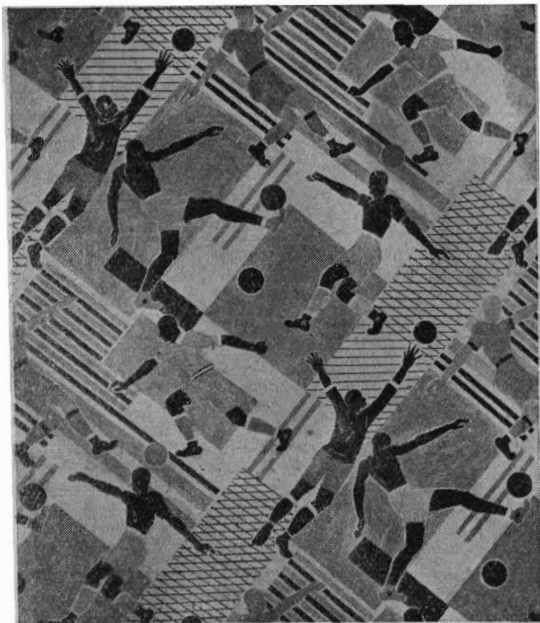
ного вида промышленности. Но есть и то же время целый ряд отраслей промышленности, где проблема качества имеет сейчас особую остроту, настолько, что развитие данных областей промышленности в связи с этим возможно только по определенному направлению. Мы имеем в виду все отрасли производства предметов личного потребления, промышленность текстильную, швейную, полиграфическую, силикатную, металлообрабатывающую (арматура), деревообделочную, также частично резиновую, по обработке кожи и др. Эти отрасли, рассчитанные в основном на производство предметов потребления, одновременно с проблемой качества упираются сейчас в выражающую его в данном случае проблему формы. Ибо ткань высокого качества должна иметь не только надлежащую прочность и плотность, но и соответствующий каким-то вкусам рисунок. Костюм должен соответствовать вкусу времени и современному социальному назначению. Посуда



Обои. Советские эмблемы, искусственно связанные со старым мещанским рисунком (Мосполиграф 1929/30 г.).

должна иметь соответствующую форму и расцветку. Книга, плакат, листовка должны быть не только удобочитаемы, но и внешне приглядны. Двери, окна, мебель, арматура в возводимых зданиях должны соответствовать стилю данной архитектуры и т. д.

В свое время эта задача формы, которая существовала всегда, как то решалась самым фактом существования ручного труда. В силу специфических особенностей последнего, усилиями кустарей, с помощью их непосредственного, разнообразного и почти универсального творчества целый ряд утилитарнейших предметов совмещал свою техническую полезность с художественной выразительностью. Частично кустарями наша промышленность пользуется и сейчас. Но в основном с тех пор, как производство предметов широкого потребления индустриализовано, положение резко изменилось. Весь производственный процесс слишком дифференцировался. При чем машинное усовершенствование выразилось до сих пор у нас только в рационализации механического выделенным, момент творческого



Ф. Антонов. Эскиз новых обоев для рабочего клуба.

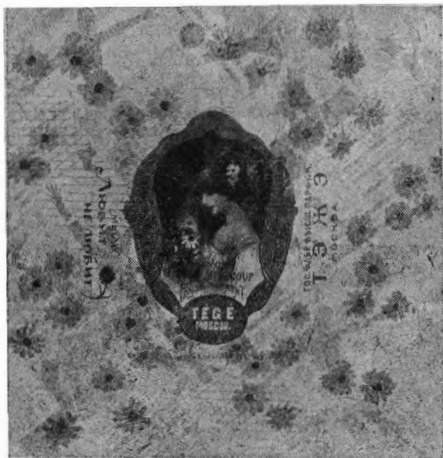


Современная упаковка Моссельпрома, подражающая грубому лубку и решенная в гамме трехцветного царского флага.

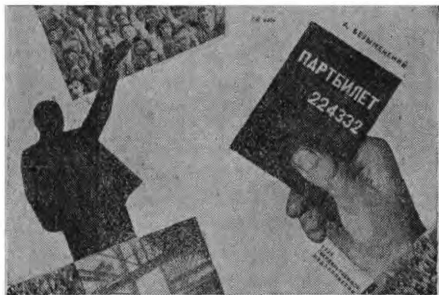
проектирования у нас сильно отстал. Но уже сейчас промышленность предметов потребления сильно обнаруживает необходимость наряду с инженером-организатором производства в художнике-оформителе, в авторе эскизов для механического, машинного их воспроизведения в массовом масштабе. Ибо общеизвестно, что потребитель всегда довольно настойчиво подчеркивал значение для него качества в перечисленных отраслях промышленности, не только как добротности, но и как формы. Взять хотя бы, например, требования, предъявляемые различными районами к крестьянскому ситцу и т. п. Это прекрасно учитывали до революции собственники соответствующих производств. Так, до войны одним из главных оружий конкуренции наиболее солидных фирм в целом ряде отраслей промышленности личного потребления было не улучшение, но абсолютное снижение цен, а осязable улучшение качества в смысле оформления (а что дороже, то миле). Особенно утвердился этот прием в наиболее развитой у нас текстильной промышленности. В итоге каждый из главных видов ткани оказался настолько связанным с какой-нибудь определенной фирмой, доведенной его оформлением до какой-то степени совершенства, что за этой фирмой создавалось нечто близкое к монополии. А так как конкуренция на довоенном рынке была неслабой, то это и обеспечивало (для убедительности за собой потребителя) на все время поддержание и в какой-то мере совершенствование качества оформления продукции. В текстильной промышленности последнее конкретно выразилось в том, что неизменно огромная

роль придавалась рисунку, вследствие чего очень почтенное место в производстве занимали колористы и художники. В качестве любопытной детали, иллюстрирующей бывшее значение колористов, достаточно указать, что при общей нищенской оплате рабочей силы в целом колористы получали на текстильных предприятиях по 12.000 руб. и больше в год.

Еще более наглядно выступает значение качества, как формы, во всей довоенной и современной промышленности предметов потребления Запада (презловутая «заграничная вещь»). Тот факт, что художественная промышленность Франции, Германии и других стран с каждым годом играет все большую роль в общем хозяйстве страны, вовсе не свидетельствует о возрастающем распространении на западе дорогостоящих художественных изделий. Послевоенная экономика Европы, приведшая к массовому обнищанию средних и низших классов населения, как раз показывает обратное. В парижских «Салонах» послевоенных лет покупки исчисляются единицами на тысячи, что же касается абсолютного и относительного возрастания на Западе размеров художественной промышленности, то его следует объяснить предпосылками более глубокого историко-социального и историко-экономического порядка. Как показы-



«Любит — не любит» — типичный образец упаковки ТЭЖЭ.



Г. Клуцис. Книжная обложка.

Тем не менее, именно сейчас, в связи с общим вопросом о качестве, здесь многое подлежит кардинальному пересмотру и улучшению, так как при всей скромности наших орудий и средств производства в области качества мы должны и в состоянии сделать несравненно больше, нежели делаем до сих пор. Что это так, можно убедиться прежде всего из самого факта очень неравномерного уровня качества в различных отраслях нашей промышленности предметов потребления, несмотря на одни и те же объективные условия.

Из ряда отраслей промышленности предметов потребления наиболее высоко стоит у нас полиграфическая промышленность. Как показывает целый ряд наших международных выступлений и в частности состоявшаяся в 1927 г. в Москве Всесоюзная полиграфическая выставка, именно на данном участке, главным образом в области книги и частично в других областях (агитационный киноплакат), мы безусловно стоим не только на общеевропейском уровне, но и имеем свои самостоятельные ценные достижения. Последнее объясняется прежде всего тем, что три рычага современной полиграфической промышленности — художники, издательства, типографии — находятся в состоянии должного равновесия и распределения функций. При чем даже при самом беглом анализе конкретных причин качественного благополучия нашей полиграфической промышленности первенствующее значение придется признать за первым звеном «трехстороннего рычага», за художниками — авторами эскизов и проектов, за художественным проектированием

ем полиграфической промышленности. Именно высокоразвитое за годы революции художественное проектирование у нас, например, обложки для массовой книги резко выделяет последнюю из общей массы изданий довоенного времени. Если того же нельзя сказать и про всю нашу полиграфическую промышленность в целом (напр., упаковка)¹⁾, то высокое качество нашей детской иллюстрированной книги опять-таки самым непосредственным образом связано с участием в данной отрасли книги наших крупнейших графиков и рисовальщиков. С некоторыми вариациями то же самое можно сказать относительно лучшей части нашего агитационного киноплаката и прочей продукции полиграфии. Правда, можно возразить, что проекты художников сами по себе еще не создают качества промышленности, что решающее значение в смысле определения качества остается за материалом и техникой выполнения, при чем последняя определяется квалификацией рабочей силы и техническим уровнем производства. Практика, однако, показывает иное: что техника — только средство и что квалификация вырабатывается у рабочих лишь при наличии стимула в виде стремления подняться до уровня хорошего оригинала художественного проектирования.

Совершенно иную картину мы наблюдаем, к сожалению, в области текстильной промышленности. Заметное снижение качества по сравнению с довоен-

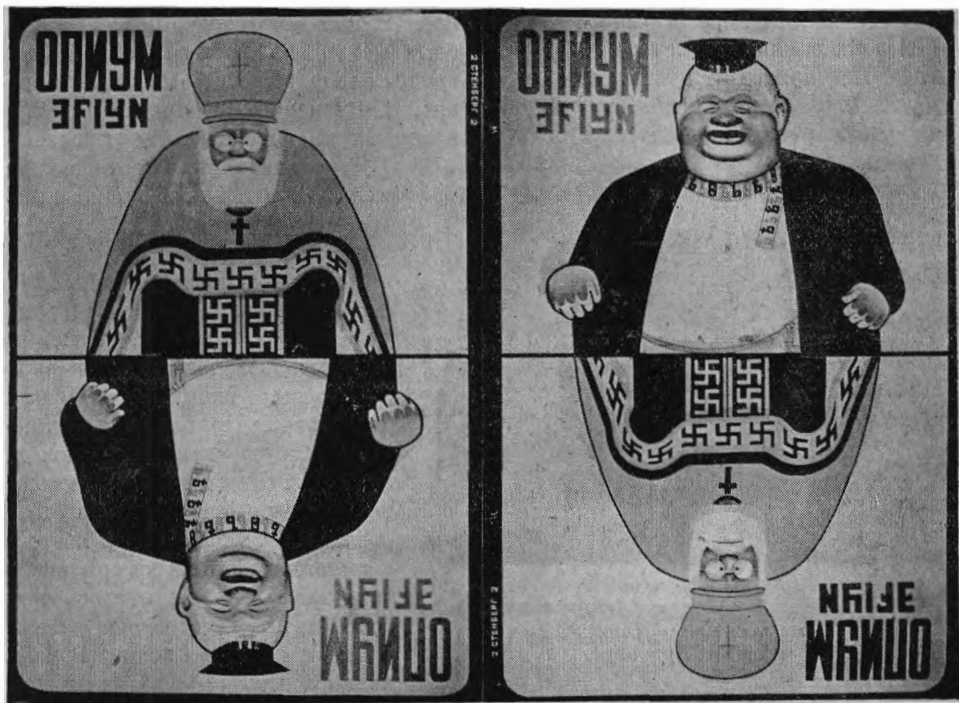


С. Телингатер. Книжная обложка.

1) См. ст. А. Михайлова «О буржуазных и мелкобуржуазных тенденциях в производстве». «На Литерат. Посту» № 3, 1929 г.

ным здесь сказывается не только в меньшей добротности товара из-за недостатка сырья. На ряду с уменьшением плотности ткани на качестве современных текстильных изделий сильно сказывается и очень заметное оскудение в смысле рисунка, расцветки и окрашивания. Именно этим обстоятельством следует объяснить тот факт, что у нас уживаются рядом такие противоречивые явления в области текстиль-

заимствованные образцы лишь приспособлялись с большими или меньшими изменениями к местным техническим условиям производства в особых «секретных», где тайна мастерства намеренно предавалась всякий раз забвению под угрозой конкуренции со стороны. Что же касается всей «низовой» массы предприятий, то они довольствовались весьма элементарными рисунками художников-само-



2 Стенберг.

Кино-плакат.

ной промышленности, как затоваривание некоторых видов тканей при еще не изжитом товарном голоде. Справедливость требует, впрочем, отметить, что слабое художественное проектирование у нас продукции текстильной промышленности имеет свои объективные основания в прошлом. Дело в том, что до войны наши крупнейшие текстильные предприятия подавляющее большинство рисунков ткани черпали с Запада, где и сейчас существуют специальные фирмы по распространению соответствующих образцов. При таких условиях свое собственное художественное проектирование выражалось лишь в том, что

учек. Подобными рисунками пользуются многие предприятия и сейчас, но их нельзя никак признать удовлетворительными. Необходимость улучшения качества рисунков тканей у нас создалась еще в первые годы революции. В 1923 г., когда впервые были пущены крупнейшие предприятия, 1-я ситценабивная фабрика (б. Циндель) даже обратилась через «Правду» со своеобразным призывом к художникам итти в текстильное производство. К сожалению, не по вине широко откликнувшихся художников результаты этого призыва оказались довольно скромными. Только на 1-ой ситценабивной

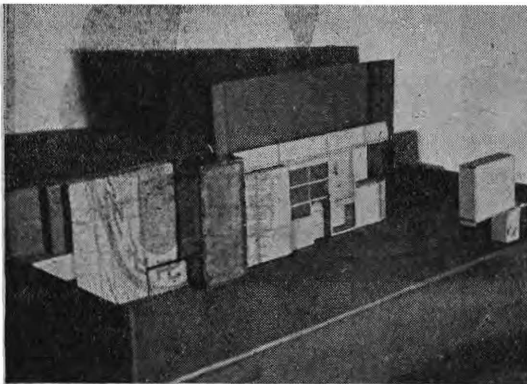
фабрике «Нобу-Иин» возможность работать и в текстильной и в ковровой промышленности. Но и их деятельность оказалась не удовлетворительной. Дело в том, что особенно охотно шли на производство только левые художники. Из них только «машинка» стала своеобразным типовым элементом. В пылу своего фантастического увлечения индустриальным эти художники не падали лучших образцов для рисунков тканей, как маховики, решетки, рычаги, колеса, перебегающие рельсы и т. п. сомнительные объекты орнамента. Не приходится говорить, что при всей своей талантливости подобная односторонняя орнаментика не мо-

стильными возможностями. Наконец, художник-текстильщик должен уметь приспособить к своему производству эскизы всякого яркого живописца, графика. Это тем более важно, что тут раскрываются положительно безграничные возможности, — возможности, которые нами, к стати, совершенно не использованы. А что могло бы быть лучше для деревенских ситцев, платков, нежели так и не использованные эскизы Б. Кустодиева! Сколько могли бы сделать для украшения повседневного быта не только Востока, но и наших центральных городов, эскизы М. Сарьяна, П. Кузнецова, К. Петрова-Водкина и многих других! За годы революции Б. Кустодиев так блестяще проявил себя в нашей прикладной графике — в плакате, обложке, календарной стенке, упаковке. А ведь он обращался неоднократно с предложением дать эскизы для деревенских платков. Только ни разу предложения его не были достойны внимания. «Время, мол, такое, что плюются, но все равно берут» — как выразился по этому поводу один из руководителей соответствующего треста.

Заметно лучше сейчас обстоит с художественным оформлением трикотажа. Однако, и здесь наиболее ценные и разнообразные рисунки дают кооперативные предприятия (б. Альтман и др.), а не государственные фабрики.

Совсем слабо обстоит с художественным оформлением камвольных тканей. Чуть ли не единственной попыткой оживления ткацкого рисунка следует здесь считать работы А. Ментеля на Ивановских фабриках Иваново-Вознесенской губ. Крайне мало сделано в смысле художественного оформления шелка. То, что делают фабрика «Красная Роза» и другие (напр., на Кавказе), не удовлетворяет, за единичными исключениями, ни с какой стороны. Хотя этот вид ткани вполне способен расходу по художественному оформлению окупить и настойчиво его требует.

Нужно ли говорить, что такое положение ненормально. Особенное значение оно получает сейчас, когда начала



Эль Лисицкий. Модель оборудования одного дома-коммуны Наркомфина на Новинском бульваре.

гла полностью соответствовать весьма разнообразному вкусу массового потребителя. Несмотря на основательную их переработку, эскизы левых художников оказались настолько сомнительным способом удовлетворения художественных запросов потребителя, что при первом удобном случае даже наше упомянутое наиболее культурное предприятие отказалось вовсе от художников. Тут-то и была совершена основная ошибка художественного проектирования — отказ текстильной промышленности (для массовых тканей!) левых эскизов. Это не доказывает ненужности художников вообще. Ибо помимо спорных «левых» у нас имеется целый ряд художников с явно выраженными тек-

осуществляться выработка тканей по немногочисленным стандартным образцам. Ибо сравнительная немногочисленность стандартных образцов, рассчитанная в то же время на весьма разнообразные виды потребления и потребителей должна и может безболезненно компенсироваться лишь разнообразием рисунков и совершенством окрашивания.

Еще более печальная картина наблюдается в области художественного оформления изделий силикатной промышленности. Как это ни странно, наибольшую активность проявляли за годы революции фарфоровые заводы, чьи изделия наименее доступны. Общеизвестна большая и интересная работа по повышению качества продукции, проделанная Гос. фарфоровым заводом им. Ломоносова. Достаточно сказать, что за последнее десятилетие завод самым напряженным образом пережил три основных стиливых периода, соответствующих основным этапам развития нашего современного искусства. И все же, к сожалению, социальное значение всех высококачественных керамических изделий Гос. фарф. завода, которые с таким шумным заслуженным успехом показывались на иностранных наших выставках, весьма ограничено. Ведь нужно же, наконец, сознаться, что все эти изделия, по достоинству премированные, изготавливались и изготавливаются специально для показа. Как очень ценные вещи, они долго не могли получить своего потребителя даже за границей. Рафинированные и самодовлеющие сгустки мастерства, они за единичными исключениями в то же время не имели для нашей массовой керамической промышленности и значения лабораторного опыта. «Вечные» экспонаты и недостижимые образцы — таково противоречивое значение изделий революционных лет нашего выдающегося Гос. фарф. завода. Очень высокая художественная культура наверху, чахнущая без потребителя, и отсутствие всякой художественной культуры внизу, в массовых производствах, — таково современное состояние художественного проектирования в на-

шей керамической промышленности. В то время как изделия показательного завода еще с момента начала работы сознательно предназначаются для музеев, декорировка изделий основных заводов промышленности (Дулевского, Дмитровского, Мальцевских, Новтресторга за последние годы и др.) пребывает на уровне «довоенных» голубков, незабудок, сирени и т. п. При чем эти старые, поношенные десятилетиями эмблемы «красоты» не только стабилизируют купеческо-мещанские вкусы прошлого, — они способствуют замедлению обращения товара настолько, что последнее нередко принимает характер своеобразного затоваривания при отсутствии насыщения. Последнее тем более ненормально, что в ведении ВСНХ имеются два специальных института, предназначенных главным образом для повышения качества силикатной промышленности вообще и качества формы в частности. Опыт ряда лет показывает, однако, что у производственных организаций эти институты заслуженно не имеют должного авторитета. Тут необходимы какие-то реформы. В частности следует учесть, что для художественного проектирования керамической промышленности огромную роль может сыграть именно Гос. фарф. завод, если использовать его, наконец, как лабораторию для образцов, быть может, даже своеобразных художественных стандартов, рассчитанных на размножение на наших массовых предприятиях.

При несравненно меньшем спросе и значительно большей механизации производства много лучше у нас обстоит со стеклянными изделиями. Тем не менее, существующее положение вещей способно нас удовлетворить лишь временно, впредь до момента более ощутительного возрастания потребностей и требований.

Совершенно непечальный край по сравнению с затронутыми областями представляет собой художественное проектирование в области деревообделочной и металлообрабатывающей промышленности. Достаточно сказать, что у нас еще никак не ставилась по настоящему такая огромная проблема,

как проблема современной мебели. А между тем подходящая к концу первая стадия жилищного, общественного, государственного и промышленного строительства текущей пятилетки с каждым днем предъявляет все более разнообразные требования внутреннего оборудования в самой категорической и неотложной форме. Вероятнее всего в ближайшее время существенного улучшения в данной области не последует, ибо мероприятия Ленинграддревтреста в этом направлении в общем незначительны, а деятельность Мосдрева совершенно ничтожна: впервые намеченный Мосдревом конкурс на жилую мебель оказался почему-то отмененным. Существующее же производство мебели представляет собой подражание самого среднего сорта изделиям кустарей, благо спрос пока настолько велик, что шаблоны старого рынка с «успехом» поглощаются полностью.

Нечто подобное мы наблюдаем и в основной части металлообрабатывающей промышленности предметов широкого потребления. Если металлическая посуда, пропитанная столь распространенными и обильными у нас западными образцами, — почти на должном уровне, то изделия, являющиеся вспомогательными и дополнительными в архитектуре, мебели и т. п., не в состоянии удовлетворить и самым скромным требованиям. Между тем, как показывает развивающееся строительство, надлежащее качественное оформление данных изделий имеет огромное культурно-бытовое значение. Многие вновь возведенные дома с позорительными дверьми, мрачными оконными рамами, нескладными ручками и т. п. заставляют это почувствовать особенно ощутительно. В то же время к проработке формальной стороны качества данной отрасли промышленности побуждает и возрастающая стандартизация данной отрасли производства, которая в противном случае грозит превратиться в уныло-однообразную «унификацию» быта. Но в данном случае речь идет отнюдь не только о социальном значении художественного проектирования.

Современное значение художественного проектирования промышленности предметов потребления еще несравненно больше масштаба затронутых практических проблем. Затрагивая качественную сторону огромной отрасли народного хозяйства, оно связано и с кардинальными проблемами современной экономики: планирования и снижения цен. Ибо, во-первых, задача организации художественного проектирования целого ряда отраслей производства непосредственно связана с большим принципиальным вопросом. Вопрос этот гласит: должна ли специфически качественная сторона целого ряда отраслей промышленности, напряженно поддерживавшаяся в капиталистическом обществе на основе конкуренции, соответствующим образом планироваться в социалистическом обществе на каких-то новых основаниях, или она будет предоставлена «на совесть» директоров и их случайным воспоминаниям о старых образцах.

Во-вторых, опыт показал, что при современном положении с оборудованием осуществление снижения цен в области личного потребления отражается на качестве оформления. А так как последнее и без того нередко стоит на критическом уровне, то результаты номинального снижения становятся противоположными. Несомненно, что в данной области снижение цен, выраженное через общее улучшение качества формы, даст несравненно более сильный эффект, нежели даже нормальное уменьшение абсолютной стоимости товара.

Специальное исследование с цифрами и выкладками могло бы доказать намеченные тезисы с несравненно большей убедительностью и ясностью. Но и на основании данного беглого обзора легко увидеть, что художественное проектирование в нашей промышленности предметов потребления — действительно одна из очередных задач и одно из неперенных условий дальнейшего нормального развития целого ряда отраслей производства. Пройти

через эту стадию совершенно необходимо.

О социальном же значении данной проблемы повторять не приходится. Вопрос о воздействии обстановки, среды на общий тонус жизни слишком хорошо изучен и общеизвестен настолько, что предприимчивые американцы уже учитывают данные обстоятельства даже в интересах самого процесса производства. Так, за последние годы в Америке наблюдается тенденция к окраске в белый цвет не только

фабрично-заводских помещений, но и машин, в результате чего констатируются повышенная работоспособность и увеличение производства.

Новый быт неосуществим без нового оформления среды. А так как последняя связана с производством предметов личного потребления, наша очередная задача — начать художественное проектирование определенных отраслей промышленности применительно к задачам культурной революции.

Книжное обозрение

1. ЮГ «Империализм на черном континенте». С. Гальперина.—2. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ «РАБОЧАЯ ВЕСНА» Н. Замошкина.—3. ДМ. ЧЕТВЕРИКОВ «Заграничный Степан». Арк. Глаголева.—4. ПЕТР САХАРОВ «Алдан—Золотая река». Бориса Гроссмана.—5. «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЯХ, ПИСЬМАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОК И ОТЗЫВАХ КРИТИКИ». Бориса Анибалла.—6. «Н. А. НЕКРАСОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ». И. Сергиевского.—7. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ «На рубеже двух столетий». М. Рабинович.

Юг. — «Империализм на черном континенте». Изд. «Московский Рабочий». М. 1929. Стр. 128. Цена 1 р.

Существующая на русском языке литература о политике империалистических держав в колониальных и полуколониальных странах охватывает преимущественно азиатские страны. Появление книги об империалистической политике в Африке представляет поэтому несомненный интерес. К сожалению, рецензируемая книга лишь в очень малой степени заполняет имеющийся пробел.

В заключительной главе книги автор сам квалифицирует ее содержание как изложение «отдельных областей хозяйства и жизни африканских негров в зависимости от тех изменений, которые они переживали в связи с проникновением в Африку европейского империализма». В конце книги автор пытается на основании этого материала «набросать возможные перспективы дальнейшего развития черного континента». Но в то же время автор оговаривается, что его обобщения «относятся преимущественно к Центральной и Южной Африке, населенной негритянскими племенами». Северная Африка, где европейские колонизаторы застали уже сложившиеся культуры, находится вне поля его внимания. «Мы предполагаем касаться французских и итальянских колоний, а также Египта, лишь в тех случаях, когда общие рассуждения о Центральной и Южной Африке могут быть распространены и на них» (стр. 113).

Совершенно ясно, что, идя этим путем, никаких перспектив развития черного континента автор обрисовать не может. Проникновение империалистических держав в Центральную и Южную Африку не является самостоятельным процессом, а составляет лишь заключительное звено в последовательном завоевании ими африканских территорий одной за другой, начиная с прилегающего к Средиземному морю побережья Сев. Африки. И для Франции и для Англии экваториальная Африка является орудием «округления» их африканских владений, понимая это округление не только в политически-административном, но и экономическом смысле. Проекты Транссахарской ж. д., которая должна соединить Алжир с самыми южными владениями Франции в экваториальной Африке, и Трансафриканской английской линии от Египта до Капштадта подчеркивают это направление африканской политики европейских держав. И, конечно, не на основании обследования положения туземцев Центральной и Южной Африки под империалистическим игом можно делать обобщения о перспективах империализма в Африке, а наоборот, лишь исходя из изучения всей колониальной политики Англии и Франции на африканском континенте в целом можно делать выводы о будущей судьбе негритянского населения в Центральной и Южной Африке, переживающего еще период примитивного грубого захвата.

Таким образом, никакого обследования проблемы империализма в Афри-

ке читатель в книге Юга не найдет. Книга представляет некоторый интерес лишь в том смысле, что там собран малоизвестный материал о методах империалистической эксплуатации туземцев в экваториальной Африке. Но и этот материал случаен. «Черная Империя» Франции освещена в книге очень поверхностно. Сравнительно много места посвящено южно-африканскому доминиону Англии, но и там мы не находим почти ничего о рабочем движении в Африке, о профсоюзах черных рабочих, которые имеют уже свою историю. Отметим кстати совершенно непонятную ошибку автора на стр. 18: «Негритянское население здесь очень незначительно, выражаясь числом в несколько десятков тысяч при общем населении Южно-Африканского Союза в 7,5 млн. человек». Что имел в виду автор в этой фразе — непонятно, поскольку общеизвестно, что негры составляют в Южно-Африканском Союзе свыше 5 млн. человек, и сам автор в дальнейших главах приводит данные об огромном проценте африканских рабочих в главнейших отраслях промышленности Южно-Африканского Союза.

В общем книга вызывает у читателя чувство полного неудовлетворения. Наиболее важные проблемы империалистической политики в Африке не освещены вовсе, книга представляет собой лишенное всякого плана соединение отдельных отрывочных сведений о судьбе туземцев в Центральной и Южной Африке, читателя она никак не ориентирует. Общее впечатление таково, что мы имеем дело лишь с частично собранным материалом для будущей книги, которая еще не написана.

С. Гальперин.

Литературно-художественный альманах «Рабочая весна». Изд. Т-во «Недра». М. 1930. Стр. 150. Ц. 1 р.

В издательском примечании к сборнику говорится, что в него «вошли произведения писателей группы «Рабочая весна», входящей во Всес. Общество Пролет. Писателей «Кузница». Внимательное ознакомление с книгой убеждает нас, однако, в чисто формальной

принадлежности молодых участников альманаха к пролетарским писателям.

Большинство произведений их посвящено деревне и добросовестному изложению тяжелых событий в крестьянской общественной и главным образом семейной жизни. Таковы повести Степана Шишкина и Мих. Ирнина. И дело даже тут не в деревенской тематике, а в отсутствии чего-либо нового, глубокого и сокровенного при изображении давно известного быта дореволюционной и нэповской деревни. Одно то показа перемен, вызванных революцией, совсем недостаточно, чтобы именовать себя пролетарскими писателями. С языком повестей дело обстоит не более активно: ядреный, крепкий язык их не столько добыт авторами, сколько принадлежит им по праву наследования, по сыновнему чувству к родной деревне, а не по писательскому благоприобретенному праву. В этом смысле язык этих произведений не имеет собственно стилистической фактуры, это скорей говорение, т. е. точная передача речи распространенной, бытующей. Перед писателями стоит задача обогатить тот жизненный и речевой материал, которым они пока что пассивно владеют.

Неплохие в общем рассказы А. Германа, Ник. Алексеевского и Ф. Киселева могли бы появиться в любом ином альманахе начинающих писателей, — настолько они, так сказать, нейтральны с точки зрения пролетарской идеологии. Жизнь цыган-конокрадов у А. Германа (материал этот выигрышный сам по себе, и автор, как художник, тут собственно не при чем) и нравы таежных звероловов у Н. Алексеевского (кстати сказать, писатель вжился и удачно скопировал Дж. Лондона) так, как они даны в рассказах, право же, ничего не говорят о мировоззрении авторов. А вот Ф. Киселев, ни на шаг не отступающий от М. Зоценки, если и говорит, то устами своего оригинала.

Стихи представлены совсем слабо. За исключением, пожалуй, Никифора Алексеевского, никто из поэтов не владеет техникой своего ремесла.

На всем сборнике лежит печать несомненной искренности, старательности

и первых литературных шагов. Независимо от вопроса о талантливости и ближайшей идеологической будущности авторов, всем им недостает самостоятельности и смелости в обработке и подходе к сюжетам. Но хорошо уже то, что они не манерничают и пишут без всяких претензий на какой-либо «новый стиль».

Н. Замошкин.

Дм. Четвериков. — «Заграничный Степан». «Земля и Фабрика». М. Л. 1929. Стр. 269. Цена 2 руб.

Три четверти содержимого книги — «стопроцентно-выдержанное», мещанско-обывательское чтиво. Такой рассказ как «Порок сердца» прямо является «шедевром» бульварной «беллетристики». Здесь все строго «выдержано», напр., персонажи: главный герой — бывший (и скрыто настоящий) белогвардеец (разумеется, из контрразведки), примазавшийся к одному из совучреждений и заполняющий свои обильные досуги любовными утехами, философствованиями в пивных и изысканиями средств освобождения от собственной жены; главная героиня — «девчонка со вздернутым носом и непреодолимой потребностью танцевать» — также наделена автором всеми необходимыми для мещанского чтива качествами. Конечно, сей милой паре «хотелось каких-то необычайных похажений, каких-то эксцентричностей» и хотя в рассказе сочувственно добавляется: «но что можно было придумать в будничном, деловом, бедняцком советском городе! Ах, если бы они были в каком-нибудь Париже!» — автор все-таки насильно старается удовлетворить «эксцентрические» потребности своих героев. Местами автор обнаруживает такое рвение, что читателю остается только воскликнуть: «Ах, если бы этот рассказ был издан не в «будничном, деловом советском городе», а в «каком-нибудь Париже!» Право, тов. Четвериков, страницы 122, 127, 129 и др. гораздо более удовлетворяют «парижанина», чем советского читателя. Тонкое обоняние «парижанина» несомненно уловило бы здесь то, что наш читатель по своей грубой откровенности непременно квалифицирует как нечто

весьма порнографическиобразное, при чем всякий «парижанин» хорошо понял бы, что превращение порнографическиобразного в собственно порнографическое не произошло отнюдь не вследствие отсутствия у автора «Порока сердца» надлежащих «творческих» данных, а лишь из-за отсутствия «парижских» вкусов и советского Главлита.

Если автор оказывается очень «выдержанным» в «эротико-эксцентрическом» «жанре», то в рассказах с общественной установкой он крайне слаб и невыдержан, на этот раз уже без ковычек. Свидетельство сему — «Золотой Клин», повесть о том, как некий «Робинзон Крузо» новейшей формации превратил «необитаемый остров в четыре десятины» в «кооперативно-промысловое товарищество». С общественной стороны все рассказанное здесь Четвериковым более чем не типично: наша кооперация растет и ширится не благодаря «Робинзонам Крузо», не под влиянием «случайных прихотей полуканекдотических «профессоров Челакаевых», а, как должно быть ведомо всякому писателю, вследствие совершенно иных причин. У Четверикова т-во «Золотой Клин» возникает прямо по «щучьему велению»: кроме Челакаева, читатель не видит никого; в рассказе поистине «ничего, кроме земли, кругом не видно: ни людского жилья, ни построек, ни торной дороги». Крестьяне (в рассказе дело происходит вне города), партия (принцип профессора Челакаева был таков: «большевики сами по себе, я сам по себе», стр. 193), словом, все живые силы современности в превращении «необитаемого острова» в цветущую «колонию» никакого участия у Четверикова не принимают, только уже в самом конце рассказа автор невнятно упоминает о «каких-то из города» и о чем-то в роде ревизорской «комиссии». Забывая об общественно-актуальном, автор старательно выдвигает на первый план совершенно необычайный роман шестидесятилетнего «Робинзона Крузо» с молодой крестьянской девушкой.

«Лиза, когда мужчины подошли, застыдилась и залупцовилась, как полагается невесте» — так заканчивается

«Золотой Клин», и вместе с Лизой «запунцовится» за автора и издательство читатель, познакомившийся с новейшими «творениями» Дм. Четверикова, о «литературных» качествах коих наша рецензия дает еще весьма бледное представление. *Арка Глаголев.*

Петр Сахаров. — «Алдан — Золотая река». Изд. ЗИФ. 1930. Стр. 117. Ц. 90 к.

Алдан, Алтай и другие отдаленные окраины обычно привлекают внимание писателя потому, что они «экзотичны». Увлекаясь своеобразием пейзажей, увидав невиданных доселе людей, писатель, захлестнутый материалом, восторженно о них рассказывает. Зачастую такой подход приводит к нагроможденности фактов, превращая произведение в художественный полужабух.

Книга Петра Сахарова, состоящая из пяти рассказов и одной повести (из жизни золотоискателей и якутов), выгодно отличается от подобных произведений. Автор искусно организует материал и оставляет в своем поле зрения лишь то, что нужно ему для построения рассказа. Тем лучше воспринимаются (и запоминаются) специфические особенности края.

Поколение старых золотоискателей-собственников, пытающееся вести молодежь по испытанной и хорошо утрамбованной дороге дедов с их жадной наживы, с их кустарными способами работы, и их дети, идущие по новому пути и ищущие новых, обобществленных методов работы. Но не все старики и не вся молодежь однородны. Иной старик даже осуждает сына за верность обычаям предков (хохол — повесть «Старатели»), иной комсомолец оказывается отпрыском «гусей», которых «недавно свинцом потчевали» (Илюшка — рассказ «Дылда с присков Орочен»). Персонажи одного рассказа перекликаются с персонажами другого, хотя каждая вещь вполне самостоятельна.

Раскрывая идейную сущность двух поколений золотоискателей, Сахаров не прибегает к схематическому противопоставлению их. Единство темы, единая общественная направленность сборника не повлекли за собой однообразия в

построении рассказов. В них нет описательства, рабского отношения к материалу. Нет беспомощного топтания на месте. Вещи Сахарова сюжетны в лучшем смысле слова. Отдельные описания, введенные в какой-либо эпизод, являются органической частью последнего. «Сюжетные ходы» зачастую неожиданны, но всегда оправданы. Характерна также сжатость рассказов, стремление автора к выразительности. Сахаров чутко воспринимает слово, заметна любовь к языку, к образу, не надуманному, не искусственному.

Из сказанного ясно: не материал «вывез» автора, — материал оказался лишь сырьем, умело и талантливо переработанным. Этот вывод неизбежно приводит к другому: у Сахарова есть все данные для продвижения вперед, для работы над любым материалом. Известны, однако, случаи, когда за первой хорошей книжкой молодого писателя следовали плохие. Окажется ли Сахаров в числе таких писателей, покажет будущее. *Борис Гроссман.*

«Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики». Составил Н. Ашукин. Изд. «Федерация». М 1929 г. Стр. 403. Ц. 2 р. 50 к., перепл. 30 к.

К исполнившемуся 9 октября 1929 года пятилетию со дня смерти Валерия Брюсова изд. «Федерация» вполне своевременно выпустило эту книгу.

В отличие от других работ подобного рода, обычно заключающих свидетельства современников только о живом облике того или иного поэта или писателя, Н. Ашукин дает био-библиографическую сводку материалов о Брюсове, являющуюся «летописью его жизни, главным образом в плане литературном».

Труды и дни главного деятеля эпохи символизма, впоследствии порвавшего с ним и одним из первых среди наших поэтов примкнувшего к революции, прилежно воссозданы Н. Ашукиным. Наряду с известными, но основательно позабытыми материалами он впервые опубликовал много материалов вовсе неизвестных — из архива

Брюсова, из воспоминаний И. М. и Н. Я. Брюсовых (жены и сестры поэта), его переписки и пр. Вместе с этим необходимо отметить, что составленная им книга дает обширную библиографию Брюсова и по Брюсову.

Однако, несмотря на ее большой объем — 25 печатных листов, — в ней имеются пробелы, отчасти неизбежные, быть может, потому, что Брюсов и его современники еще недостаточно удалены от нас.

Тем не менее отметим отсутствие отзывов, характерных для того отхода от Брюсова и охлаждения к нему, которые в свое время пережили отдельные деятели возглавлявшегося им символизма (Садовской, Белый и др.), недостаточность для Брюсова - пушкиниста одного только указания на то, что первый том Пушкина под его редакцией был встречен критикой сурово, полное отсутствие сведений о преподавании Брюсова в Гос. Институте Слова (1921 г.).

С другой стороны, некоторые материалы, приводимые Ашукиным, можно было исключить совсем, другие сократить. Впрочем, это замечание не может служить ему упреком в полной мере, поскольку каждый составитель не может быть до конца объективен в определении важности одного и незначительности другого.

Материал о последних годах жизни Брюсова (советская и литературная работа, вступление в партию), несмотря на его большой интерес, дан Ашукиным, сравнительно с первыми главами книги, довольно скупо.

Однако, эти недостатки, вполне допустимые при такой большой работе, которая проделана Н. Ашукиным, и отчасти неизбежные, не заслоняют ее положительных сторон.

К сожалению в книге отсутствует упомянутый в оглавлении именной указатель.

Борис Анибал.

«Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах». Составили **Е. М. Иссергин** и **Т. Ю. Хмельницкая**. Под редакцией **Ю. Г. Оксмана**. Изд. «Academia». Л. 1930. Стр. 600. Ц. 2 руб. 60 коп., переплет 85 коп.

Книге этой предпослано программное и широковещательное вступление, посвященное вопросу о монтаже, как особом литературном жанре. В основу его положено совершенно правильное утверждение, что монтаж не является и не должен являться эквивалентом научного исследования, что монтажная форма законна и правомерна только в том случае, если она ставит своей целью воспроизведение цельного исторического образа того или иного деятеля, что конструктивная выразительность собираемых материалов играет в монтаже гораздо более существенную роль, чем их узко-биографическая достоверность. Все эти заявления тем более симптоматичны, что монтаж как жанр, находится сейчас в полосе довольно острого кризиса. С одной стороны, он превращается в историко-литературную хрестоматию, в которой компануемые отрывки связаны исключительно их однотемностью; с другой стороны перерастает в историко-бытовую монографию с обильным цитатным багажом.

К сожалению, добрые пожелания авторов в значительной мере так и остались добрыми пожеланиями. На деле они почти полностью следуют той схеме, которая так хорошо известна нам по монтажам о Толстом, Тургеневе, Лермонтове. Те слабые попытки сколько-нибудь освежить эту твердо установленную схему, которые имеются в книге, носят исключительно внешний характер и не идут дальше робких хронологических перестановок. Конечно, обойтись в монтаже без традиционной выписки из метрической книги, а детские и отроческие годы поэта поместить не в начале, а в середине, — это не такое уж пустое новшество, но все же — новшество, больше свидетельствующее о новаторских намерениях составителей, чем о действительной реформе.

Создать ощущение того трагического конфликта, о необходимости которого так верно говорят составители в вступительной статье и введении которого действительно выводило бы из равновесия традиционную схему биографического монтажа, им во всяком

случае не удалось. Точнее, не удалось переключить в план трагического конфликта ту пресловутую двойственность писательского облика Некрасова, которая была одной из любимейших тем и старой историографии. Тем самым теоретическое задание, которое ставили себе составители, терпит крах.

Остается говорить о книге, как об одном из образцов монтажей обычного хрестоматийного типа. С этой точки зрения никаких особых возражений она вызвать не может. Составители хорошо ориентированы в мемуарно-эпистолярной литературе эпохи, хорошо разбираются в ее литературных и литературно-бытовых отношениях. Правда, самый материал литературного поведения Некрасова таков, что создание подобного сборника не представляло особых трудностей. Кроме того, предварительная работа по описанию и систематизации первоисточников во многом была проделана уже раньше. Наконец, имелись опорные, обобщающие работы, в которых основные вехи некрасовского журнализма были отмечены достаточно четко.

Культурно-просветной ценности книги эти обстоятельства, понятно, не уменьшают. В ряду однотипных работ ей принадлежит одно из первых мест. И независимо от того, что попытка составителей внести что-то новое в жанр монтажа окончилась провалом, для читателя-середняка, желающего просто познакомиться с писательским бытом Некрасова, книга безусловно интересна.

И. Сергиевский.

Андрей Белый. — «На рубеже двух столетий». Изд. ЗИФ. 1930 г. Стр. 488.

Цена 3 руб. 80 коп.

Воспоминания Андрея Белого содержат богатейший фактический материал по истории развития символизма в России.

Засушенный быт профессорских квартир, — бытовое окружение символистов, среда, в которой они выросли и либеральная интеллигенция

конца прошлого столетия даны в чрезвычайно ярких зарисовках до конца разоблачающих роль этих «столпов» науки, философии и

либерализма. Антагонизм между младшим поколением, стоящим на «рубеже двух эпох», и старшим поколением «отцов» и вытекающая отсюда борьба двух поколений показаны в воспоминаниях вполне убедительно, но весь этот материал служит только фоном, выделяющим и подчеркивающим основную мысль книги Андрея Белого. Это — настойчиво проводимое на протяжении всей большой работы стремление реабилитировать символистов от упрека в мистицизме. Андрей Белый не устает возвращаться к ней по всякому маломальски подходящему поводу. Он всячески пытается снять с символистов наименование мистиков, показать, что мистицизм был только одним из этапов в их борьбе против догм старшего поколения, послужившим для символистов трамплином для дальнейших, отнюдь уже не мистических философских построений. Но, несмотря на пафосный тон, которым убеждает Андрей Белый, его доводы звучат крайне неубедительно. Ссылка на увлечение молодых символистов естествознанием, — «типичные мистики не бываюи смолоду перепичканы естествознанием», — вряд ли может убедить кого-либо. Ибо на ряду с занятиями естествознанием и чтением Маркса идет работа по философскому обоснованию символизма, в которой немалую роль играет мистическая философия Вл. Соловьева, и в конце концов увлечение естествознанием остается, как пройденный этап накопления знания, как своеобразная дань позитивизму отцов, а в дальнейшем на философском пути самого Андрея Белого лежит антропософия Рудольфа Штейнера, от которой не убергли его ни занятия качественным анализом, ни чтение социологической литературы. Мистицизм для символистов оказывается сильнее позитивных основ, заложенных в воспитании молодого поколения «рубежа», и обещание перевести «трансцендентные эмблемы на язык материи» остается фразой, брошенной в пылу полемического задора.

Еще более важно, чем отказ от мистицизма, звучит название Андрея Белого пересмотреть социологию симво-

лизма. Отрицая зависимость символистов от крупной буржуазии того времени, он в качестве «неопровержимого» довода приводит паспортные данные о социальном происхождении символистов, торжествуя указывая, что они были «дети небогатых интеллигентов, образованных разночинцев, разорявшихся или захудалых дворян, давно забывших о своем дворянстве». Но факты говорят против Андрея Белого, они говорят о том, что эта «забывшая о своем дворянстве» передовая интеллигенция, может быть, сама того не сознавая, работала на потребу той самой крупной буржуазии, против вмешательства которой в творческую работу символистов так темпераментно выступал в своей статье 1906 г., цитируемой в воспоминаниях, Андрей Белый. К сожалению, ультра-левые фразы этой статьи остались всего лишь революционной данью эпохе первой революции и отнюдь не

помешали тем же самым символистам всячески пользоваться широко развитым в то время меценатством крупных промышленников, работать по их заказу и даже допускать их вмешательство в свою творческую работу (для того, чтобы убедиться в этом, стоит хотя бы прочесть в дневниках Ал. Блока о его работе по заказу Терещенки над оперой, вылившейся впоследствии в драму «Роза и Крест»).

Пересматривая по истечении тридцатилетней давности философскую позицию символизма, Андрей Белый впадает в крупную ошибку, пытается реабилитировать символизм от упреков в мистике. Но это отнюдь не умаляет достоинств его воспоминаний, — ошибки Андрея Белого, одного из крупнейших представителей символизма, так же показательны для изучения этого течения, как и его достижения.

М. Рабинович.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ДЕНИ.—Мы, наши друзья и наши враги в рисунках Дени. С предисл. А. В. Луначарского. Перевод текста на иностр. языки В. С. Живоной. Стр. 175. Ц. 5 р.

МАКАРОВ, Ив.—Стальные ребра. Роман. Стр. 336. Ц. 2 р. 40 к.

ЛОЛА ХАН.—Падающий минарет. Роман. Стр. 519. Ц. 2 р. 50 к.

ВОВЧЕК Марко.—Кармелюк и другие рассказы. Пер. с укр. Стр. 206. Ц. 1 р. 25 к.

МАЙКОВСКИЙ, Владимир.—Собрание сочинений. Том VI. Стр. 253. Ц. 4 р. 50 к.

ЛЮБИМОВ, И. Н.—Революция 1917 года. Хроника событий. Том VI. Октябрь—декабрь (Институт Ленина при ЦК ВКП(б)). Стр. 498. Ц. 4 р. 50 к.

ГЕТТNER, Альфред.—География, ее история, сущность и методы. Пер. с нем. Под ред. Баранского. Стр. 416. Ц. 3 р. 25 к., (пер. 40 к.).

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

СОЛОВЬЕВ, Л. В.—Ленин в творчестве народов Востока (песни и сказания). Стр. 125. Ц. 75 к.

ВАЛЕРИН Р.—От разрыва до восстановления англо-советских отношений (межд. обзор за 1924—1929 г.). Стр. 109. Ц. 90 к.

ОВАЛОВ, Л.—Болтовня. Повесть. Стр. 120. Ц. 70 коп.

«ПРИБОЙ»

ВЛЬСБЕРГ, Ж.—Кризис полутчиков и настроенная интеллигенция. Стр. 254. Ц. 2 р.

АМУНДСЕН, Р.—Моя жизнь. Пер. с норвежского М. А. Дьяконова. Стр. 205. Ц. 1 р. 40 к.

ЛАЙЦЕН, Леонард.—Гибель британского средиземного флота. Рассказы. Пер. с латышского. Э. Сильмана. Стр. 265. Ц. 1 р. 60 к.

ВРЖОСЕК, С.—Жизнь и творчество В. Вересаева. Стр. 227. Ц. 2 р. 25 к.

РАЗНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

НЕЛЬДИХЕН, Сергей.—Он пришел и сказал (синтетическая форма 1923—25 гг.). Об авторе (библиограф.). Стр. 31. Ц. 60 к.

НЕЛЬДИХЕН, Сергей.—С пятнадцатой страницы (стихи). Стр. 30. Ц. 50 коп.

УЛЪЯНСКИЙ, Антон.—Путь колеса. Роман. Изд-во писателей в Ленинграде. Стр. 211. Ц. 2 р.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

А. В. Луначарский.
А. Г. Малышкин.
Редакция: В. П. Полонский.
М. А. Савельев.
В. И. Соловьев.